

И.Т.Вепрева
Екатеринбург**Кто мы такие? Как нам себя называть?
(К проблеме идентификации современного российского
общества)**

Вследствие глубоких перемен в современном российском обществе происходят изменения в массовом сознании, в отнесении себя к определенным социальным категориям и принятии новых ценностных ориентиров. Распался Советский Союз, и распалась общность, именуемая себя «советскими людьми». Отнесение себя к категории «советский человек» определяло образ жизни, стиль поведения, ценностные ориентиры. Современные психологи и социологи сегодня говорят о кризисе социальной идентичности, который наблюдается на уровне самосознания [Андреева 2000, Лебедева 1999, Павленко 1997]. Кризис идентичности определяется «как отражение в сознании индивида несоответствия сложившейся идентификационной системы новым требованиям реальности» [Иванова 2002: 135] и требует адекватной адаптации в этой реальности, поиска новой идентичности.

Важными вопросами, которые отражают желание человека постичь собственную социальную идентичность, являются вопросы: Кто Я? Кто мы? Как нам себя называть? Подобные вопросы показывают особое отношение языковой личности к самому акту номинации, подчеркивают онтологическую ценность проблемы номинации [Норман 1996: 62]. Цель статьи – проследить на материале рефлексивных, и прежде всего метаязыковых, высказываний, выбранных из современной периодической печати, как осуществляется идентификационный процесс при изменении национально-государственных рамок идентификации, при вытеснении *советского русским*.

Если в спокойной общественной ситуации «этническое самосознание чаще всего не актуализировано, “размыто”» [Дробижева 1998: 165], то в «смутные времена» роль этничности возрастает. Она выполняет защитную функцию,

являясь своеобразной реакцией на нестабильность общества, поскольку «в целях удовлетворения банальной потребности человека в определенности на сцену выходит более древняя и устойчивая форма информационного структурирования мира — этническая» [Лебедева 1993: 34].

Проследим динамику самоутверждения «русскости». Необходимость новой номинативной единицы, называющей жителей России наряду с лексемой *русский*, возникла в начале 90-х годов, когда начался процесс распада СССР, и актуальными стали проблемы не только союзные, но и внутрироссийские. Национальная идентичность остро встала у народов, населяющих РСФСР. Появились проблемы, связанные с русскими, проживающими в ближнем зарубежье. Кроме того, открыто стали говорить о русском дальнем зарубежье, об эмигрантах первой, второй и третьей волн, о культуре, создаваемой за рубежом творческой интеллигенцией, вынужденной эмигрировать из Советского Союза. Именно в 90-е годы на страницах периодической печати появились новые номинации *русскоговорящий*, *русофон*, *русскоязычный* - которыми обозначали людей, владеющих русским языком как родным, русского человека. Впервые «Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» под редакцией Г.Н. Складчиковой (1998) зафиксировал значение лексемы *русскоязычный* как «тот, для кого русский язык является родным; русский, живущий за пределами России». На это же время приходится активизация устаревшего слова *россиянин*, которое определялось 4-томным академическим словарем русского языка только как «русский». При этом слово имело стилистическую помету «высок». Иллюстративный материал словаря подчеркивает закреплённость слова за высоким стилем: «*Это стояли россияне, советские солдаты, крепкие люди*» (Емельянова, Взятие Познани).

В прессе 90-х *россиянин* стало употребляться в новом для этого слова стилистически нейтральном значении «Житель России. Гражданин России». Контексты того времени показывают, как носители языка, отталкиваясь от первоначального значения, пытаются осознать новые смысловые оттенки слова: *Термин «россиянин» тождествен*

*только термину «русский». Это синонимы, не больше и не меньше. Так как на территории России (РСФСР) проживают представители многих национальностей, мы должны считаться с их национальными чувствами. Вряд ли татарину, калмыку или карелу будет приятно, если его назовут «россиянином» (Смена, 1990, авг.). Автор данного рефлексивного рассуждения, опираясь на первоначальное значение слова, пытается аргументировать несостоятельность нового употребления. Большинство других контекстов отмечает появление нового значения «Гражданин России» как состоявшийся факт: *Сейчас, конечно, уже трудно узнать, кто именно был первым, небрежно обронившим эффектное слово. Оно стало кочевать из репортажа в репортаж, сначала со Съезда народных депутатов РСФСР, а затем со съезда Российской компартии. Так появились и «депутаты-россияне» и «россияне-коммунисты». Теперь этот отнюдь не юридический термин стал все чаще звучать и на других уровнях, подменяя собой естественное понятие «граждане России»* (Смена, 1990, авг.). Подтвердим данное рефлексивное высказывание контекстами того же временного отрезка, в которых лексема *россиянин* употребляется в значении «житель России»: *Средняя посещаемость кино упала с 15,8 до 14,8 раза на каждого россиянина* (Огонек, 1988, №48); *Я слушаю, и мы все слушаем и товарища докладчика, и Сергея Васильевича Викулова, и мне казалось почему-то, что тут сидят одни русские, а тут же сидят россияне, и давайте говорить о россиянах тоже, – деликатно, но твердо заметил татарский писатель С.Гаффар* (Огонек, 1987, №40); *Россиянин Александр Морозевич выиграл у гроссмейстера из Казахстана Евгения Владимиров* (Сегодня, 1988, 24.05).*

В это же время у лексемы *россиянин* появилось еще одно значение «Люди, родившиеся в России; имеющие российское гражданство», например: *Насилие над законностью, над народом Прибалтики породит новые кризисные явления и в самой России, и в положении россиян, проживающих в других республиках, в том числе прибалтийских* (АИФ, 1991, март). Обычно с этим же значением употребляются и новые единицы *русскоговорящий, русофон, русскоязычный*. Таким образом,

экстралингвистические причины были основным стимулом возникновения новых единиц и актуализации с последующим развитием многозначности слова *россиянин*.

Появление новых слов и новых значений не могло пройти мимо людей, особенно остро воспринимающих потерю национальной идентичности. Оппозиционно настроенная часть общества восприняла эти единицы как посягательство на их национальный статус. Если обратиться к наиболее частотным рефлексивам оппозиционного дискурса, то можно выделить ключевой концепт, имеющий самый большой набор рефлексивных высказываний. Центральной единицей метаязыкового корпуса рефлексивов становится концепт «русский», в котором, на наш взгляд, как в базовом компоненте национального самосознания происходит отстаивание, утверждение категории «своего» и непринятие «чужого». «Чужим» в данном случае были восприняты все новые лексические единицы. Оценочные контексты носят обычно тревожный характер, подчеркивают опасность сегодняшней жизни для русского человека: ***Опасное слово по нынешним временам — «русский»***. В стане демократов слова «русский патриот» запрещенные, ненавистные, чуть ли не нецензурные (Воля России, 1991, № 6); ***Кто это мы? Скорее всего мы — это труднопроизносимое слово «русские»***. Неужели русские обречены надевать маску вечных интернационалистов, прятать свое национальное лицо за безликое «мы» (Там же); У нас нынче всякий произносящий громко слово «русский» объявляется черносотенцем и фашистом (Наше Отечество, 1993, нояб.); Нависла угроза новой «культурной революции», ставящей главной целью духовное уничтожение страны, ***вытравливание самих понятий «русское», «русский народ», «русская культурно-историческая традиция»*** (Русский вестник, 1993, № 17).

Противопоставление «русского» всему остальному, с точки зрения оппозиции — «чужому», неистинному, происходит в рамках словесной оппозиции «русский — нерусский»: замки и дворцы «новых нерусских»; болтающая на всех языках «русская интеллигенция» (кавычки в данном контексте носят оценочный характер), так называемое «российское правительство»;

молчит «нероссийское» правительство; вся нерусская рать претендентов на российское президентство и т. д.

Центральным вопросом российского национального самосознания становится вопрос о совмещении гражданской и этнической идентичности. Большинство россиян чувствует себя прежде всего «русскими людьми», а потом уже «гражданами России». Это ощущение двойственности, ощущение ложной подмены выражается в рефлексивах в протестной форме против нового концепта **россиянин**: «Кремлевские мечтатели», те вообще заселили Россию-матушку **таинственным племенем россиян** (Русский вестник, 1996, № 18—20); **Разрешено только слово «российский»**, ставшее ныне синонимом слова «советский», т. е. интернациональный. И люди какие-то русскоязычные появились, а не русские (Наше Отечество, 1993, нояб.); В последние годы жителей России в СМИ принято называть россиянами. Казалось бы, ничего особенного. Ну, были «советским народом», стали «россиянами». Как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Однако **отчего так режет слух русского человека, когда он слышит, как его именуют «россиянином»?** Россияне — это лица нерусского происхождения, живущие издревле на территории России (Русский вестник, 1993, № 42); И власти и их «демократические» средства массовой информации преднамеренно и упорно избегают употреблять слова «русские», «русский народ». **Пущено в ход слово «россияне».** Звучит оно фальшиво и оскорбительно. Все это само по себе имеет свойство деградировать нацию (Русский вестник, 1992, № 49—52); Уж не в оккупированной ли стране мы живем, если нам **пытаются запретить даже использовать слово «русский»**.Слово «русский» — не матерщина, не оскорбление и законом не запрещено к использованию. Если оно кого-то в этой стране коробит — вас, простите, не задерживают (Русский вестник, 1994, № 15—17); **Свободное слово «русский» против фальшивого подлого слова «россиянин»;** В моде стало слово «россиянин», которым реформаторы пытались притушить всплеск самоопределения уже у бывших автономий; Не хватает пустяка — принять такой закон об экстремизме, чтобы в тюрьму можно было посадить любого, кто вместо

слово «россиянин» произнесет слово «русский»; Причем распространяется это в основном как раз на русских, другие народы свое историческое имя в слове «россиянин» растворить не спешат (электронные СМИ).

Обобщающая лексема «россиянин», которая приходит на смену «советскому человеку» и призвана детерминировать социальную идентичность многих людей в рамках нового суперэтнуса, не выполняет пока свою функцию, находится в стадии становления, так как не обладает смысловой насыщенностью прежних форм социальной идентификации, поэтому не способствует наиболее адекватной адаптации в изменяющейся социальной реальности. Рефлективы указывают на динамику формирования концепта предикативной частью (*появилось, пущено в ход, стало в моде, распространяется*), временными указателями *в последние годы, ныне, нынче*. Оценочная часть отражает неприятие нового концепта как ложной подмены (*режет слух, таинственное, какое-то, фальшивое, оскорбительное, подлое*).

Такой же отрицательный заряд был направлен и в адрес новых лексем: ***Русофон***. *Неологизм перестроечной эпохи, обретший качество клейма* (Советская культура, 29.12.90); ***О русскоязычии и русскоязычных***. *Эти слова, возникшие, по-видимому, недавно (ни в одном из доступных толковых словарей их нет) и, скорее всего, калькированные с немецкого или французского, быстро получили эмоциональную окраску: сделались под некоторыми перьями, в иных устах чуть ли не ругательством* (Литературная газета, 12.12.90); *Разделять советское общество по принципу **русский и русскоязычный** – абсурдно и преступно* (Правда, 07.06.90).

Новым лексемам и лексико-семантическим вариантам уже свыше 10 лет. Лексема *россиянин* широко употребляется в русском языке в значении «житель России». Ее новый лексико-семантический вариант подтвердил свое право на существование на государственном уровне, когда впервые в новогоднем обращении первый российский президент Б.Н. Ельцин назвал жителей России россиянами. Часто в этой связи Б.Н. Ельцину приписывают авторство этой единицы. До последнего времени по-прежнему не утихают споры о

необходимости этого слова, продолжается разнонаправленная эстетическая оценка. Среди пользователей Интернета был проведен конкурс «Россияне» с заданием «Предложи свое название жителей России». В качестве иллюстрации приведем диалог, состоявшийся в Интернете в рамках этого конкурса: *Как же в голову вбили слова «россияне», «россиянское». Надуманный предавшим Россию человеком шаблон. Можно заодно придумать названия для американцев, украинцев, канадцев. Может назовем россиян россиянами? – Ни россиянами, ни россиянами называть не надо. Россияне – оно все же как-то поприличней будет. В конце концов, и Беллинсгаузен в Тихом океане острова так назвал – «Острова россиян». Кстати, россияне не придуманы этим человеком или еще кем-то. В конце концов, это нормальное имя для жителей многонациональной страны. – Ну, хорошо, хорошо, беру свои слова обратно, никого из россиян обидеть не желал. Я и сам – многонациональный. А американцев, кстати, можно и «американами» называть, добрее выходит.* Таким образом, на наших глазах устаревшая единица из пассивного запаса языка входит в широкую речевую повседневность, мы наблюдаем этап ее социализации, сопровождающийся многообразием оценочного отношения субъектов речи к употребляемой единице. Этот этап обычно предшествует стадии стабилизации и потери исключительности слова.

В связи с процессом национально-государственной идентификации концептуальное напряжение вызывает новое осмысление концептов «Родина», «Отечество», «Отчизна».

Концепт *Родина* для советского человека был прежде всего идеологическим конструктом. Но в то же время русский дискурс о Родине отличается своей амбивалентностью — «“подвешенным” состоянием между властью и сопротивлением» [Сандомирская 2001: 17]. С одной стороны, апелляция к патриотическим ценностям — характерная черта российской государственности, с другой стороны, интересами Родины, любовью к Отчизне и долгом перед Отечеством не в меньшей степени вдохновляются и критика власти, поэтический романтический бунт.

Обращение к современному осмыслению обыденным

сознанием концептов *Родина*, *Отечество*, *Отчизна* в связи с проблемой национальной и идеологической идентификаций постсоветского человека помогает выделить ряд когнитивных слоев, вокруг которых выстраиваются типичные интерпретации данных единиц*. Наряду с узуальными базовыми слоями концепта *Родина*: 1) территория, земля, место рождения; 2) вся страна как место проживания, как пространство власти и некоторого единого порядка, — рефлексивы отражают опыт личностных переживаний. Кроме того, *Родина* — это 3) место сильнейшего психического притяжения и постоянного возвращения: *То место, в которое можно вернуться и где тебя будут любить; Мне всегда хочется поехать туда, потому что с этим связано все самое дорогое для меня: дом, родители; Это то место на земле, куда непреодолимо тянет, даже если ты находишься в великолепных условиях, в другой стране*; 4) образное восприятие родного пространства, природы: *Сразу в памяти дом в саду, смородина, толстый тополь у ворот; Русский лес, воспетый Л. Леоновым и Михаилом Пришвиным, дарящий нам свою красоту, — составная часть того, что мы зовем негромким словом — Родина; Если осталось что-то от слова «Родина», то это деревня, рыбалка, лес и грибной сезон; Со словом «Родина» связано слово «родинка», что-то маленькое, близкое, родное, навсегда свое. Все эти маленькие понятия и стали большим словом «Родина».*

Рефлексивы по поводу концепта *Родина* артикулируют процесс продолжительных и мучительных размышлений о метаморфозах русского этнического самосознания в связи с происходящими переменами: *Кто, что встает перед нами при упоминании слова Родина? Слова Родина, Долг, Честь — святыне слова; Слово Родина сегодня не в моде, произносится с*

* Наш материал был дополнен ответами информантов, зафиксированных в ходе дискуссионных фокус-групповых исследований, проведенных в январе 2001 года Фондом «Общественное мнение», где участникам были предложены для обсуждения понятия *Родина*, *Отчизна* и *Отечество* [см. об этом: Колосов 2001].

юмором; Некоторые считают, что слово Родина надо писать с большой буквы и носить в сердце, а другие — с прописной и носить в штанах. Лучшие писать слово Родина со средней буквы; С момента развала СССР слова Родина и патриотизм стали для меня абстрактными понятиями; Да, в слове Родина много советского; Наши деды проливали за нее кровь, для них что-то еще значило слово Родина.

Рефлексия свидетельствует о том, что **Родина** остается маркером некоторой высшей ценности, которая претерпевает инфляцию в связи с пересмотром ценностных установок. Связь с понятием *советская Родина*, идеологическая нагруженность сакрализованного слова дискредитируют концепт. Тем не менее русские не отказываются от своей традиционной рефлексивной практики — задумываться, страдать, радеть о судьбах всей России. В качестве иллюстрации можно привести пример дискуссии, развернувшейся в октябре 2002 года по вопросу о том, стоит ли возвращать памятник Ф. Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Оппонентом мэру Москвы Ю. Лужкову, выдвинувшему идею возврата памятника на прежнее место, выступил в передаче «Свобода слова» на НТВ Андрей Макаревич. Из зала ему была брошена реплика: *Да Вы не любите свою родину, Советский Союз*, на что А. Макаревич ответил: *Нет, я люблю свою Родину, но я не люблю советскую власть* (5.10.02).

Смысловое наполнение концептов *Отчизна* и *Отечество* смещено по сравнению с *Родиной* в сторону большей идеологичности, официальности, эмоциональной холодности и отчужденности. Прослеживается тенденция к преобладанию суждений не столько эмоциональных, сколько рациональных, содержащих субъективную оценку: *Родина, Отчизна, Отечество, Земля-матушка, Российская империя, святая Русь, государство, страна, родной край — вот слова, которыми мы называем Россию; Родина — это свое, а Отчизна — больше, чем Родина; Высокопарное слово, почти вышедшее из употребления.*

Противопоставление концептов *Родина* и *Отчизна* идет по следующим признакам: «теплое — холодное»: *Родина, мне кажется, — это большой очаг; Отчизна — слово далекое,*

холодное; «большое — маленькое»: *Отчизна* — это что-то большое, а *Родина* — маленькое, близкое, родное, свое; «повседневное — официальное, высокое»: *Высокопарные слова «Отечество», «Отчизна»; «Отечество»* — это более высокое, а «*Родина*» — привычное, мы в обиходе используем; «индивидуальное, личное, субъективное — общее, государственное, политическое»: «*Отечество*» для меня более политического характера — вот государство, скажем так. «*Родина*» — это мое личное, а «*Отечество*» — это слово государственное; противопоставление с опорой на внутреннюю форму: Подберите однокоренные слова к слову «*Родина*» — родной, родимая, родня, род; «*Отчизна*» — это от слова «отец»; «*Отечество*» — подразумевается: там, где рождены твои отцы и деды.

В метаязыковой ряд, обсуждающий единицы именования родной страны и личностное отношение к ним, можно отнести контексты, которые оспаривают уместность и точность современного употребления местоимения «эта» в словосочетании «эта страна»: *Мы решили опубликовать авторов самых разных политических убеждений, лишь бы они относились к России не как к «этой», а как к «своей родной» стране* (Русский Востокъ, 1996, № 19); *Мне кажется, что с того момента, когда человек начинает называть свою Родину «эта страна» вместо «моя страна», он становится к ней во враждебно-безразличную позицию. Если вы скажете про себя о ней отчужденно, например, «в этой стране всегда было так» — и вас не покоробит, вам не станет не по себе, то вы уже американизированы, т. е. вы стали на «этой территории» вечным жидом и, следовательно, перестали быть русским* (Русский порядок, 1995, № 1—2); *Российское телевидение насаждает порнографию в своей стране. В своей? Там обычно говорят: «в этой». Может быть, когда «эту» страну вытравят, нам в той стране места уже не найдется* (В. Распутин, Русь державная, 1995, № 2); *Выпьем за то, чтобы говорить, что мы живем в нашей стране, а не в этой стране* (ОРТ, Человек и закон, новогоднее поздравление авторов программы, 6.12.98).

В данных рефлексивах мы наблюдаем подмену социальных

конвенций в разграничении «личного» и «неличного». Категория «личного» предполагает идентификацию говорящего с субъектом своего восприятия и своих эмоций. Одним из важнейших аспектов «я» является понятие «мое». Из приведенных контекстов следует, что речевые действия другого субъекта по отношению к стране как к категории не личного, а общественного порядка, воспринимаются авторами высказываний абсурдными и чуждыми в силу их собственной экспансии личного на категорию общественного социального контекста. В рамках рефлексивов идет столкновение различного понимания границ социального континуума.

В сложной природе многоплановых идентификаций на первый план выступает проблема описания, осознания «себя» и «других» как носителей этнонациональной общности, имеющих общий национальный характер. Национальный характер, т. е. представление народа о самом себе, существует «в виде стандартных для людей, принадлежащих одной культуре, реакций на привычные ситуации» [Уфимцева 1997: 26]. Путем самоосмысления, самопознания народ «формирует себя самого и в этом смысле — свое будущее» [Касьянова 1994: 8]. Этнические представления о себе и других имеют стереотипный, обязательный характер, регулируют не только собственно этнические, но и другие системы взаимодействия. Этническая идентификация предполагает связь с корневой базой — историческим прошлым. На важность национальных корней в жизни человека указывали многие русские философы начала XX века [см., например: Бердяев 1990; Ильин 1993; Трубецкой 1995]. Благодаря их работам сформировалось твердое убеждение, что долгом каждого этноса должно быть самопознание. Именно результатами такого самопознания являются представления о русском национальном характере, которые мы находим в работах Н. Бердяева [1918; 1952], В. Розанова [1990], М. Волошина [1990], Л. Гумилева [1990] и др. Эту традицию продолжают современные философы, историки и филологи.

Культурно-историческая преемственность — величина динамическая, она может меняться от факторов престижности, опасности, смены гражданства и т. п. Этнические стереотипы,

касающиеся русского этноса, россиян и самой России, представленные в современных массовых изданиях разных уровней, могут рассматриваться как автостереотипы, поскольку пишутся от имени русских или россиян и объединяются идеей «Мы».

Наши наблюдения позволяют утверждать, что автостереотипы-образы редко присутствуют в виде рефлексивов по поводу слова. Форма подачи автостереотипов — чаще всего развернутые аналитические статьи или интервью с известными представителями русской интеллигенции, в которых содержится оценка «русскости». Типичное для современных СМИ ерничество предполагает юмористическую форму автостереотипного описания (см., например, ряд интервью с известным сатириком М. Задорновым). Выделяются две противоположные тенденции, наметившиеся в этническом автопортрете. С одной стороны, «этнический плебеизм», «этнонигилизм», выражающиеся в своеобразном охаивании собственной этничности, что еще более усиливается на фоне отсутствия национальных успехов [см.: Малькова 2002: 297—298]: ***Нынешнюю Россию, преступную, коррумпированную, откровенно безнравственную, с недееспособной и услужливой чужим интересам властью, распродающую себя направо и налево за гроши и себя убивающую — такую Россию боятся сейчас во всем мире*** (Русь державная, 1997, № 12); ***Никто не знает, что такое русская цивилизация — то ли отрезанная голова у седла oprичника, то ли позолоченный купол очередной, никому не нужной церкви, то ли загибающийся у тюремной парашаи Мандельштам, то ли оперетта Никиты Михалкова с градоначальниками, фейерверками и блинами*** (АИФ, 2002, июнь); ***Странное название — Россия, Будто не было другого слова.../Это ж надо было так красиво/Называть страну, где так хреново!*** (С. Гальперин, МК-Урал, 2001, февр.); ***Давеча генеральный прокурор Устинов утверждал: за последние триста лет российский народ не стал менее вороватым. Вообще-то это мягко сказано. Надо честно признать, что по части воровства наш народ добился результатов выдающихся. На данной стадии нашего с вами развития слово «вороватый» уже не подходит. Вороватый — это когда***

колосок с поля, когда ведро угля из вагона или охапку белья с веревки. С этим у нас действительно все нормально, как и триста лет назад. А вот умение воровать миллионы и миллиарды, и не рублей, а долларов, и при этом не забиваться в угол, как тварь дрожащая, а оставаться на виду, цвести и пахнуть — это явление своего названия пока не имеет. И мир изумленно косит глазом в сторону России, пугаясь нового проявления могучего таланта ее народа (МК-Урал, 2001, февр.); **Слухи об уме русского человека сильно преувеличены.** Ум у него специфический. Стоя на грани бедности, голодный и оборванный, он может часами рассуждать о бедственном положении негров в Америке (АИФ, 2000, июнь); Мы такие бедные потому, что думаем, что мы такие умные. **Мы сделали собственную лень предметом гордости** (Там же); Меня за то ругают: ты народ не любишь. Да, во многих его ипостасях народ наш я не люблю сейчас, на старости лет. **К концу тысячелетия мы подходим в очень плохом состоянии, и прежде всего нравственном и духовном.** Я прежде всего не патриот тому, когда он, народ, навалиется в грязи, ленивый, опившийся плохой водки, а ему говорят... (В. Астафьев, 1998, февр.).

С другой стороны, намечается тенденция самоутверждения «русскости» как некой спасительной гавани после периода замешательства и кризиса идентификации. В условиях доминирующей негативной составляющей востребованным оказывается «позитив», т. е. «набор признаков, годящихся для опорной конструкции» [Левада 1999: 33]. Наступило время резкой постперестроечной критики, обыденное сознание находится в поисках положительных черт в русском национальном характере. По результатам социологических опросов русские за период с 1989 по 1999 год стали в собственном массовом воображении значительно более энергичными, гостеприимными, открытыми, простыми и даже более трудолюбивыми, реже бичуют себя за непрактичность и безответственность. На одном уровне на протяжении десятилетия сохраняется лишь показатель лени как национальной особенности [см.: Там же: 33]. Травматический опыт прошлого трансформируется в парадоксальную форму

национальной гордости своим терпением или страданием. Рефлексивные высказывания документируют положительные чувства по отношению к русскому человеку: *Раньше за границей говорили: «Вон идут русские». Значит, чем-то мы отличались. **Отсутствием прагматичности, хорошим разгильдяйством, чувствами*** (Известия, 1995, окт.); *Преклоняю свою седую голову перед мужественными людьми, кто верит в Россию, в ее мужественный, одаренный, терпеливый народ* (Российская газета, 1998, янв.); *Молодые русские люди — у них неукротимая энергия, они веселы, активны, не меркантильны, им хорошо вместе. Они свободны от наследства «проклятого советского прошлого», как кто-то сказал: первое непоротое поколение. Это те, кто реально может что-то сделать, кого можно научать и кто может научиться* (Огонек, 1994, дек.); *«Новый человек» в России — энергичный, предприимчивый, сумевший уверенно перестроиться в русле времени. Его девиз — смелость, трезвость и честность. А еще — доброта. Он знает цену себе, способен быть самокритичным. Человек действия и результата* (Семья, 1994, июль); *Лицо поколения — энергичность, предприимчивость, самостоятельность, свобода* (Известия, 1995, окт.); *Я считаю себя «старым новым русским». Ведь занимаюсь я старым делом, но в новых условиях. Я вижу, как работают предприниматели, которые чего-то достигли, — минимум 12 часов в день. Уровень ответственности огромный. Они оказывают огромную, благотворительную помощь населению* (Труд, 1995, июнь); *И русский человек, и русский бизнесмен отличаются от западного, потому как иного быть не может. Только русский способен проявлять чудеса деловитости днем, а потом за один вечер спустить все с трудом заработанное да еще и в долгах оказаться. И работает наш человек споро, и гуляет от всей души. «Новых русских» не бывает, потому что человек наш не меняется в зависимости от времени и конъюнктуры. Русские — это мы* (Огонек, июль, 96); *У нас нет и не было своих Макиавелли, мы не умеем плести долгие кружева интриг, это не наш генотип. Мы открытые люди* (КП, 2002, апр.); *Те, кто обогатился дуриком, либо уехали на Канары, либо*

разорились. *А те, у кого оказался врожденный талант, продолжают уже не воровать, а развивать производство* (Там же, март); *Население росло еще и потому, что Русь всегда знала баню, а Европа дважды изгоняла, католическая церковь ее запрещала, как разносчик эпидемий и разврата. Так и жили европейцы, не моясь, до XIX века* (Там же); *Остается только суд. Но при этом раскрывается наше российское нежелание сутяжничать* (МК-Урал, 1998, апр.).

Недостатки русского национального характера рассматриваются сквозь призму доброжелательности, восхищенного удивления: *Вот она, наша русская ментальность! Вот она, загадочная русская душа! 199 человек не поленились и позвонили в редакцию «МК», чтобы высказать свою поддержку американскому президенту, попавшему в неловкое положение из-за секс-откровений бывшей сотрудницы Белого дома. При этом «наймитку капитала» Моника Левински, а заодно и другую бывшую якобы подружку Клинтона Полу Джонс заклеили позором так, что мало не покажется! Президент Клинтон благодаря своему богатырскому здоровью стал чуть ли не русским национальным героем. Держись, Билл! Россия с тобой! Руки прочь от зиппера Клинтона!* (МК-Урал, 1998, февр.).

Рефлексия обыденного сознания является благодатной почвой для создания мифологемы русской духовности, предполагающей пренебрежение материальными благами русского народа, легенды о русском терпении или особом миролюбии русских, постоянно оказывающихся жертвой агрессии со стороны других. О сформированности русского комплекса «жертвы» говорил В. Астафьев: *Народу говорят: «Вот ты, народ, страдаешь, вот в канаве валяешься, бедный, тебя туда толкнул Ельцин. Ты раньше в канаве не валялся, ты раньше на производстве у станка стоял по 8 часов и сейчас бы стоял, зарплату бы вовремя получал. А сейчас, гляди-ка, что с тобой происходит. Тебя толкнули в канаву. Это американцы помогли!» Глупости!* (АИФ, 1998, февр.).

Подобное, по Л. Гудкову [1999], сознание (комплекс) жертвы возникает как реакция на напряжение в современной общественной системе, являющей собой зону ценностной

неопределенности, на дефицит национального самоуважения, на разорванную коллективную идентичность, представляющих в совокупности комплекс национально-государственной идентификации.

Подведем итоги. Современные россияне переживают потерю тождественности в результате отречения от советского прошлого. Особенно значимой становится этническая принадлежность человека как реакция на нестабильность современного общества. Неясно выраженные позитивные факторы «своего» способствуют проявлению амбивалентности массового сознания, появлению оппозиционных связей антонимического типа лексем *русский* – *россиянин*, распространенности разнообразно выраженных фобий. Когнитивная деятельность индивида, эксплицитно выраженная в рефлексивных высказываниях, отражает динамический процесс адаптации современного российского человека к новой действительности.

Литература

- Андреева Г.М.* Психология социального познания. - М., 2000.
- Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990
- Бердяев Н.А.* Национальность и человечество // Судьба России. - М., 1918.
- Бердяев Н.А.* Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. - Париж, 1952.
- Волошин М.* Россия распятая // Юность. 1990. № 10.
- Гудков Л.* Комплекс «жертвы»: Особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1999а. № 3.
- Гумилев Л. Н.* Этногенез и биосфера Земли. - Л., 1990.
- Дробижеева Л.М.* Теоретические вопросы этничности [Гл. 2]; Этническое самосознание: идеология и поведение [Гл. 9] // Арутюнян Ю.В., Дробижеева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. - М., 1998.
- Иванова Н.И.* Исследование социальной идентичности у студентов педагогических вузов // Идентичность и толерантность. - М., 2002.

Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. - М., 1993.

Касьянова К. О русском национальном характере. - М., 1994.

Колосов А.В. Родина — Отчизна — Отечество: К вопросу о тестировании понятий // Поле мнений. Фонд «Общественное мнение»: Дайджест результатов исследований. Вып. 7.- М., 2001

Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. - М., 1993.

Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла // Психологический журнал. 1999. Т.20, №3.

Левада Ю.А. Десять лет перемен в сознании человека // Общественные науки и современность. 1999. № 5.

Малькова В.К. Особенности стереотипизации этносов в российской прессе: Проблемы национального достоинства и толерантности // Идентичность и толерантность. - М., 2002.

Норман Б.Ю. Основы языкознания. - Минск, 1996.

Павленко В.Н. Разновидности кризиса социальной идентичности в Украине // Этническая психология и общество. - М., 1997.

Розанов В.В. Черты характера Древней Руси // Религия и культура. - М., 1990. Т. 1.

©Вепрева И.Т., 2004

Т.А.Гридина
Екатеринбург

Мотивационная рефлексия в детской речи: лингвокогнитивный аспект

В современной лингвистике все более активно заявляет о себе дискурсивно-коммуникативная парадигма, в фокусе внимания которой оказывается связь коммуникации и когниции [Кубрякова 2004].

Продуктивным представляется исследование этого взаимодействия в онтолингвистическом ключе, поскольку речевое и когнитивное развитие ребенка находятся, как известно, в отношениях тесной (хотя и нежесткой, по С.Л.Рубинштейну) корреляции. Язык как гибкая операциональная структура ярко проявляет себя в сфере детской речи (ДР), обнаруживая лингвокреативные механизмы познания мира ребенком. Интерпретация усваиваемых языковых форм и

значений в ДР выступает как поле когнитивной проекции, когда, постигая вербальный код передачи информации, ребенок «вытягивает» из содержания знака то, что соответствует его когнитивному опыту (так, ситуация использования детьми готовых слов показывает, что через одну и ту же языковую форму на разных этапах освоения значения «пропускаются» разные когниции). Ср., в частности, характерные для онтогенеза речевой деятельности **явления «сдвинутой референции»** (термин Е.С.Кубряковой): *клюв* – о длинном хоботе слона (*Какой у слона клюв большой!* – 1 г.5 м.¹); *бидон* – цистерна для перевозки горючих жидкостей в товарных поездах (*А что везут в этих бидонах больших?* – 7 л.6 м.); **случаи расширения и сужения значений** усваиваемых детьми слов: *абзац* – о перерыве, паузе (Смотрит по телевизору фестиваль «Песня-88»: *Это еще не поют. Это абзац!* – 8 л.11 м.); *атмосфера* – биополе, воздух (*Как же Чумак атмосферу по телевизору передает?* – 9 л.)// *Я открыл дверь, и атмосфера в этой комнате стала лучше* – тот же ребенок в возрасте 10 л.6 м.); **непреднамеренная/преднамеренная метафоризация**: *бодрствовать* – не спать (о всех живых существах): *Мухи в пять часов уже ложатся спать, а почему эта бодрствует?* (7 л.5 м.); *беситься* – извергаться (о вулкане): *А вулкан, что он так бесится? И что внутри земли бесится?* (8 л.6 м.); *бомба*. В сравн. – *А что ночью снег бомбами падает, что его так много?* (7 л.11 м.); **деметафоризация**: *безобидный* – о том, кого никто не обижает (*Лиса там тоже безобидное животное, ее никто не обидит в этом теремке.* – 3 г.11 м.) - см.: [Харченко] и т.п.

Другим направлением креативной деятельности ребенка при усвоении языка является «трансформация» готовых знаков и собственное словотворчество. Ср.: *бракосодержание* вместо *бракосочетание* (*Дом бракосодержания?* – 4 г.2 м.); *буйны* – волны (Играет в тазу в море: *Сейчас буйны кончились* – 6 л.1 м.); *бульбулька* - река (*Это наша бульбулька!* – 4 г.); *завспышишь* –

¹ Материал для анализа почерпнут автором из опубликованных дневниковых записей из словарей детской речи (см. Список источников), а также из собственных наблюдений над спонтанной речью детей (последние не сопровождаются специальными пометами).

сфотографировать со вспышкой (*Я фотографирую со вспышкой. Шутит. Я тебя завспышил!* – 5 л. 10 м.) [Харченко]; базарник – о том, кто торгует на базаре (*На продавцов в магазинах учат, а на базарников?* (6 л. 4 м.) [Харченко]; *кругооборот* - *кругооборот*. *А из банка зарплату выдают – и так получается кругооборот денег* (7 л. 6 м.) [Харченко] и многие другие инновации такого рода.

Все это позволяет говорить о детской («сверхнаивной») языковой картине мира – индивидуальной у каждого ребенка и в то же время обнаруживающей общие черты в аспекте тех ментальных доминант детского языкового сознания, которые в ней отражаются.

Представление о развитии речи как овладении вербальными знаками и знаковыми операциями не может быть полным без учета тех специфических форм речевого мышления ребенка, в которых проявляется его знание о содержании сообщения (речевого высказывания). Одним из основных способов выражения знания ребенка о языковом знаке и стоящем за ним содержании является так называемая **мотивационная рефлексия** – особая форма метаязыкового мышления, связанная с осознанием (пониманием) внутренней формы слова (выявлением мотивированности наименования). Отражая стремление ребенка к установлению «объяснимой» связи между формой и содержанием языковых единиц, мотивационная рефлексия «высвечивает» когнитивные основания, лежащие в основе такой интерпретации, а также обнаруживает те креативные ходы, которые подсказаны ребенку собственно языковой техникой. Механизм мотивационной рефлексии заключается в выдвижении детьми «гипотез» относительно содержания узуальных слов (на основе усвоенных, актуальных для ребенка принципов мотивации и номинации) и объяснении собственных инноваций (при порождении нового слова с предъявлением мотивационного контекста). Мотивационная рефлексия, таким образом, может быть рассмотрена как своеобразное связующее звено между объективной действительностью и детским языковым сознанием, позволяющим ребенку моделировать мир по собственным «лекалам».

Выявление фактов мотивационной рефлексии в опоре на метаязыковые (мотивационные) контексты, сопровождающие процессы толкования готовых слов и процессы словотворчества в детской речи, дает возможность проследить, как ребенку «представляется его собственная мысль» (А.А.Потебня), обнаружить ассоциации, которые стоят за соответствующим знаком и определяют психологическую реальность его функционирования в речи конкретного ребенка, а также выявить общие тенденции речевого поведения, свойственные детям определенного возраста. В связи с этим необходимо исследовать типологию мотивационных контекстов с точки зрения их структуры, функций и объяснительной «силы» (как результат «соединения» когнитивного и языкового опыта в коммуникативной деятельности ребенка).

Мотивационная рефлексия находит отражение в метаязыковых контекстах, отражающих детскую «логику» объяснения слова через связь с созвучной и/или понятной, знакомой лексемой-мотиватором; мотивирующая единица в таких «комментирующих» контекстах может быть представлена непосредственно или опосредованно (через ассоциат, заменяющий реальный или «гипотетический» мотиватор). Ср.: *Тополь должен топать?* (мотивирующая единица – глагол *топать* - представлена непосредственно в контексте) // *А камерную музыку в тюрьме исполняют?* (мотивирующее слово *камера* в значении «тюремное помещение», в самом «толковании» отсутствующее, выводится ассоциативно – на основе метонимической связи с понятием «тюрьма»).

В ситуации когнитивного дефицита контексты, связанные с «прояснением» детьми мотивированности непонятого слова, часто имеют характер вопроса (см. примеры, приведенные выше). При этом мотивационная рефлексия может быть обусловлена как поиском стоящего за словом денотата (собственно «значения» слова), так и стремлением ребенка найти объяснение названию известной реалии. В последнем случае мотивационный контекст имеет, как правило, констатирующий характер, фиксируя «обнаруженную» детьми связь между свойствами обозначаемого и его названием. Ср.:

Алисум - это цветок такой. Он оранжевый, **на лисичку** похож (ребенок находит созвучный мотиватор, «образно» указывающий на цвет листьев растения; ложноэтимологический характер данного толкования не исключает реального знания ребенка о свойствах растения).

Пояснительный мотивационный контекст нередко сопровождает инновации, появляющиеся в результате детского словотворчества, или предшествует уточняющей реноминации (частичной трансформации существующего в языке слова с целью уточнения его мотивированности): *Тот, кто на коне едет, – конник, а кто на лошади – лошади́к // Почему говорят «кровати»? Надо бы «спалилы», ведь на них спят // Это не гребешок, а причешок – им же причесываются!* (Чук.)

Проявлением мотивационной рефлексии можно считать и случаи совместного употребления в речи детской инновации и «породившего» ее слова-прототипа: *Почему говорят «мамонты», а не «напонты»? // Папа любит гамбургеры, а я сырбургеры // Я буду покупатель, а ты продавец. – Не покупатель, а покупатель. – Ну, тогда ты будешь покупатель, а я продаватель.*

Таким образом, мотивационные контексты, отражающие рефлексия ребенка над словом, выявляют (выводят наружу) обычно скрытые от непосредственного наблюдения этапы ономаσιологического процесса, связанного с порождением нового и восприятием готового знака. Тесная связь ономаσιологической «ретроспективы» (когда исходная база наименования восстанавливается по «готовому» слову) и ономаσιологической «перспективы» (когда некий пояснительный контекст или соотнесение с каким-то номинативным прототипом предшествуют появлению новообразования) в детской речи очевидна.

В психологическом плане мотивационная рефлексия служит для ребенка механизмом адаптации к системе единиц «взрослого языка», способствует коммуникативной успешности ребенка и, кроме того, позволяет ему освоить саму технику языковой номинации как способ выражения знаний о мире.

Одной из доминирующих в детской речи функций мотивационной рефлексии является **уточнение содержания**

слова при его восприятии/употреблении в чужом или собственном высказывании. Мотивационная рефлексия при этом может опираться на формальные, формально-смысловые и собственно семантические основания интерпретации внутренней формы слова. Часто фактором, определяющим направление мотивационной рефлексии, становится ситуативный контекст, из которого ребенок черпает необходимую информацию для объяснения непонятных слов или создания собственных номинаций. Например: (Ребенок) *Мама, я хочу молочка.* - (Мать) *Оно **скислось**.* - (Увидев, как кошка пьет молоко из блюдца) *Его **киска** съела?* Объяснение значения непонятного слова подсказано ребенку ситуацией, а собственно эвристическим языковым «ходом» является вычленение в структуре непонятного слова сегмента, сходного по звучанию с понятным (ср. псевдомотиватор *киска*). Или: *К нам вчера **крановщик** приходил...**Кран** в кухне чинил.* Отсылка к мотивационному значению «тот, кто чинит краны (на кухне)» раскрывает семантическое наполнение слова *крановщик* в речи ребенка (ср. *крановщик* – «тот, кто работает на подъемном кране» и узуальные синонимы детской инновации *водопроводчик, сантехник*). Проявление мотивационной рефлексии в данном случае обусловлено потребностями ситуативной номинации лица по роду деятельности (при незнании ребенком соответствующего узуального названия) и необходимостью уточнения содержания собственного высказывания для того, чтобы быть понятым собеседником. Подобные факты мотивационной рефлексии в детской речи можно квалифицировать, с одной стороны, как проявление тенденции перехода ребенка от ситуативной речи к контекстной [Гридина, Колясникова 2003], с другой стороны, как омонимическое словообразование и/или новое семантическое наполнение словообразовательной структуры «готового» слова в условиях дефицита когнитивного и речевого опыта.

С учетом адресации метаязыковых высказываний (их функций в реализации коммуникативного диалога) можно выделить некоторые типологические разновидности мотивационной рефлексии в детской речи: 1) **коммуникативно-прагматический тип** мотивационной рефлексии, опирающейся

в выведении смысла слова/высказывания на конкретную ситуацию межличностного общения; данный тип мотивационной рефлексии стимулирован стремлением ребенка устранить «помехи», связанные с пониманием речи собеседника или «трансляцией» собственных высказываний. Например: *А мы Машу Домшакову зовем «домна», потому что она все время болеет и в садик не ходит, дома сидит* (5 л.) - парадоксальная ложноэтимологическая мотивация «проясняет» для собеседника смысл данного детского прозвища. Ср. следующий диалог: (Бабушка, укладывая ребенка в кровать) *Уже темно, на улице только шакалы ходят. – Шагалы?* (3, 5) - основой «прояснения» значения непонятого слова и его ложноэтимологической трансформации становится для ребенка ассоциация с *шагать*, стимулированная не только созвучием, но и синтагматическим партнером слова в контексте высказывания взрослого (*шагалы* – буквально «те, которые ходят → *шагают*»); в отличие от первого примера, прагматика речевого акта заключается здесь в «уточнении» ребенком полученной от взрослого информации; 2) **коммуникативно-эвристический тип** мотивационной рефлексии, который сопутствует процессам «компенсационного» формо- и словообразования в ситуации номинативного (языкового) дефицита. Например: В зоологическом саду, показывая на птиц, спрашивает отца: - *Ну, папа, как ее зовут?* Отец пожимает плечами и молчит: - *Та большая называется бабука, а маленькая кука. Запомнишь?* [Кольцова 1979]. Реализация коммуникативной потребности в обозначении элементов наглядной ситуации («заполнение» номинативной лакуны) основано на представлении ребенка о связи величины предмета и его имени (количества и качества звуков), о чем свидетельствует ономазиологический контекст данных взаимосвязанных новообразований. Ср.: Мать, обращаясь к ребенку: - *Мне некогда. – Нет, дакогда, дакогда! // Мы в школе считаем до миллиона. – А мы в садике – до всеона! // Считает: Одиннадцать, двенадцать...Хвадцать!* [Харченко 1994]. Квазичислительные *хвадцать* (в значении «хватит», «достаточно») и *всеон* (в значении «неограниченно большое число») – яркие примеры детского словотворчества, эвристическая направленность которого самоочевидна:

существующая в языке модель (конкретное слово-образец) используются в нестандартном значении, при этом сам креативный ход (изобретение собственной окказиональной номинации) заключается в преодолении ребенком «недостаточности» стандартного языкового репертуара для действия в конкретной ситуации речи. // (Ксюша отказывается открывать гостям дверь): *Я бесплатная и бесхалатная* [Харченко 1994] - контекст, в котором «рефлексивную пару» образуют омонимичная узуальной лексема *бесплатный* и созданная ребенком по той же модели номинация *бесхалатный*; эвристический ход ребенка продиктован необходимостью объективировать содержание, не имеющее в языке специальных однословных наименований: буквально «быть неодетой» – *без платья и без халата*; мотивационная структура обоих слов свидетельствует об ориентации ребенка на значение конфикса *без(с)-...-н-*, востребованное в ситуации номинативного «поиска»; при этом лексему *бесплатная* можно рассматривать и как результат омонимического словообразования, и как следствие парадоксального прояснения внутренней формы готового слова, ср. *бесплатный* – от *платить*); 3) **интерпретативно-прогностический тип** мотивационной рефлексии, сопровождающий освоение детьми содержания и формы названий определенной предметной области на основе ассоциативных (формально-семантических) вербальных аналогий и внеязыкового знания об обозначаемом. Например: *В духовной семинарии они там учатся на духовых инструментах?* (9.11) [Харченко 1994]. В данном случае в ситуации когнитивного дефицита этимологическая рефлексия приводит ребенка к ложному выводу о содержании слова, интерпретированного через генетически родственный (созвучный), но не соотносительный по значению мотиватор (ср. *духовный* и *духовой* как родственные словам *дух*, *дышать*, *вдыхать*). Ср. также: *А почему пломбир не врач, который ставит пломбу?* (6 л.7 м.) [Харченко 1994] – осознание возможности иного семантического наполнения у слов подобной структуры на основе ассоциативной связи созвучных лексем *пломбир* и *пломба* при ориентации на лексемы типа *командир*, называющие лицо по роду деятельности.

Результатом данного типа мотивационной рефлексии являются ремотивация и уточняющая реноминация: *Мы же в Центрально-Черноземном районе живем, почему же здесь песок? Это не чернозем, а пескозем!* (7, 6) [Харченко 1994]. Доминирующим аспектом интерпретации значения слова с предъявлением мотивирующего компонента часто становится личностный (как правило, ситуативный) смысл: *Доверие – это когда доверяют ребенку большие деньги* [Богуславская, Купина 1975].

Мотивационная рефлексия может быть, таким образом, рассмотрена как выраженная (репрезентированная) соотносительными по звучанию и/или значению единицами) ономаσιологическая пропозиция, лежащая в основе осмысления готового или создания нового наименования. Рефлексивная деятельность языкового сознания опирается как на «эмпирическое» знание, формирующее картину мира ребенка, так и на знание, выводимое из анализа осваиваемых языковых форм и значений. Метаязыковая деятельность (в частности, мотивационная рефлексия) выступает как одна из форм лингвокреативного мышления ребенка, соответствующая уровню его речевой способности и активности. «Субстратом» мотивационной рефлексии является эвристический характер усвоения языка в онтогенезе, что выражается в актуализации лингвистического инстинкта («чутья») ребенка, интуитивном осознании «глубинных» законов языковой системы и использовании потенциала формо-, слово- и смыслообразования в ситуации когнитивного дефицита и недостаточности речевого/языкового опыта.

Анализ фактов мотивационной рефлексии, сопровождающих употребление детьми готовых слов и создание самостоятельных новообразований, должен учитывать характер устанавливаемых детьми языковых ассоциаций (аналогий) в соответствии с их когнитивной обусловленностью.

Проанализированный материал позволяет выделить следующие типы мотивационной рефлексии в детской речи в зависимости от лежащих в ее основе когний:

1. Мотивационная рефлексия, опирающаяся на ситуативно обусловленные когнитии, – наиболее актуальный для ребенка вид знания: – *Я знаю, почему говорят «шальная погода». Это когда на улице холодно и тети шали надевают* (5 л.) – ложноэтимологическое пояснение внутренней формы слова ориентировано на ситуативный контекст, из которого ребенок выводит «логическое» обоснование связи между созвучными словами // Ср.: – *Боря, надень колготки*. – *Неправильно говоришь. Надо «полготки»*. – *Почему?* – *Потому, что я их ношу полгода, а потом они дырятся* (Чук.). В данном случае перед нами пример уточняющей ложноэтимологической реноминации, основанной на личном опыте ребенка, для которого в содержании слова превалирует ситуативный смысл. Или: *«Домодедово» легко разобрать: дом дедов* (самолеты на Новосибирск, к бабушке) – (7 л.4.м.) [Харченко]– возможно, в данном случае ситуативная обусловленность мотивации названия аэропорта имеет характер языковой игры, поскольку ребенок семи лет вряд ли не знает, что самолеты летят в разные города. Мотивационная рефлексия касается формальной стороны прозрачного по своей словообразовательной структуре слова, которая интерпретируется в соответствии с возможностью ее ситуативного объяснения. Как языковую игру, основанную на ситуативной актуализации внутренней формы устойчивого номинативного сочетания, можно интерпретировать и следующий детский «каламбур»: *Почитай что-нибудь* (обращение матери к ребенку, с которым она проводит отпуск в доме отдыха). Ребенок: – *Это дом отдыха, а не дом чтения!* (8 л. 5 м.) [Харченко]. Данное ситуативное «противопоставление» основано на сужении объема понятия «отдых», чем манипулятивно пользуется ребенок в описанной ситуации, чтобы избежать «неинтересного» для себя времяпровождения.

Ситуативно обусловленная мотивационная рефлексия над словом может, таким образом, «удовлетворять» когнитивный запрос ребенка в сочетании с проявлением языковой «смекалки».

2. Мотивационная рефлексия, опирающаяся на типизированные когнитии и некоторые усвоенные алгоритмы

их языкового воплощения. Таково, например, стремление детей к «симметричному» словообразованию, когда формальная структура одного из известных ребенку слов берется за образец при создании оппозиций тематически (семантически) связанных или противопоставленных номинаций. Например: *А почему в Германии живут не германцы, а немцы, и страна называется Германия, а не Немия?* (8л.8м.) [Харченко]. Мотивационный контекст свидетельствует о рефлексии ребенка над словом, форма которого не соответствует логике выражения значения «житель определенной страны» в структуре типовых (освоенных) номинаций (*француз живет во Франции, англичанин в Англии*; соответственно *немец должен жить в Немии, а в Германии - германец* и т.п.). Ср. также: *А когда ты будешь двугодняя? Потому что лет – это лет. 100 лет, а два – года!* (5 л.6 м.).

3. Мотивационная рефлексия, отражающая номинативный «реализм» детского сознания, основанный на представлении о непосредственной связи между языковой формой и свойствами описываемого ею объекта. Ср.: (Мать): *Как ты думаешь, «гиппопотам» и «бегемот» - это одно и то же?* (Даша): *- Нет, гиппопотам больше, чем бегемот. – Почему? – Потому что нельзя сказать «гиппопотаменок», а «бегемотик» можно... В слове «бегемот» 7 букв, а в слове «гиппопотам» - 9 (ошибочный подсчет из-за неучета удвоенных гласных. – Т.Г.), значит, он больше (6 л.6 м.)* [Харченко]. Мотивационная рефлексия над формой слова как отражением свойств известного денотата проявляется в данном случае в подсчете количества букв, доказывающих, по мнению ребенка, «различие» обозначенных словами объектов (животных) по величине. Это различие подтверждается и своеобразным словообразовательным экспериментом, с помощью которого ребенок устанавливает возможность образования уменьшительных производных от слов *бегемот* и *гиппопотам*. При этом обнаруживается не только буквальное восприятие связи слова и значения, но и языковая интуиция ребенка, когда созданное им новообразование *гиппопотаменок* отвергается как «неуклюжее», «тяжеловесное», «труднопроизносимое», явно не подходящее для характеристики животного небольших размеров.

4. Мотивационная рефлексия, отражающая незавершенность процессов формирования семантического компонента языковой способности ребенка. Ср., в частности, невосприятие детьми переносных значений слов и фразеологизмов, случаи парадоксального толкования лексем через «прояснение» их внутренней формы, расширение и сужение значений и т.п. семантические сдвиги, проявляющиеся в «реакциях» детей на высказывания, содержащие непонятные (или не вполне понятные) детям вербальные знаки: (Услышал, как кто-то сказал, что смотрит на ситуацию «другими глазами»). Заинтересованно: - *А где у тебя другие глаза?* (3 г.) // (Мать, обращаясь к дочери) *Горе ты мое луковое!* Вероника: *Не горе, а поле! Горе луковым не бывает, а поле бывает* (5 л.) [Харченко] – буквальное понимание значений фразем // *Почему говорят «в глубь леса»? Туда же не падают, в глубь?* (4 г. 7 м.) [Харченко] - непонимание смысла словосочетания обусловлено тем, что слово *глубь* воспринимается ребенком как «место, куда можно упасть, провалиться»; ср. *глубокая яма (река), глубина реки, нырнуть с головой* – возможные варианты прототипических ситуаций, формирующих у детей представление о параметре *глубокий* прежде всего как мере вертикального измерения²// (Читаем вслух): *«Принесли целовальнику кожи». – Как, целовальнику? Они что, его целовали?* (12 л.) [Харченко] – ложноэтимологическое проявление внутренней формы непонятного устаревшего слова // *Это химическая завивка. – А почему не физическая?* (8 л. 7 м.) – расширительное понимание значения прилагательного *химический* в составе данного словосочетания (при неусвоенности специализированного компонента «завивка волос с помощью специального химического состава»); мотивационная рефлексия свидетельствует об актуальности для ребенка-школьника смысла прилагательных *химический* и *физический* как

² Ср. детские инновации, отражающие соответствующие прототипические когнитии, связанные с представлением о глубине: Углуб – «углубление». Рисует реку: *А здесь такой углуб* (4 г. 10 м.). Углубитель – «механизм для углубления водоемов». *Раньше не было землечерпалок, были только углубители моря* (4 г.) [Харченко]

производных от наименований соответствующих учебных дисциплин // *Отрежь мне сыра по горизонтали! - Как по горизонтали? - По линии горизонта?* (8 л.) [Харченко] – сужение значения слова горизонталь на основе буквального понимания его внутренней формы // *- А что такое «тонна»?* – Тысяча килограммов. – *Головастики лягушек, тритоны, такие тяжелые?* (7 л.3 м.) - мотивационная рефлексия, ложноэтимологически проясняющая внутреннюю форму слова *тритон*, связана с формальным переносом полученной информации о значении слова «тонна» на объект, к которому данная характеристика не применима.

5. Мотивационная рефлексия, отражающая склонность детей к обнаружению фонетического символизма знаков (поиску стоящего за словом звукообраза). Ср.: *- Мама, когда ты режешь лук, нож говорит: «Луис Альберто! Луис Альберто!* (5 л.4 м.) [Харченко]. Применение имени собственного к характеристике данной ситуации основано на звукоизобразительной «интерпретации» знака (уловленном сходстве повторяющегося с определенной периодичностью свистящего звука, издаваемого ножом, и звучания экзотического для русского уха испанского имени). Поражает и точность найденной ребенком звукообразной аналогии для передачи ритма соответствующего движения. Ср.: *Слышишь, вроде синичка тенькает? - А ты ее по теньку узнаешь?* (6 л. 8 м.) [Харченко] – актуализация внутренней формы звукоподражательного глагола // *Скрёп* (скрип): *- А он (динозавр) хлеб ест. - Да-да, хру-хру, с таким скрёпом ест* (6 л.4 м.) [Харченко] – ситуативное осмысление ребенком звукообраза, стоящего за существительным *скрип*.

6. Мотивационная рефлексия, отражающая языковой дефицит (недостаточность лингвистической компетенции ребенка) при реализации определенной коммуникативной потребности (сформированные на основе практического опыта ребенка когнитии не подкреплены соответствующими обозначениями или такие обозначения вообще отсутствуют в системе узуальных номинаций). В подобных случаях востребованным оказывается, в частности, аналогическое словообразование, когда уже освоенные детьми лексемы

становятся эталоном для заполнения номинативной лакуны. Мотивационная рефлексия проявляется в тиражировании какого-то «известного» ребенку образца, создании серий взаимосвязанных по форме и значению номинаций. Например: *Целовать можно только двухлетнего, годнего, **догодного*** (5л.3м.) [Харченко], ср. *одногodeвалый, двухгodeвалый* и словосочетание *до года*, не имеющее производного прилагательного соответствующей структуры; незнание же прилагательного *одногodeвалый* приводит ребенка к образованию слова *годний* в «обход» способа сложения – по продуктивной модели прилагательных с суффиксом *-н-*).

Создание детских инноваций в таких случаях нередко сопровождается пояснительным или предваряющим их появление мотивационными контекстами. Ср.: Собирает картинки из кубиков: *Там курица беспетухная, без петуха* (4 г.) // *В этом доме нет света. Это дом бессветный* (4 г.) // *Я могу знаешь, как бухнуться? Как бухарь!* (4 г.8 м.) [Харченко]. Проявлением мотивационной рефлексии, восполняющей номинативный дефицит в сфере детской коммуникации, можно считать и контексты, в которых представлены одноструктурные единицы, ориентированные на какую-то словообразовательную модель, или слово-образец и его окказиональный коррелят. Например: *Празять* – отец зятя. Шутл. *Это зять и прязть* (7 л. 3 м.) // *Прапрадети* – Правнуки, праправнуки. – *Да не эконоь воду! Мой (руки) как следует! – А моим детям хватит воды? И прадетям? И прапрадетям?* (5 л. 3 м.) [Харченко] // *Свет выключаем выключателем, а включаем включателем* (3 г.9 м.) [Харченко] – мотивационная рефлексия, обусловленная стремлением ребенка дифференцировать названия «приборов», обеспечивающих включение и выключение (света).

7. Мотивационная рефлексия, выявляющая потребность ребенка в «устранении» (преодолении) когнитивного дефицита, что выражается в парадоксальном прояснении детьми внутренней формы и значений непонятных лексем. Парадоксальная мотивация обнаруживает наибольшую степень зависимости ребенка от языка, поскольку базой для семантизации становится стихийная ассоциативная игра формальных аналогий, не подкрепленная знанием обозначенной

словом реалии. Однако, будучи парадоксальным по отношению к конкретному слову, толкование соответствующей языковой структуры, как правило, опирается на освоенные детьми номинативные эталоны. Ср.: *Бредень – это человек, который бредит?* // *А сливочное масло на деревьях растет? – Почему? – Ну, оно же из слив!* // *Индусы индюков разводят?* // *Графики – это цветные карандаши, ими пишут?* и т.п. В толкованиях этих слов «проступают» освоенные детьми типы отношений между явлениями живого и предметного мира: ср. наименования лиц по характерным для них действиям (*бредень, индусы*) и т.п.

Таким образом, факты мотивационной рефлексии, сопряженные с восприятием (и трансформацией, уточнением) внутренней формы существующих (узуальных) слов и фразеологизмов, толкованием значений готовых и создаваемых детьми «собственных» слов отражают доминанты языкового мышления, связанные с формированием картины мира ребенка.

Соотношение прототипических когний, складывающихся в процессе онтогенетического развития, с усвоенными алгоритмами языковой техники создает перспективу успешной лингвокреативной деятельности ребенка, чему в немалой степени способствует рефлексивная составляющая детской речи.

Литература

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Значение слова в восприятии младших школьников и принципы составления учебного словаря. – Свердловск, 1975.

Гридина Т.А., Колясникова О.С. Явление мотивационной рефлексии в ситуативной и контекстной речи // *Linguistica juvenis*. Сборник научных трудов молодых ученых. Вып.3. – Екатеринбург, 2003.

Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. – М., 1979.

Харченко В.К. Словарь детской речи. – Белгород, 1994.

А.И.Дунев
Санкт-Петербург

Лингвистика речевого воздействия как сфера интересов гуманитарных наук

В конце XX века лингвистика захватывала все больше областей исследований, интегрируясь с другими смежными науками. Так, ни у кого не вызывают сегодня удивления завоевавшие право на существование и укоренившиеся в прошлом веке гуманитарные дисциплины: философия языка, которой посвящают свои труды и философы и лингвисты, а подчас их просто трудно различить; социолингвистика, предполагающая взаимодействие лингвистики и социологии; онтолингвистика, изучающая своеобразный, не похожий на взрослый, детский язык; или психолингвистика – гуманитарная дисциплина, в которой используются как лингвистические, так и психологические методы изучения проблем, признающиеся предметом изучения и психологии, и лингвистики. Может, кому-то и сегодня покажутся экзотическими отраслями современного языкознания нейролингвистика, компьютерная лингвистика, юрислингвистика, лингвистическое жанроведение, лингвистическая эпистемология. Эти и другие сферы, в которые проникает лингвистическая мысль, уже обозначены, они имеют достойных представителей: ученых, пропагандистов, популяризаторов. Конечно, плацдармы для экспансии лингвистической наукой «чужих» областей знаний были подготовлены в течение нескольких десятилетий и не только выдающимися лингвистами, но и философами, психологами, социологами, медиками, инженерами и учеными многих научных направлений.

Как самостоятельная область исследований с собственным отработанным набором методов, очерченным кругом вопросов и проблем *лингвистика речевого воздействия* еще не существует. Но появление ряда трудов, имеющих не просто четко выраженную направленность, включающих в свое название сочетание слов *речевое воздействие*, слов, постепенно

приобретающих спаянность термина и определяющих стержень, направление исследовательской мысли. Среди таких работ следует назвать ряд сборников научных статей и коллективных монографий, включающих в название словосочетание *речевое воздействие*: «Речевое воздействие. Проблемы психолингвистики» [М., 1972]; «Язык как средство идеологического воздействия» [М., 1983]; «Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы» [М., 1986] и др. Это дает нам право говорить о новом, хотя и имеющем глубокие научные корни, направлении в современной лингвистике.

В условиях научной лингвистической ситуации начала XXI века *лингвистика речевого воздействия* принадлежит одновременно нескольким областям лингвистических исследований.

Прежде всего, вопросы и проблемы, связанные с различными аспектами речевого воздействия, оказываются в сфере проблематики психолингвистики. В учебнике «Основы психолингвистики» А.А. Леонтьев выделяет среди прикладных разделов *психолингвистику речевого воздействия*.

«Что мы понимаем под “речевым воздействием”? – пишет А.А. Леонтьев. – В сущности, любое общение – это речевое воздействие. Однако если предметом и содержанием предметно ориентированного общения является взаимодействие в процессе совместной деятельности, а предметом и содержанием личностно ориентированного общения – то или иное изменение в психологических отношениях людей, то третий его вид, социально ориентированное общение, предполагает изменение в социально-психологической или социальной структуре общества или стимуляцию прямых социальных действий через воздействие на психику членов данной социальной группы или общества в целом» [Леонтьев 1997: 256]. Ученый определяет основной ориентир обнаружения, выделения речевого воздействия из общения как такового, и этим ориентиром А.А. Леонтьев называет *изменение*, а точнее, сознательное стремление говорящего произвести изменение «в психологических отношениях людей» или изменение «в социально-психологической или социальной структуре

общества». Кроме того, речевое воздействие – это, как правило, побуждение адресата к выполнению действия, которое и явится следствием изменения ситуации. Психолингвистика, согласно авторитетному мнению А.А. Леонтьева, изучает речевое воздействие преимущественно в условиях массовой коммуникации. И основной областью применения речевого воздействия психолингвистика считает социально ориентированное общение в формах пропаганды, рекламы, психологических войн.

«То, что мы называем здесь *речевым воздействием*, – это и есть различные формы *социально ориентированного общения*. Иными словами, это массовая коммуникация (радио, телевидение, пресса); формы пропаганды, не укладывающиеся в традиционный объем массовой коммуникации, – такие, как расклеиваемые или распространяемые листовки, документальные кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы с задачей социального (социально-психологического) воздействия; наконец, различные формы рекламы – как коммерческой, так и политической. Кроме того, в социально ориентированное общение входят различные формы непосредственного социального воздействия вроде лекций, устных публичных выступлений и т.д. Наконец, к той же проблематике тяготеет то, что часто называется “психологической войной” – система социально и социально-психологически ориентированных действий» [там же: 256 – 257].

Другой областью филологических исследований, включающей вопросы, связанные с речевым воздействием, является риторика. Риторика как одна из филологических дисциплин предполагает обучение «искусству убеждения». Риторика учит, что речь может оказать действие на адресата только в случае соответствия высказывания речевой ситуации. По словам А.К. Михальской, «правильное видение речевой ситуации и способность привести в соответствие с ней свои речевые действия (дискурс) – это и есть существо риторических знаний и умений, самое главное в риторике» [Михальская 1996: 49]. Так же, как и в риторике, исследования, посвященные

речевому воздействию, стремятся описать условия гармонизации общения.

Речевое воздействие и манипулирование сознанием становятся центром проблематики такого недавно возникшего, но интенсивно развивающегося направления, как нейролингвистическое программирование. Хотя данное направление исследований не стоит в полной мере относить исключительно к лингвистике, а скорее, к психологии, психотерапии, медицине и даже менеджменту, труды по нейролингвистическому программированию освещают тактики и стратегии поведения, в том числе и речевого, в различных условиях общения.

Если рассматривать проблематику речевого воздействия в лингвистических исследованиях, то, без сомнения, большая часть этих научных трудов изучает лингвистическую прагматику. (Языковедческие исследования, посвященные проблематике речевого воздействия, представляют собой часть лингвопрагматики.) В целом лингвопрагматика, со слов Е.В. Падучевой, «изучает языковые элементы, ориентированные на речевое взаимодействие; иначе говоря, элементы, в семантике которых отсылка к говорящему играет ключевую роль» [Падучева 1996: 223]. Составляющие лингвопрагматику и частично оформившиеся в самостоятельные учения и направления языкознания, такие как: теория речевых актов и лингвистическое жанроведение, речевая конфликтология, изучение тактик и стратегий речевого поведения, описания механизмов экспрессивности и эмоциональности в языке и речи, исследования невербальных средств коммуникации, теория информации, в той или иной степени имеют отношение и к лингвистике речевого воздействия. Лингвистика речевого воздействия в полной мере использует основные понятия прагматики, такие как: *иллокутивная сила высказывания, фактор адресата, интенциональность, речевой акт и речевой жанр*. основополагающими работами по лингвопрагматике, имеющими значения в развитии теоретического плана для лингвистики речевого воздействия, можно считать труды Н.Д. Арутюновой, А.В. Бондарко, Т.В. Булыгиной, Т.Г. Винокур, Е.В. Падучевой [Арутюнова 1981; 1988; Бондарко 1996; 2002;

Булыгина, Шмелев 1997; Винокур 1993]. Пожалуй, работы названных ученых сыграли определяющее значение для всей лингвистики конца XX века.

Каждая уже сложившаяся область исследования, будь это психолингвистика или нейролингвистическое программирование, вкладывают в термин *речевое воздействие* элементы того или иного учения. Другими словами, выделяют один из аспектов РВ как целостного понятия. В широком смысле речевое воздействие – это действие, влияние¹ с помощью средств естественного языка² на индивидуальное или коллективное сознание³ в процессе речевой коммуникации⁴. Поясним это определение. ¹Слова «действие» и «влияние», через которые определяется, толкуется термин, являются синонимами к слову «воздействие». Первое из определяющих слов указывает на активный характер коммуникативного акта со стороны говорящего / пишущего, второе – на стремление субъекта речевого воздействия к изменению имеющегося положения дел (ситуации). ²Под естественным языком понимается основное средство общения, сложившееся в условиях определенной культуры. В этом отношении более приемлемой является семиотическая трактовка языка как знаковой системы, выступающей кодом для всех членов конкретного сообщества. ³В то же время значимым является представление языка как части сознания, с одной стороны, сознания человека, индивида, с другой – сознания коллектива, сознания целого общества. ⁴Речевое воздействие возможно только в условиях взаимодействия между людьми, то есть в условиях общения.

Для изучения речевого воздействия важно представлять его типологию. Классификация этого сложного и неоднозначного явления может проходить по нескольким направлениям. Большинство научных работ посвящено эффективности воздействия и затрагивает риторический аспект изучения речевого воздействия, а также взаимодействие и взаимовлияние вербальных и невербальных компонентов коммуникации. Другим критерием, лежащим в основе различения типов воздействия, выступает характер объекта и тип коммуникации: единичный объект-индивид в межличностном общении или

группа людей в условиях «массовой» коммуникации. В межличностной коммуникации объект может быть дифференцирован по половому, возрастному, социальному и т.п. статусу. Воздействие в «массовой» коммуникации подвергается изучению в связи с исследованием языка СМИ, PR-технологий, организации пропагандистских и рекламных текстов. Критерием, разграничивающим типы воздействия, может стать сфера его проявления: торговля, реклама, политика, профессиональное или бытовое общение. Перспективным считается исследование телеологического аспекта речевого воздействия. В зависимости от целевых установок выделяют гармонизирующее и манипулятивное.

Гармонизирующее воздействие направлено на создание благоприятной атмосферы общения и оценивается как открытое выражение уважительности собеседника, признание интересов и прав собеседника. Такое воздействие проявляется прежде всего в этикетных сферах и жанрах (приветствие, комплимент, соболезнование и т.п.). Манипулятивное речевое воздействие, или манипуляция, трактуется как скрытое побуждение собеседника к выполнению действий в интересах манипулятора. Манипуляцию чаще всего связывают с достижением манипулятором корыстных целей [См. подробный анализ формирования определения *манипуляции* в кн. Е.Л. Доценко 2003]. Так, Е.Г.Борисова и Ю.К.Пирогова определяют языковое манипулирование следующим образом: «это использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении; скрытого – значит неосознаваемого адресатом» [Имплицитность 1999: 145].

Для осознания основных направлений исследования важными становятся понятия: *речевая коммуникация, интенция, интенциональность языкового значения, коммуникативная неудача, невербальные средства коммуникации, речевая (коммуникативная) ситуация, речевая компетенция, речевое поведение, речевой жанр, речевой конфликт, речевые манипуляции, речеповеденческий акт, тактики и стратегии речевого поведения, языковая компетенция, языковая личность*. Все эти понятия актуальны и для лингвистики в целом.

В определенном смысле мы берем на себя смелость сформулировать основной круг проблем еще только формирующейся области исследований.

1. Прежде всего перед лингвистикой речевого воздействия стоит задача определения целей, задач, методов и приемов исследования, выявление теоретических и прикладных (практических) аспектов исследования. Важным является приведение к общему знаменателю уже широко применяемых понятий-терминов *речевое воздействие, речевая манипуляция, коммуникативная неудача, суггестивность текста* и др.

2. Лингвистику речевого воздействия интересуют вопросы, связанные с поведением собеседников: стратегии и тактики речевого поведения, приемы, направленные на создание комфортного конструктивного общения, поведение во время устных выступлений, умение говорить экспромтом.

3. Актуальной проблематикой лингвистики речевого воздействия является «фактор адресата»: типы коммуникативности людей; языковая личность как субъект и объект речевого воздействия; особенности эмоционально-речевого контакта с адресатом; 'Мужское' и 'женское' в речевом поведении.

4. Подлежат описанию сферы и формы речевого воздействия; спор и дискуссия как формы, предполагающие речевое воздействие на адресата; искусство профессионального слушания; речевой конфликт и способы его преодоления.

5. Речевые жанры воздействия – общая зона исследований речевого воздействия и жанроведения: жанры побуждения (просьба, приказ, угроза, приглашение); анекдот и притча,

ирония и аллегория; реклама, пропагандистский и агитационный текст; проработка в тоталитарной культуре.

6. Одна из интереснейших и продуктивных тем для изучения – «этикетное общение как средство создания речевого комфорта»: этикетные жанры и формулы речевого воздействия (приветствие, прощание, комплимент); умение прекратить разговор, не обижая собеседника.

7. Невербальные средства речевого общения как объект паралингвистики в некоторой степени являются и объектом изучения лингвистики речевого воздействия: взаимодействие вербальных и невербальных средств речевой коммуникации; язык жестов и телодвижений в воздействии на собеседника.

8. Художественный текст как сфера и способ речевого воздействия является одним из интереснейших объектов, представляющих языковые уровни организации структуры художественного текста и разноуровневые средства воздействия на читателя. Особой темой лингвистики речевого воздействия становятся темы образа автора и читателя, суггестивность текста, воздействие метафоры, способы изображения речевого воздействия в художественном тексте.

9. Речевые манипуляции: понятие манипуляции в общении, как было отмечено выше, одно из перспективных направлений как психологии, так и лингвистики. Важным является изучение языковой личности манипулятора, сфер речевой манипуляции. Ожидает своих исследователей явление речевой агрессии как разновидность манипуляции.

10. Одним из критериев разделения речевого воздействия является сознательность / неосознанность речевых действий. Описание интенциональности в языке и речи связано с категорией замысла, обнаруживаемого как на лексическом, так и на грамматическом уровнях. Методологический вопрос – способы интерпретации замысла и интенциональности высказывания в целом.

Речевое воздействие попадает в сферу интересов сразу нескольких гуманитарных наук. Но в силу того, что речевое воздействие проявляется в общении, лингвистика имеет приоритет в изучении средств и условий речевого воздействия. Таким образом, лингвистика речевого воздействия – одно из

плодотворных и перспективных направлений современной науки о языке.

Литература

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. События. Факт. – М., 1988.

Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. – СПб., 1996.

Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики. – М., 2002.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Приемы языковой демагогии. Апелляция к реальности как демагогический прием // Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М., 1997. С. 461-480.

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. – М., 1993.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – СПб., 2003.

ИмPLICITность в языке и речи. – М., 1999.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997.

Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М., 1996.

Падучева Е.В. Семантические исследования. – М., 1996.

Речевое воздействие. Проблемы психолингвистики. – М., 1972

Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы. – М., 1986.

Язык как средство идеологического воздействия. – М., 1983.

©Дунев А.И., 2004

Н.А.Дьячкова
Екатеринбург

Когнитивная сложность асимметричных структур

Асимметричными являются монопредикативные полипропозитивные конструкции типа *Пуганая ворона и куста боится* (Посл.); *Выношенная шуба не греет* (Посл.)*, которые мы рассматриваем как компрессированные варианты сложноподчиненных предложений класса обусловленности (ср.: *Если шуба выношенная, то она не греет*). Определитель в присубъектной позиции является включенным предикатом.

* Ниже мы снимаем указание на то, что пример – пословица, поскольку данный факт очевиден.

Включенный предикат может содержать разный объем информации о presupпозиции (ретро-ситуации). Это информация как о модусной стороне высказывания, так и о диктумной. В роли включенного предиката выступает отглагольное / неотглагольное прилагательное или причастие.

В данной статье речь пойдет об информации сферы диктума. Под диктумом мы понимаем «сообщение, референтом которого является некоторое положение дел в той реальности, которая отражается в речи» [Черемисина, Колосова 1987: 3].

В предложениях *Пуганая ворона и куста боится; Подстреленный заяц недалеко бежит; Выношенная шуба не греет* включенный предикат называет признак, который является условием или причиной того свойства, которым обладает субъект / предмет суждения и оценки и которое репрезентировано основным предикатом. Ср.: *Шуба не греет, потому что выношенная; Ворона даже куста боится, потому что пуганая; Заяц недалеко бежит, потому что подстреленный*. В роли таких субъектов суждения / оценки выступают существительные *ворона, заяц, шуба*. В терминах, описывающих актантно-предикатную структуру предложения, названные существительные могут быть определены как дескриптивы, ибо дескриптив – это такая семантическая функция аргумента, которая обозначает носителя свойства, выражаемого предикатом [см. об этом: Богданов 1977].

Отглагольные прилагательные и причастия могут быть заменены неотглагольными прилагательными-синонимами. Ср. возможность существования пословиц и поговорок в таких вариантах: *Старая шуба не греет; Трусливая ворона и куста боится; Хромой заяц недалеко бежит*. Однако в таком случае объем информации о ретро-ситуации уменьшается, что снижает уровень мотивации, ослабляет степень достоверности, на которую претендует всякая сентенция.

В силу полиситуативности глагольной семантики [см. об этом: Лебедева 1999: 35] отглагольные прилагательные содержат информацию о том, что происходило с предметом суждения (дескриптивом) за пределами лексикализованной ситуации – в ретро-ситуации.

Авторы коммуникативной грамматики русского языка считают, что версии причинности можно разделить на два класса: перспективные и ретроспективные [См. об этом: Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 267]. В описываемом языковом материале версия причинности, безусловно, является ретроспективной. В пресуппозиции дескриптив выполнял функцию пациенса, который существовал до наступления ситуации, затем подвергся целенаправленному или нецеленаправленному воздействию со стороны агенса и претерпел изменения: *ворону* пугали – испугали – теперь она *трусливая*, в *зайца* стреляли – его подстрелили – теперь он *раненый, хромой*; *шубу* носили – выносили – теперь она *старая*. В пресуппозиции находится не только пациенс (в приведенных примерах соответственно: *ворона, заяц, шуба*), но и другие фациенты ситуации. Например, агенс, который мог выполнять частные ролевые функции: быть а) собственно агенсом, т.е. лицом, активно осуществлявшим ситуацию (*охотник* в предложении *Подстреленный заяц недалеко бежит*); б) каузатором – тем, кто каузирует ситуацию (*человек / ветер / буря / другие птицы* в предложении *Пуганая ворона и куста боится*); в) посессором – тем, кто обладает чем-либо (*субъект*, у которого есть *шуба*, в предложении *Выношенная шуба не греет*).

Фациенты могут находиться на дальнем или ближнем плане репрезентируемой ситуации. Идею о разграничении фациентов двух планов высказывает Н. Б. Лебедева. Она считает, что фациенты ближнего плана непосредственно включены в лексикализованную ситуацию, а фациенты дальнего плана «как бы стоят над нею, обрамляют ее или являются атрибутами других фациентов» [Лебедева 1999: 90]. К числу таковых относятся, в частности, фациенты «наблюдатель», «субъект оценки», «целевой компонент», «польза», «ущерб», «заинтересованность» [Там же]. Во всех ситуациях, репрезентированных приведенными примерами, имеет место фациент дальнего плана, который является атрибутом фациента пациенс, это «ущерб». Ср.: *шубу выносили, зайца ранили, ворону испугали*. Можно предположить, что присутствие фациента «ущерб» в ситуации, репрезентированной страдательным причастием или омонимичным прилагательным, обусловлено

семантикой страдательного залога: действие обращено на тот предмет, который назван определяемым существительным. Однако не всегда такое обращенное на предмет действие влечет за собой ущерб. Можно предположить также, что в ряде ситуаций фациентом дальнего плана может быть «польза». Например: *молотый* или *смолотый кофе*, *накрахмаленная рубашка*, однако для рассматриваемых примеров это не характерно: предложение отображает типичный взгляд человека на мир. Особенность же мировосприятия состоит в том, что человек острее чувствуем отрицательные состояния, чем положительные.

Еще более сложная система фациентов пресуппозиции представлена включенным предикатом в предложении *Поддельное золото темнеет*. Помимо обычных агенса и пациенса, здесь присутствуют фациенты дальнего плана: «орудие», «средство», «бенефициенс», «результатив» и, возможно, «коагенс». Известно, что поддельное золото – это некий металл, по цвету напоминающий золото. Пресуппозиция лексикализованной ситуации такова: Кто-то (агенс) из чего-то (средство) с помощью чего-то (орудие) и, возможно, кого-то (коагенс) сделал то (результатив), что похоже на золото для чьей-то (бенефициенса) выгоды. В рамках лексикализованной ситуации результатив выполняет функцию дескриптива. См.: *Поддельное золото темнеет*.

Во всех приведенных примерах основной предикат содержит оценочный компонент. См.: *боится*, *не греет*, *недалеко бежит*, *темнеет* – во всех предикатах есть сема «плохо». Оценка мотивирована информацией о событии, имевшем место в ретроситуации.

В роли включенного предиката часто выступает отглагольное прилагательное или причастие с приставкой «не». Например: *Незаписанная мысль – потерянный клад* (Менделеев); *Незванный гость хуже татарина*; *Невспаханный пласт урожая не даст*. В пресуппозиции – несовершенное действие. Отсутствие действия так же характеризует субъект / предмет суждения с определенной стороны, как и его наличие, и эта характеристика так же прогнозирует наличие у дескриптива определенного качества / свойства, как и в случаях, рассмотренных выше.

Таким образом, включенный предикат содержит следующую информацию: за рамками лексикализованной ситуации предмет / субъект суждения (он же пациент) подвергся воздействию некоей внешней силы (или, напротив, не подвергся, а мог или должен был), в результате чего он (теперь уже дескриптив) приобрел или утратил некое свойство / качество, которое каузирует наличие у него другого свойства / качества.

Очевидно, что рассматриваемые асимметричные структуры являются сложными когнитивно-пропозиционными структурами – они репрезентируют целый комплекс ситуаций, для именования которого уместно воспользоваться термином «ситуатема» [См. об этом: Лебедева 1999: 52]. При восприятии когнитивно-сложные конструкции требуют додумывания и развертки [См. об этом: Кубрякова 1998: 48].

Рассмотрим ситуатемы асимметричных конструкций с включенным предикатом.

1. *Выношенная шуба не греет.*

Ситуатема: Сх* носил О, поэтому С1 (О) приобрел / утратил А1, поэтому А1С1 есть А2, где Сх агент ретро-ситуации, О –пациент ретро-ситуации, С1-дескриптив лексикализованной ситуации (бывший О в ретро-ситуации), А1 –признак, который приобрел / утратил С1 в результате воздействия / не воздействия на него агента Сх, А2 –признак, которым обладает С1 (неспособность греть) в силу наличия у него свойства / качества А1.

В рамку заключена лексикализованная ситуация. В ретро-ситуации 2 пациента: агент-посессор и пациент и 3 пропозиции: 1) у человека есть шуба; 2) человек носил шубу; 3) человек причинил ущерб шубе. Характер пропозиций таков: 1-ая – логическая, она является сообщением о некоторых отношениях, в данном случае об «отношениях» между человеком и шубой: человек имеет шубу; 2- ая и 3-ья – событийные – они «портретируют действительность» [Шмелева 1994: 10], сообщают о событиях, действиях, имевших место в

* Здесь и далее С – субъект, О – объект, А- атрибут, 1,2...номер субъекта, атрибута и т.п., х - некий

действительности: носил, причинил ущерб. В лексикализованной ситуации 1 фациент: пациенс-дескриптив и 3 пропозиции: 1) шуба старая (выношенная); 2) шуба не способна греть; 3) если...то (Если шуба выношенная, то она не греет). Все три пропозиции в данном случае являются логическими, поскольку «представляют результат умственных операций и сообщают о некоторых признаках, свойствах» предмета [Шмелева 1994: 10].

Логические пропозиции (ЛП) могут быть двух типов: самостоятельные (ЛП 1) и включенные (ЛП 2) [См. об этом: Всеволодова 2000: 124]. Самостоятельные выражают суждение, оценку или отношения между участниками ситуации, включенные - устанавливают логические связи между другими пропозициями. Это могут быть отношения а) обусловленности и б) классификационные.

В рассматриваемой ситуатеме 1-ая пропозиция – ЛП 1, самостоятельная (шуба является выношенной, старой); 2 - ая пропозиция – также ЛП 1, самостоятельная (шуба не способна греть); 3-ья пропозиция – ЛП 2, включенная, она устанавливает отношения обусловленности между 1-ой и 2 -ой пропозициями (*Если шуба выношенная, то она не способна греть*).

2. *Неверующий человек создает себе кумира* (Искандер).

Ситуатема: **Сх не верит в С1, Сх не знает О1, Сх не соблюдает О1, поэтому Сх есть А1(то есть С2); С2 создает для С2 О2, С2 верит в О2, поэтому А1Сх есть А2**, где Сх – человек, С1 – Бог, О1 – заповеди, А1 – неверующий, С2 – атеист, О2 – кумир, А2 – верующий в О2. В рамке – лексикализованная ситуация. Вывод «Неверующий есть верующий (А1 есть А2)» может показаться парадоксальным, однако это не так. Ср. с популярными максимами: «Неверующий – это тот, кто верит, что он не верит»; «Все мы верующие, только одни из нас верят, что Бог есть, а другие – что его нет».

Часть событий данной ситуатемы находится за пределами лексикализованной ситуации. В ретро-ситуации находятся 3 фациента: агенс (человек), делибератив (Бог), перцептив (заповеди) и 3 пропозиции: 1) не верит в Бога; 2) не знает (не желает знать) заповедей; 3) не соблюдает заповедей. В рамках лексикализованной ситуации 2 фациента: агенс-дескриптив и

результатив-делибератив, а также 4 пропозиции: 1) человек неверующий; 2) человек создает кумира; 3) человек верит в кумира; 4) если ... то (Если человек неверующий, то он создает себе кумира).

Неотглагольные прилагательные так же, как и отглагольные прилагательные и причастия, содержат определенный объем информации о ретро-ситуации, то есть соотносятся с полисобытийной, полиситуативной структурой. Однако объем информации о ретро-ситуации у разных видов прилагательных разный.

Рациональное прилагательное называют «признак, который был установлен в результате осмысления отношения субъекта к предмету» [См. об этом: Шрамм 1979: 33]. Например: **Сильные** люди просты (Л.Толстой). Чтобы субъект мог осмыслить отношение оно должно сложиться, а это возможно только в процессе наблюдения за предметом и, возможно, взаимодействия с ним. В рамках лексикализованной ситуации оказывается результат осмысления, а процесс наблюдения за предметом, взаимодействия с ним и осмысления отношения к нему остается за пределами лексикализованной ситуации. Объем информации о ретро-ситуации, репрезентированной прилагательным качественным рациональным не только меньше соответствующего объема отглагольного прилагательного, но и принципиально другой. Во втором случае мы имеем информацию реального плана, в первом - информацию ментального плана. Последняя может быть актуализирована с помощью словаря или с опорой на фоновые знания. Рассмотрим ситуации:

1. *Умные речи приятно слушать.* Умные – такие, которые богаты мыслями, содержательны, значит, они порождены умом, значит, их произносит образованный, рассудительный, возможно, ученый, одним словом, *умный человек*.

2. *Плохая снасть отдохнуть не даст.* Плохая – такая, которая обладает качествами или свойствами ниже какого-то среднего уровня. Плохая – это, возможно, старая, ржавая, дырявая, рваная и т.п. снасть. С такой снастью рыбу / птицу не поймашь, только намучаешься, потому что такую снасть нужно постоянно чинить, ремонтировать.

3. *Смелый воин тысячи водит.* Смелый – такой, из поведения и поступков которого ясно, что он не поддается чувству страха, не боится опасностей, храбро сражается; он сильный, ловкий, как ...Илья Муромец, Александр Невский, Суворов, герой сказки, боевика и т.п.

При развертке конструкций с включенным предикатом-отглагольным прилагательным / причастием воспринимающий предложение субъект идет от информации о событиях к их оценке, а в случае с рациональным прилагательным – наоборот - от оценки к представлению о событиях, поступках, поведении и т.д., послужившими основанием для такой оценки. Ср.: от событий – к оценке: выношенная шуба (шубу долго носили) → старая шуба → плохая шуба; незванный гость (его не звали, а он пришел) → плохой гость; от оценки - к событиям: смелый воин (т.е. хороший + еще какой-то) → воюет без страха, не боится опасностей; умные речи (т.е. хорошие + еще какие-то) → их произносит умный человек, т.е. такой, который много знает, в его речах много мыслей и т.д.

Прилагательные эмпирические «называют признак, воспринимаемый тем или иным органом чувств» [См. об этом: Шрамм 1979: 33]. Например: *Острый* топор быстро тупится. В пресуппозиции ситуатемы, репрезентированной эмпирическим прилагательным, содержится информация о том, что происходило с данным предметом, прежде чем он стал таким. Это событийная информация реального плана. Острый – такой, который хорошо наточили. Рассмотрим ситуатемы.

1. *Ржавое железо не блестит.* Ржавое - а) покрыто красно-бурым налетом – это информация ближней периферии; б) налет возник в результате окисления – это информация отдаленной периферии; в) под воздействием влаги и воздуха – это информация дальней периферии.

2. *Ближняя собака скорее укусит.* Ближняя – а) живет неподалеку – это информация ближней периферии, б) ближе, чем живут другие собаки – это информация дальней периферии.

3. *Сырая вода вызывает заболевания.* Сырая - ее не вскипятили, т.е. не обеззаразили путем нагревания до 100 градусов.

При развертке подобных суждений процесс когниции направлен не от информации о реальных событиях к их оценке и не от оценки к представлению о событиях, как в случаях, описанных выше, а от объективной информации общего характера (результат, следствие) к объективной же информации частного характера (основание, причина).

Относительные прилагательные содержат информацию о той субстанции, через отношение к которой называется признак. Например, *На **вдовый** двор хоть щепку брось – сгодится*. В наших примерах такой «субстанцией» является, как правило, одушевленный субъект. См.: *Царские глаза далеко видят; На барскую расправу не найдешь управу; Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет*. В силу оценочного характера контекстов, в которые включены данные относительные прилагательные, а также обобщенного характера семантики этих контекстов, относительное прилагательное приобретает достаточно ярко выраженный оценочный компонент. Информация об одушевленном субъекте, через отношение к которому мыслится данный признак, остается за рамками лексикализованной ситуации. Рассмотрим ситуатемы.

1. *На вдовый двор хоть щепку брось – сгодится*. Додумывание и развертка: У женщины умер муж, она вдовствует; хозяйство ведет в одиночку; женщине без мужской помощи трудно вести хозяйство; ее двор не ухожен, запущен, беден. В центре лексикализованной ситуации оказывается оценочный компонент значения, вытекающий из пресуппозиции. Вдовый двор → двор без мужчины → бедный двор, *плохой*. Благодаря оценке, присутствующей во включенном предикате, мотивацию получает основной предикат. Ср.: Если двор *запущен*, то ему пригодится *даже самая малая помощь (даже щепка)*.

Представим объем ретроспективной семантики в случае с относительным прилагательным:

2. *Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет*. В этой ситуатеме включенный предикат содержит сведения и о субъекте действия, и оценочный компонент (материнская забота - это самая лучшая забота, ср. с информацией наших фоновых

знаний, заключенных в поговорке *Бог до людей, что мать до детей*).

В процессе развертки данных когнитивно-сложных структур процесс когниции направлен от представления о субъекте, через отношение к которому мыслится признак, к представлению об оценке объекта наблюдения и характеристики (дескриптива), характеризуемого данным определителем.

Таким образом, включенный предикат вносит в структуру ситуатемы информацию о ретро-ситуации. При развертке такой синтаксической конструкции воспринимающий субъект получает возможность осознать мотивацию того положения дел, которое репрезентируется основным предикатом.

Литература

Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. - Л., 1977.

Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. - М., 2000.

Золотова Г.А., Ониненко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. - М., 1998.

Кубрякова Е.С. Когнитивные аспекты процессов деривации // Фатическое поле языка. - Пермь, 1998.

Лебедева Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики. - Томск, 1999.

Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. - Новосибирск, 1987.

Шмелева Т.В. Семантический синтаксис. - Красноярск. 1994.

Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных: (На материале русского языка). Л., 1979.

©Дьячкова Н.А., 2004

**Н.И.Коновалова
Екатеринбург**

Мотивационные контексты как показания языкового сознания диалектоносителей

Современный этап развития лингвистики характеризуется чрезвычайным многообразием исследовательских парадигм

(психолингвистической, системно-функциональной, этнолингвистической, когнитивной и др.), что объясняет и многоаспектность подходов к исследованию языковых объектов.

В качестве ведущего принципа исследования в данной работе избран ономаσιологический анализ, который дает возможность подходить к интерпретации лексикографически зафиксированных показаний языкового сознания носителей среднеуральских говоров на основе преломления в языке онтологического базиса (то есть от структуры мышления – к структуре языкового выражения акта познания).

Такой аспект обусловлен особенностями рассмотрения языка как специфического «поля личностной проекции, в котором субъект, с одной стороны, действует в соответствии с заданными знаковой системой (социально закрепленными) стереотипами восприятия мира, с другой стороны – проявляет «творческую самодеятельность», привнося в понимание знаковых единиц свой когнитивный и (другой) опыт и действуя в соответствии с собственными языковыми и ментальными предпочтениями» [Гридина, Пятинин 2003: 5].

Ключевым в психолингвистических штудиях, посвященных изучению проблем языкового сознания, является феномен языковой рефлексии. В лингвистической литературе последних лет, она рассматривается как доминанта языковой личности, которая «проявляется в осознании языка, а также в отражении личного отношения к языковым фактам, в их характеристике и оценке» [Лютикова 2000: 127]; как способ осознания «адекватности претворения мысли в слово» [Ростова 2000: 9]; как «направленность языкового сознания на познание самого себя» [Вепрева 2002: 76] и т.п.

В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все виды языковой рефлексии, отмечаемой в речи носителей современных говоров, поэтому остановимся подробнее на вербализации рефлексии диалектоносителей над мотивом наименования явлений, то есть на мотивационной рефлексии. В качестве материала используются контексты, приведенные в иллюстративной части словарных дефиниций «Словаря русских

говоров Среднего Урала» [далее СРГСУ] и «Словаря народных названий растений Урала» Н.И. Коноваловой [далее КС].

Мотивационную рефлексию, являющуюся частной разновидностью языковой рефлексии, понимаем не только как «направленность сознания субъекта на соотношение плана содержания и плана выражения единиц языка, поиск объяснимой связи между ними» [см.: Гридина 2004: 59], но и как представленность в речи стереотипно закрепленных в сознании субъекта мотивационных связей языковых единиц, осознаваемых говорящим как семантически и/или формально связанные. Инструментом установления такой связи является внутренняя форма слова, поскольку заключенная в ней информация об обозначаемом позволяет при опоре на разного рода внеязыковые и лексические ассоциации выявить мотивационную базу наименования.

Поясним основания такого расширительного понимания явления мотивационной рефлексии: синхронная мотивированность слова может стимулировать не только направленную, но и ненаправленную (спонтанную) мотивационную рефлексию, которая проявляется в автоматическом контекстуальном сближении мотивирующей и мотивированной единиц. Спонтанная рефлексия более типична для ситуаций естественного общения, рефлексивная работа сознания в этом случае проявляется в самом отборе «мотивационной связки» языковых единиц из нескольких равновозможных устойчивых (стереотипных) сочетаний. Направленная рефлексия чаще отмечается в искусственно смоделированных ситуациях пояснения того или иного неизвестного, непонятного одному из участников диалога слова или выражения, в том числе диалектного [см.: Блинова 1984, 1989; Вепрева 2002; Гридина 1996].

Языковое сознание диалектоносителя служит источником выявления различных типов мотивированности слова³:

1. Семантическая мотивированность – соотнесение метафорически мотивированного слова с мотиватором. Оформляется различными компаративными конструкциями.

³ Соотносительные типы мотивированности см.: [Блинова 1984, 1989].

Например: *арбузики* (травянистое растение) – *У ево плоды, как миниатюрны арбузики, зелены, с белым полосками* [КС: 20]; *Белокудренник* – *Это травка тока, как зацветет, будьто кудряшки белы роспускат* [КС: 29]; *Ёлочник* – *Он потому и елочник, что как маленька елка, узенька така, игрушечна* [КС: 81]. Данный тип характерен в основном для направленной рефлексии.

2. Лексико-словообразовательная мотивированность – соотнесение лексических единиц одного словообразовательного гнезда. Выявляется через конкретизатор, введенный в пояснительную часть контекста при направленной рефлексии или выступающий как тавтологический контекстуальный «партнер» при спонтанной рефлексии: *Багун* – *Ране балота баганом называли, а он там растет, потому и багульник* [КС: 24]; *Омморозь* – *омморозился значит* [СРГСУ т.3: 47]; *Межовка* – *Межовки по межам растут* [КС: 135]; *Зароды ставят, перевичивают вицами березовыми, липовыми, чтобы не раздуло сено-то* [СРГСУ т.4:12].

3. Структурная мотивированность – соотнесение одноструктурных единиц. Выявляется через одноструктурное слово с тем же словообразовательным формантом: *Клубника* – *така же ягода, что и земляника, токо чудок повыше будет и ягодки крупней, слаише* (ср. суффикс –ик со словообразовательным значением ‘сорт ягод’) – [КС: 102]; *Горбуша на ратоище насажена. Эта паука, косъёишио ли ратоишио* (ср. суффикс –ищ со словообразовательным значением ‘предмет, орудие действия’ [СРГСУ т.5: 69].

Лексико-словообразовательная и структурная мотивированность могут выступать в комплексе: *Свинина* – *щетина из свиньи, из которой щеть делали* [СРГСУ т.5: 120]. В данном мотивационном контексте представлены и одноструктурные слова *свинина* – *щетина*, и лексические мотиваторы *свинина* – *свинья*, *щетина* – *щеть*.

4. Лексико-синтаксическая мотивированность – соотнесение мотивированной лексемы с мотивирующим словосочетанием или наоборот: *Пескогон* – *Пескогон, потому что песок гонит, шлаки* [КС: 155]. Выявляется через регулярные вариантные ряды однословных и аналитических наименований одного

обозначаемого. Ср.: *трава от двенадцати родимцев – родимая, родимошина. Родимошина трава от родимцу, детей поят, как сполохнутся дак* [КС: 178].

5. Ассоциативная мотивированность – соотнесение синонимов или симиларов (психологических синонимов, системно не закрепленных в языке), а также ассоциатов одной тематической группы: *Ароматник – он одеколоном пахнет, в сенки повешать хорошо* [КС: 21]; *Дедушко вон у меня совсем обезглазел, нищё не видит* [СРГСУ т.3: 18]; *Не увернуться тебе от облобызы. Только бы и целовался облобыза такой* [СРГСУ т.3: 22].

Комплексная методика анализа мотивационных контекстов позволяет выявить показания языкового сознания диалектоносителей и определить особенности моделирования фрагментов индивидуальной и региональной языковой картины мира. Обозначим основные этапы анализа:

1. Выявить актуальные компоненты значения единицы, являющейся объектом рефлексии.

2. Определить, к какому типу контекстов относится данное высказывание (поясняющий, уточняющий, совмещающий, отождествляющий, сопоставляющий⁴).

3. Установить степень мотивированности слова для диалектоносителя (степень отражения мотивированности слова в контексте): полностью мотивированное, частично мотивированное, немотивированное.

4. Указать возможные отклонения от исходной мотивации (неединственная мотивация, ремотивация, ложноэтимологическая мотивация и т.п.).

5. Выявить мотиваторы для единиц, подвергшихся рефлексии, и определить характер мотивации (семантическая, лексико-словообразовательная, структурная, лексико-синтаксическая, ассоциативная).

6. Определить принцип номинации, его универсальность/специфичность для рассматриваемого фрагмента лексико-семантической системы.

Приведем примеры анализа мотивационных контекстов.

⁴ Типы контекстов см.: [Коновалова 2001: 117-119].

Белозор так зовут, что ко глазам приложишь, воспаление снимат, узоришь всё, улучшает зрение; ево от завалов в печёнке, от нутряного кровотечения, от тошноты принимают; цветочки красивые, беленьки с розова прожилочки таки [КС: 28]

Актуальные компоненты значения единицы, являющейся объектом рефлексии, - цвет и воздействие растения на органы зрения.

В двух контекстах эксплицируются оба мотивировочных признака: информанты стремятся объяснить, почему растение названо именно так. Типы контекста: первый и третий – поясняющие, второй – не мотивационный, не ориентированный на мотив наименования. Толкуются оба корня сложного слова: - *бел-* цветы *белого цвета* с розовыми прожилочками; - *зор-* «*узоришь всё*», снимает воспаление, улучшает *зрение*. В сознании диалектоносителя слово представлено как полностью мотивированное.

В контексте отмечено соотнесение однокоренных лексических единиц (*бел – беленьки; узоришь – зрение*) и ассоциаты одной тематической группы (*глаза - узоришь*), т.е. представлена лексико-словообразовательная и ассоциативная мотивированность.

Эксплицированы два принципа номинации: по цвету части растения и по воздействию растения на организм человека. Оба принципа номинации являются специфичными, характерными для семантической общности «народные названия растений».

Гусиные лапки. Ету травку гуси хорошо едят, она мягонька, мелконька; у ей лиски на-под вид гусиных лапок, цветки желтеньки, как мелки ромашечки, только листиков мало; гусиные лапки от поносу пьют [КС: 68].

Актуальные компоненты значения: функция (корм для гусей) и сходство части растения по форме с лапками гуся.

Мотивационными являются первый и второй контексты, в которых содержатся попытки объяснить мотив наименования. Тип обоих контекстов поясняющий. Третий контекст – не мотивационный.

Название является для диалектоносителей полностью мотивированным. Первая часть номинативного словосочетания

мотивируется лексемой *гусь*, вторая часть - сходством формы листиков растения с частью тела птицы. Комплексный тип мотивированности: семантический (соотносятся метафорически мотивированное наименование с мотиватором, вводимым компаративом «*на–под вид гусиных лапок*») и лексико-словообразовательный (соотносятся лексические единицы одного словообразовательного гнезда *гусиные – гуси*).

Контексты свидетельствуют о возможности неединственной мотивации названия. Актуализированы два принципа номинации: по особенностям внешнего вида растения (отмечается сходство части растения с частью тела птицы) и по характеру использования растения (как корм для гусей). Информативный контекст. Оба принципа номинации можно квалифицировать как частные разновидности универсальных для языковой системы принципов номинации по сходству одного предмета с другим (наиболее продуктивный для метафорического способа наименования принцип) и по функции обозначаемого.

Таким образом, анализ мотивационных контекстов показывает, что восприятие и декодирование внутренней формы слова есть именно осмысление мотива, лежащего в основе наименования, и установление синхронно значимых ассоциаций, в ряде случаев основанных на интуитивно ощущаемых связях с первоначальным мотивом номинации.

Источники материала

КС – Коновалова Н.И. Словарь народных названий растений Урала. – Екатеринбург, 2000.

СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 1-7. – Свердловск, 1964-1988.

Литература

Блинова О.И. Явление мотивации слов: лексикологический аспект. – Томск, 1984.

Блинова О.И. Языковое сознание и вопросы мотивации // *Язык и личность*. – М., 1989.

Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – Екатеринбург, 2002.

Гридина Т.А. Ассоциативный потенциал слова и его реализация в речи (феномен языковой игры). Дисс. д-ра филол.

наук. – М., 1996.

Гридина Т.А. Мотивационная рефлексия как вид метаязыковой деятельности ребенка // Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы международной конференции. – СПб., 2004.

Гридина Т.А., Пятинин А.Э. Проективная активность личности в речевой деятельности // Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. Труды Уральского психолингвистического общества. Вып. 1. – Екатеринбург, 2003.

Коновалова Н.И. Народная фитонимия как фрагмент языковой картины мира. – Екатеринбург, 2001.

Лютикова В.Д. Языковая личность: идиолект и диалект. Дисс. д-ра филол. наук. – Екатеринбург, 2000.

Ростова А.Н. Показания языкового сознания носителей диалекта как источник лексикологического исследования. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Томск, 1983.

© Коновалова Н.И., 2004

М.Л.Кусова
Екатеринбург

Когнитивные определяющие речевого развития ребенка в возрасте от 3 до 5 лет

Каждый возрастной промежуток имеет особое значение в речевом развитии дошкольника, однако возраст от трех до пяти лет действительно особенно значим в плане речевого развития: именно в этом возрасте ребенок овладевает системой родного языка. Основные речевые достижения ребенка к пяти годам заключаются в том, что его речь становится понятной всем окружающим, а не только близким к нему людям, речь приобретает контекстный характер, ребенок умеет разговаривать с разными людьми, отвечает на заданные вопросы, может сам задавать вопросы. К пяти годам ребенок овладевает фонетической системой родного языка, основным набором грамматических форм и синтаксических конструкций. Значительно увеличивается словарь дошкольника, который в три года составляет порядка полутора тысяч слов, к четырем годам возрастает до 1900, а в пять лет включает 2000-2500 слов. Возраст от трех до пяти лет является сенситивным в речевом развитии ребенка.

Основу речевого развития дошкольника составляют познавательные процессы, информация об окружающей действительности, которую получает ребенок, и способы получения этой информации. Интерес к познанию окружающего мира является основным фактором в развитии словаря дошкольника и формировании грамматического строя детской речи. Круг познания дошкольника и способы познания находят прямое отражение в том, какие фрагменты языковой картины мира репрезентируются в его лексиконе.

В три года основным способом познания мира для ребенка является сенсорное обследование: информацию о мире ребенок получает, «попробовав этот мир на зубок»: обозначаемое словом явление действительности ему необходимо увидеть, потрогать, послушать – приобретенная таким образом информация определяет значение слова (не случайно, став взрослыми, некоторые люди вспоминают, что сами слова

обладали для них определенными сенсорными признаками, были мягкими, колючими, пушистыми). Следовательно, в три года значение слова у ребенка сенсорно обусловлено, а круг лексических единиц ограничен прежде всего их номинативной связью с такими предметами, которые доступны познанию ребенка: это люди и предметы, которые его окружают, простейшие бытовые действия, в выполнение которых включается сам ребенок или которые ребенок может наблюдать, признаки предметов, доступные для сенсорного обследования (сладкий, горький, колючий; даже другого ребенка при встрече ребенок пытается потрогать). Познавая окружающую действительность, ребенок познает и самого себя, усваивая лексику, называющую части тела, дифференцируя себя в социуме с использованием местоимения *Я* и соответствующих глагольных форм. Следует заметить, что в процессе познания у ребенка уже появляется понимание того, что не все доступно чувственному опыту, ребенок начинает опираться на опыт взрослого и принимать его оценки окружающей действительности (*Кошка плохая - она царапается*; при этом ребенок совершенно не учитывает, что подобное поведение кошки провоцируется его собственным поведением, и, возможно, кошка его и не царапала), хотя и непоследовательно. Невключенность взрослых оценок в процесс познания действительности определяет обобщенный характер оценок у ребенка: плохой – хороший. С данными оценками ребенок может соотнести множество явлений окружающего его мира, но степень обобщенности этих оценок определяется не уровнем развития логического мышления ребенка, а отсутствием в сознании ребенка того конкретного содержания, которое могло бы быть включено в семему: Другой ребенок упал и идет грязный – он плохой; У книжки грустный конец – она плохая; как плохое определяется все, что не нравится ребенку.

То, что речь в данном случае идет именно о семеме, также определяется связью речевого развития и процесса познания мира дошкольником. Познанное явление дошкольник соотносит со словом, слово становится манифестатором этого явления, при этом всякое иное явление манифестируется другой лексической единицей. Подобное восприятие лексической

единицы как знака явления окружающей действительности позволяет дифференцированно представить эту действительность (отличить рубашку от платья, бант от пояса, стакан от кружки), при этом связь между явлениями действительности, отраженная во внутрисловной парадигме, довольно долго остается для ребенка недоступной.

Практически в возрасте до пяти лет дошкольники воспринимают лишь основное значение многозначного слова; сталкиваясь с ситуацией употребления слова в неосновном переносном значении, они соотносят переносное значение слова с прямым: если ребенка назвать зайчиком, он сложит ручки подобно заячьим лапам и попрыгает, лисичкой – имитирует помахивание хвостиком. Ограничение в усвоении многозначного слова рамками одной семемы иногда приводит к нейтрализации дифференциальных сем в структуре семемы: *У меня туфелька сломалась*.

В значении слова *сломалась* нейтрализован семантический компонент, связанный с указанием на причину изменения состояния: *разделиться на части, портиться, измениться*; актуализируется семантический компонент *прийти в негодность*.

Изменение набора сем в семеме может наблюдаться и в лексических единицах, имеющих одно значение: *У тебя мама где работает? – У меня мама школьница*. Здесь утрачивается семантический компонент, связанный с указанием на определенную возрастную группу, актуализирован компонент, связанный с типичными для школьниками способами деятельности (*пишет, читает, занимается*).

Лексическая языковая картина мира в три года ограничена интерьером помещения, игрушками, одеждой, посудой, некоторыми явлениями неживой природы (*дождь, снег, гроза, мороз*), некоторыми явлениями живой природы (*цветок, травка, дерево, медведь, собачка, утка*) и ближайшими явлениями внешнего мира, находящегося за пределами дома (*машина, самолет, трамвай*).

К четырем годам способы познания действительности у ребенка усложняются, наряду с непосредственным сенсорным опытом источником сведений становится специально

организованное наблюдение (рвется или не рвется, гнется или не гнется, состоит предмет из частей или представляет собой единое целое), кстати, в большинстве случаев организуемое самим ребенком, нередко вопреки желанию взрослого. Исследуя явления действительности, ребенок получает все новые сведения (гладкий, шероховатый, прозрачный, яркий, темный), взрослый помогает ребенку обозначить узнанное словом. В этом возрасте меняется соотношение собственного сенсорного опыта ребенка и социального опыта как факторов, определяющих значение слова: если в три года семантика слова определяется сенсорным опытом ребенка, слово использовалось лишь как знак для обозначения результатов этого опыта, то к четырем годам соотношение собственного сенсорного опыта и предлагаемого взрослым социального опыта в определении значения слова примерно одинаково, более того, для понимания значения слова порой достаточно объяснения взрослого.

На пятом году жизни семантика слова в языковом сознании ребенка обусловлена как доминантой социальным опытом. Возможно, с этим связано и затухание к пяти годам детского словотворчества. В этот период в словаре ребенка появляются новые единицы, связанные с познанием ребенком социума: названия профессий людей, которые окружают ребенка, профессиональных действий и качеств, названия предметов и явлений, которые ребенок наблюдает на улице, признаков предметов, позволяющих отличить их по форме, материалу, размеру. При этом лексических единиц, идентифицирующих самого ребенка в социуме, по-прежнему немного: это местоимение *Я*, усвоенное к завершению раннего возраста, собственное имя, название по характеру родственных отношений (сын, дочка, внук, внучка). Хочется заметить, что, по наблюдению автора [М.К.], в качестве дифференцирующего наименования по родственным отношениям современные дошкольники чаще называют внук, внучка, чем соответствующие сын, дочь.

Также в этом возрасте ребенок начинает понимать лексические единицы, лишенные конкретно-предметной семантики, значение которых определяется как значение родовое: мебель, одежда, продукты, посуда, обувь и т.п. До

этого временного отрезка в случае использования взрослым лексических единиц с подобной семантикой дети пытаются соотнести их с конкретным предметом в действительности. В качестве примера можно привести ситуацию бытового общения, когда четырехлетний ребенок, услышав от взрослого, что тот купил продукты, вынимает продукты из пакета, а затем задает вопрос: *А где продукты?* – очевидно, не обнаружив предмета, который бы он мог соотнести с данным наименованием.

В речи детей появляются также слова с отвлеченным значением: доброта, смелость, трусость. Появление подобных слов объясняется актуальностью для дошкольника оценки окружающего мира, прежде всего окружающего социума, но в большинстве своем подобные лексические единицы принадлежат пассивному словарю дошкольника, в активном словоупотреблении таких единиц нет даже у старшего дошкольника.

Говоря, что словарь дошкольника – это его лексическая картина мира, что семантика слова определяется процессом познания, мы также должны отметить, что на данном возрастном этапе в речи ребенка есть лексические единицы, значения которых он не знает. Сегодня это особенно заметно при воспроизведении детьми рекламных роликов, содержание которых для ребенка не актуально. Таким образом, хотя и очень редко, но слово может быть для дошкольника этого возраста просто материалом для артикуляционных упражнений.

На пятом году жизни изменяются факторы, определяющие для ребенка семантику слова. Для усвоения слова как значимой единицы ребенку уже не всегда нужен собственный чувственный опыт – он способен принять опыт социальный, значение слова определяется не только его собственными знаниями, но и знаниями социума. Поэтому, объясняя ребенку новое для него слово, можно использовать толкование, подбор слов близких по значению или противоположных, можно опираться на родовидовые отношения. Использование подобных методов возможно и потому, что в языковом сознании ребенка этого возраста слово «встраивается» в определенный участок лексической системы языка, лексическая единица не существует изолированно, связь лексических единиц в сознании

ребенка является отражением связей явлений в реальной действительности, установленных и наблюдаемых ребенком.

Когнитивные процессы в сознании ребенка определяют не только процесс формирования словаря, но и процесс овладения грамматическим строем речи. В овладении моделями создания нового слова, грамматическими формами родного языка и синтаксическими конструкциями познавательные процессы порой видятся даже более ярко, чем при формировании словаря. Именно в процессе создания нового слова проявляется уровень развития логического мышления дошкольника, его умение вывести правило формообразования, модель словообразования, модель предложения из множества частных примеров. По аналогии, правилу, ребенок создает формы слов и слова: *клювает* (от *клюв*, ср. *бинт* – *бинтует*, *клюв* – *клювает*), *дырокан* (о таракане), *лампочник* (об электрике) и т.д. И хотя порой высказывается точка зрения, что детское словотворчество «призвано» компенсировать недостаток единиц в словаре ребенка, думается, что это обязательный, необходимый этап его развития, позволяющий дошкольнику скорее на интуитивном уровне, чем осознанно, сделать открытие о том, как устроена система языка. Таким образом, система языка является для дошкольника не только средством познания действительности, но и объектом познания.

Нередко взрослый может наблюдать, как ребенок анализирует варианты формы, пытаясь ответить на вопрос о том, какая форма является правильной: *Мам, посмотри. Люди бежат* (подумав), *бежут*. Безусловно, вопрос о правильности грамматических форм еще с трудом и очень непоследовательно решается в данном возрасте, вернувшись к выше приведенному примеру можно заметить, что тот же ребенок, продолжая разговор, рассуждает: *И песик бежит. А комары боятся дождя?*

Понимание связей и отношений в реальной действительности находит отражение в тех синтаксических структурах, которыми овладевает дошкольник: сложное предложение с семантическими отношениями последовательности, одновременности, причины, условия. Неточности в построении подобных конструкций

подтверждают, что в предложении определенной структуры ребенок отражает осознанные им отношения: *Потому что кушать хочет, клювает?* Поэтому сложные предложения становятся обычными единицами детской речи именно в возрасте после четырех лет, ранее они встречаются в речи ребенка, но нерегулярно, очевидно, потому, что по отношению к очень ограниченному кругу явлений в плане их связей и отношений процесс понимания состоялся.

Следовательно, содержание речевого развития дошкольника последовательно определяется включением его в окружающий мир, получением информации об этом мире, а также осознанием системы языка как одного из способов получения этой информации и как объекта познания.

©Кусова М.Л., 2004

С.А.Минюрова, М.Г.Александрович
Екатеринбург

Этнокультурные особенности социальных представлений

Для современного мира характерны процессы, с одной стороны, глобализации и сближения различных культур, с другой стороны, дифференциации и акцентирования этнических особенностей разных народов. Стремление к взаимопониманию этнокультурных сообществ делает актуальным изучение их социальных представлений, ценностей. Целью нашего исследования стало выявление межкультурных и межэтнических различий в социальных представлениях о таких ценностях, как «жизнь», «семья», «счастье» у людей с различными сочетаниями этнокультурных характеристик: евреев, проживающих в России; евреев, проживающих в Израиле; русских, проживающих в России. В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 90 человек: три группы по 30 человек (15 женщин и 15 мужчин) в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие статус студента и относящиеся к тому или иному этносу (евреи, русские) и к той или иной культурной среде проживания (российская, израильская).

В контексте поставленной цели мы ориентируемся на следующие основные понятия. Под культурой нами понимается комплекс созданных людьми объективных и субъективных элементов, которые в прошлом обеспечили выживание жителей определенной экологической ниши, став общими для тех, кто говорил на одном языке и жил вместе в одно и то же время (Н.Triadis) . А также совокупность установок, ценностей, верований и поведения, разделяемых группой людей, и передаваемых от поколения к поколению (D.Matsumoto). Этнос мы рассматриваем как пространственно ограниченные

«сгустки» специфической культурной информации (С.А.Арутюнова, Н.Н. Чебоксаров). В подобном толковании происходит переход от уровня понимания этноса как реальной группы людей к уровню информационно-когнитивному, где главным и определяющим признаком этноса являются не люди как носители культурной информации, а сама эта информация, ее содержание и ее специфичность.

Социальные представления мы понимаем как единицы общественного сознания, которые, кристаллизуя общественный опыт, одновременно выступают и как образующие индивидуального сознания. Они фиксируют типичные для членов определенной общности понятия, знания, стереотипы, нормы поведения, отношения к окружающему миру, себе и другим людям. В более широком смысле социальные представления - это формы и способы обыденного познания действительности (спонтанное познание здравого смысла), способ интерпретации и осмысления повседневной реальности. Это такая форма социального познания, которая предполагает когнитивную активность индивидов и групп, позволяющая им фиксировать свою позицию по отношению к затрагивающим их ситуациям [Донцов, Емельянова 1985].

В рамках концепции социальных представлений (С. Московиси, Ж. Кодол, Ж. Абрик, Жодоле, К. Фламан, К. Фоше, М. Плон) большое внимание уделяется образу и значению как составляющим социального представления, в котором образ и смысл связаны. Образ понимается как визуализация характеристик представляемого, содержание, которое привязывается к определенной картине. По утверждению Жодоле, «делая образными абстрактные понятия, представление придает материальную телесность идеям, словам, ставит в соответствие вещи» [Донцов, Емельянова 1985]. Социальное представление, по определению Ж. Абрика, — «это решетка декодирования и интерпретации, благодаря которой индивиды присваивают значение тому, что они воспринимают, оно также создает систему ожиданий и предвосхищений, категоризирует и предопределяет ситуацию взаимодействия» [Донцов, Емельянова 1987]. Исходя из данного определения, можно предполагать возможность интерпретации социального

представления как личностного смысла субъекта, который направляет его поведение и указывает на отношение к реальным объектам окружающего мира.

Таким образом, приступая к изучению этнических и культурных различий в социальных представлениях, мы обращаемся к содержанию и специфичности не значений понятий как знаний об объекте, а коннотативных значений. Это генетически ранняя форма значения, в которой отражение и эмоциональное отношение, личностный смысл и чувственная ткань еще слабо дифференцированы. Эти значения связаны с социальными установками, стереотипами и другими эмоционально насыщенными, слабо структурированными и малоосознаваемыми формами обобщения, которые направляют поведение людей разных этнокультурных сообществ.

Изучение коннотативных значений традиционно ведется посредством психосемантических методов. В задачу психосемантики как области исследования, возникшей на стыке психолингвистики, психологии восприятия и исследований индивидуального сознания входит реконструкция системы значений, через призму которой происходит восприятие субъектом мира, других, самого себя. На достижение цели нашего исследования нами избраны метод семантического дифференциала и методический прием «Коллаж».

Метод семантического дифференциала (СД) Ч. Осгуда, который предполагает оценку измеряемых объектов по ряду биполярных шкал, полюса которых задаются с помощью вербальных антонимов. Оценки измеряемых объектов по отдельным шкалам коррелируют друг с другом, и с помощью факторного анализа высококоррелирующие шкалы удается сгруппировать в факторы. Факторы являются смысловыми инвариантами эмоционального тона, или образного переживания, лежащего в основе коннотативного значения.

Для изучения коннотативного значения нами разрабатывается методический прием «Коллаж» [Минюрова 2002]. Коллаж (от франц. collage) – прием в изобразительном искусстве, который заключается в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре; а также произведение, выполненное в данной технике. В

психологической практике методический прием «Коллаж» традиционно используется как арт-терапевтическая техника, которая предполагает работу с субъективными представлениями и переживаниями человека на основе психодинамического подхода [Копытин 1999]. В социально-психологических исследованиях методический прием «Коллаж» входит в группу методов новой качественной технологии, которая развивается с 70-80-х годов ушедшего века применительно к анализу общественного мнения в сфере средств массовой информации и маркетинга. Качественные методы направлены на изучение наиболее полной феноменологической картины исследуемого явления (причинно-следственных связей, процессуальных характеристик и т.п.), что позволяет проанализировать внутреннюю структуру и взаимосвязи данного явления. Качественные методы, в отличие от количественных, которые опираются на статистические процедуры, носят нестандартизированный характер и не ставят целью изучение количественных закономерностей. Основная задача данных методов – получение личной, скрытой информации, выявление спектра представлений, эмоциональных реакций, личностных смыслов респондентов по отношению к изучаемому объекту. Методологические особенности применения качественных методов задает моделирующая или воспроизводящая реальность, «живая ситуация» исследования [Мельникова 1994: 265].

Процедура методики имеет следующие этапы. В качестве исходного материала респондентам предлагаются журналы, газеты с большим количеством рисунков, фотографий, броских заголовков; ножницы; клей; фломастеры; листы ватмана. На первом этапе респондентам дается задание создать в течение 40 минут на листах формата А3 индивидуальный коллаж на определенную тему. Выполняя инструкцию, респонденты вырезают, располагают на листе ватмана разные визуальные изображения, добавляя свои собственные цвета или рисунки. На втором этапе респондентам предлагается в течение 10 минут сделать письменный комментарий к созданному коллажу, ответив на вопрос: «Что это для меня значит?».

Методологическими основаниями для использования методики «Коллаж» с целью изучения коннотативного значения служат представления Н.А. Бернштейна о «живом движении» как «особом функциональном органе», в котором в единстве представлены синергетический, предметный и символический уровни психики; идеи Б.Г. Ананьева об образной природе психических структур любого уровня и сложности; теоретические положения В.Ф. Петренко о перцептивном образе как «высказывании о мире»; концепция отношений В.Н. Мясищева, согласно которой, изучая отношения человека, мы имеем дело со смысловыми образованиями личности; представления А.Н. Леонтьева о чувственной ткани смысловых образований личности. Моделирующая или воспроизводящая реальность, которой является сам процесс выполнения методики «Коллаж», возникает благодаря действию двух базовых механизмов: синестезии и проекции. Для анализа содержания визуальных рядов и текстов респондентов, полученных посредством методики «Коллаж» нами используется метод контент-анализа.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью параметрического критерия оценки различий, метода корреляционного и факторного анализа.

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие заключения о характерных различиях между представителями, проживающими в разных культурных средах: Россия (русские и евреи, проживающие в России) и Израиль (евреи, проживающие в Израиле).

Для израильтян все три представления «жизнь», «семья», «счастье» тесно связаны между собой через тематику безопасности. В израильской выборке при описании представлений о себе в мире преобладают отрицательные эмоции — тревога, гнев, беспокойство. Темы войны, армейской жизни, отсутствия врагов, защиты пронизывают все представления. Это обусловлено тем, что террористические акты, частые межэтнические конфликты, военные действия и операции являются повседневностью. Безопасность — это реальная основа для того, чтобы жизнь, семья, счастье были представлены для людей.

Представление о счастье в российской группе связано с пробуждением активности субъекта. Счастье будоражит, стимулирует и имеет предвосхищающий характер. В выборке израильтян счастье рассматривается как констатация факта, как результат достижения какой-либо цели и предполагает расслабление, умиротворение, пассивность. Для российской выборки приоритетны такие ценности: материальный достаток, любовь, карьера и образование. Для израильской выборки самая важная ценность – семья. В группе израильтян жизнь рассматривается как линейный процесс с определенной точкой отсчета и завершения (рождение, смерть). В российской выборке жизнь представляется каким-то отрывком, мигом, промежутком без какого-либо поэтапного линейного продвижения. В израильской выборке представлена ориентация на настоящее, а также присутствует прошлое как ностальгические воспоминания о России. В российской выборке преобладает ориентация на будущее — мечты, будущие планы, ожидания. В группе израильтян наиболее представлен «реальный образ Я»; в российской группе - «идеальный образ Я».

Наши данные согласуются с мнением, представленным в ряде этнопсихологических исследований: ориентация не на настоящее, а на будущее, тяга к идеальному, к идеализации и к идеологизации являются одной из характерных особенностей российского менталитета. «Самую главную черту российской психологии всегда составляла вера: в российском менталитете образовался необыкновенный синтез веры в другого человека, в общество и в идеал. Русский идеализм сочетал в себе определенную умозрительность, возвышенный характер размышлений, выразившихся в поисках правды и смысла жизни, оторвавшихся от практической обыденной жизни. Эта вера основывалась на развитом воображении, мифологичности, сказочности российского сознания. Именно вера в идеал позволяла человеку вырваться за пределы обыденности, вынести всю тяжесть реальности. Эту веру нельзя было назвать оптимистической, но она стала основой особой черты исторического русского характера - терпения» [Кукушин, Столяренко 1998]. Разрыв между настоящим и будущим,

исключительная поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания, а потому и ответственности за принятие решений в ситуациях риска и неопределенности, облачение «русской идеи», национальной идеи в мессианские одеяния, открытость, или всеотзывчивость - такие компоненты российской ментальности выделяются исследователями.

Теперь остановимся на существенных различиях социальных представлений в группах, отличающихся по фактору этнической принадлежности (русские, евреи).

Для евреев характерна представленность фактора «активность» при оценке всех трех ценностей «жизнь», «семья», «счастье». Это объясняется спецификой еврейского менталитета: инициатива, активность, опора на свои силы, осознание того, что только сам человек может позаботиться о себе. Такие особенности евреев обусловлены культурой и историей. На протяжении столетий еврейский народ подвергался дискриминации. Поэтому такие качества, как чувство собственного достоинства, целеустремленность, настойчивость, инициатива всячески поощряется при воспитании национального характера. Стеснительность, сомнение, застенчивость и скромность у евреев ассоциируется со слабостью, с неспособностью противостоять ударам судьбы, с пассивностью и духовным пораженчеством. «Главные черты характера еврея – чувство собственного достоинства и всякое отсутствие робости и стеснительности. Для передачи этих качеств еврея существует даже специальный термин — «хуцпа», не имеющий перевода на другие языки. Хуцпа — особый вид гордости, побуждающий к действиям, несмотря на опасность оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным. Для еврея «хуцпа» означает особую смелость, стремление бороться с непредсказуемой судьбой. ... Очень важно, что носитель хуцпа ведёт себя так, будто его не заботит вероятность оказаться неправым. Практически это приводит к тому, что на протяжении длительного времени человек получает больше вознаграждений за свои действия чем, если бы он от них уклонялся, и не придаёт значения мелким неурядицам» [Сухарев В., Сухарев М. 1997].

В группе русских фактор «активность» представлен гораздо меньше. В этнопсихологических исследованиях отмечается, что

для русского национального характера свойственна опора на преимущественную активность правого полушария мозга, что обуславливает эмоциональность, интуитивность, непредсказуемость русской души, её богатое воображение и созерцательность. «Мышление характеризуется образностью, сосредоточенностью на масштабных проблемах, остро чувствует тенденции и грядущие изменения. Однако испытывает значительные затруднения при необходимости перевести результаты предчувствия в рациональную форму, конкретные решения» [Кукушин, Столяренко 1998]. В данной группе наиболее представлен фактор «оценки». Причем, при раскрытии содержания представлений встречаются противоречивые характеристики: хаотичный и устойчивый, расслабленный и активный (понятие «жизнь»), пассивный и живой, движущийся (понятие «счастье»), страстный и нежный (понятие «семья») и т.п. Полученные результаты согласуются с мнением исследователей, которые указывают на противоречивость черт русского характера. Причину этой противоречивости объясняют по-разному. Например, через особенности раннего детского воспитания: традицию тугого пеленания младенцев, которым «русские информируют своих детей о необходимости сильной внешней власти», и которое формирует русское терпение и послушание, и в то же время, склонность к кратковременным приступам бурного протеста (Дж. Горед). Или через особенности ритма образа жизни, который сложился в русской крестьянской культуре: смена относительной бездеятельности в зимние месяцы и «бурность активности после весенней оттепели», что способствовало формированию паттернов, имеющих одинаковую форму: чередование полной пассивности и бурной эмоциональной разрядки (Э. Эриксон).

Интересен тот факт, что в русской выборке понятия «счастье», «жизнь» характеризуются через любовь, принятие. Представление о счастье определяется через иррациональность, предвосхищение, ожидание. В еврейской же группе представление о счастье связано с ощущением безопасности и защиты. Понятия «счастье», «жизнь» связаны с понятием «семья». Семья в еврейском обществе традиционно считается одним из важнейших элементов жизни. Это связано с

исторически сложившимся образом жизни общинных евреев, которые часто жили достаточно отгороженно (например, в еврейских гетто). Семья при этом была и отдушиной, и пристанищем, и оплотом, и поддержкой.

Таким образом, изучаемые в данном исследовании этнокультурные группы имеют специфическое содержание социальных представлений. Причем большие различия проявились на культурном уровне, между общностями, проживающими в разных культурах: российской и израильской. Большее сходство выявилось между группами российских евреев и русскими, а сходство между евреями российскими и израильскими оказалось меньшим. Несмотря на то, что еврейскую выборку нашего исследования объединяет этнос, который сохраняет свою самобытность, все же особенности социальных представлений преломляются через ту культурную среду, в которой на данный момент проживают его представители.

Литература

Донцов А.И., Емельянова Т.П. «Социальные представления как предмет экспериментального исследования в современной социальной психологии»//Вестник Московского университета». Серия 14. Психология. – 1985. №1. – С.20-25.

Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. – М., 1987.

Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб., 1999.

Кукушин В. С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – М., 1998.

Мельникова О.Т. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач //Введение в практическую социальную психологию /Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. – М., 1999.

Минорова С.А. Методика «Коллаж»: исследование психологических особенностей картины мира человека //Практическая психология 2001. Ежегодник. Том 4: Матер. региональной науч.- практ. конф. 28 – 30 марта 2002 г. Екатеринбург/Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2002.

Сухарев В., Сухарев М. Психология народов и наций. – М., 1997.

©Минярова С.А., 2004

©Александрович М.Г., 2004

Б.Ю. Норман
Минск

Слово и предложение, номинация и коммуникация

*Коммуникативная функция слова,
Она, если в ней разобраться толково,
Кому – позитивная функция слова,
Кому – негативная функция слова.*

Д. Сухарев. К вопросу о
коммуникативной функции слова

Основными единицами языка являются слово и предложение. Это не только научные понятия и термины, но и наивные понятия и названия, хорошо идентифицируемые обычным носителем языка. Речь идет, разумеется, не о дефиниции слова и предложения (такая задача перед носителем языка и не ставится), но о том, что обычный человек имеет в своем сознании четкие (прототипические) образцы и того и другого. На вопрос-просьбу «Назовите слово» он дает ответы типа *рука*

или *хороший* и т.п. (но не *из-под* или *в качестве*), на задание «Назовите (или: скажите) предложение» отвечает примерами простых двусоставных повествовательных предложений вроде *Папа спит* или *За окном плохая погода* (но не *Спит?* или *За окном*).

Правда, в лингвистике статус предложения несколько размывается с появлением термина и понятия *высказывание* (а также *фраза*), что более всего связано с распространением глобальной оппозиции «язык—речь» на все уровни языковой системы, в том числе синтаксический. По-другому можно сказать, что это идея системности языка прокладывает себе дорогу через представление об изоморфизме языковых уровней (ср. пары: фонема – звук, морфема – морф и т.д.). Предложение в противопоставлении высказыванию понимается как обобщенная языковая единица, структурная схема или образец, по которому строится множество конкретных речевых единиц. А высказывание – это в полной мере конкретная, индивидуальная единица, отражающая отношение говорящего и сообщения к фрагменту действительности. Данную точку зрения сегодня можно считать уже общепринятой, она получила отражение и в стандартных вузовских учебниках, ср.: «Предложение как единица языка воспроизводимо, оно повторяется в речи, получая меняющееся лексическое наполнение... Высказывание – это один из речевых вариантов предложения; предложение реально функционирует в форме высказывания...» [Головин 1973: 198]. Не случайно также в современной лингвистике утверждается противопоставление конструктивного и коммуникативного синтаксиса: первый ориентируется преимущественно на предложение и его строение, второй – на высказывание и его функциональные свойства (см.: [Распопов 1970: 4—31] и др.).

Конечно, определенные методологические трудности возникают не только при определении статуса предложения, но и при разработке языковых и речевых аспектов понятия «слово». И тем не менее, не вдаваясь здесь специально ни в «синтаксическую», ни в «лексическую» проблематику, подчеркнем, что в целом противопоставленность слова и предложения никем не оспаривается. Эта оппозиция хорошо

осознается и самим носителем языка. И хотя для простоты описания принято считать, что «предложение состоит из слов», суть данной оппозиции, конечно, не в количественных параметрах, не в том, что слово в принципе «меньше» предложения, а в их функциональной специфике. В самых общих чертах эту специфику можно определить так: слово служит для называния, предложение / высказывание – для сообщения. Иначе говоря, слово является носителем **номинативной функции**, предложение – **коммуникативной**. К этой на сегодняшний день уже традиционной (или даже тривиальной) точке зрения необходимо, однако, сделать две оговорки.

Во-первых, абсолютизируя противопоставление номинативной и коммуникативной функций языка, мы как бы отвлекаемся от других, тоже важных его общественных предназначений: от познавательной и мыслительной функций, а также от эстетической, экспрессивной, фатической, этнической и прочих.

Во-вторых, существуют языки, для которых противопоставленность слова и предложения не столь очевидна и продуктивна, как в русском. Речь идет, в частности, о полисинтетических языках, применительно к которым, вероятно, следует говорить о системном синкретизме коммуникативной и номинативной функций.

Однако эти уточнения не отменяют противопоставления слова и предложения как прочной и удобной методологической базы для исследования языковой системы по отдельным уровням.

Тем не менее, во второй половине XX века функциональное противопоставление слова и предложения стало расшатываться, и произошло это в связи с развитием особой – «денотативной», или референтной, – трактовки смысла высказывания. В работах В.Г. Гака, Н.Д. Арутюновой, Е.В. Падучевой и др. обосновывалась точка зрения на предложение как на **знак**, содержанием которого является ситуация как определенный фрагмент действительности (см., в частности: [Гак 1973: 352—360 и др.]). В таком случае в противопоставлении «слово – предложение» акценты расставляются иначе, чем это было

сделано выше: и та, и другая языковая единица – это **названия**, только в первом случае **предмета** (вещи), а во втором – **ситуации** (события).

Разумеется, ситуация – сложное, многокомпонентное образование, и ее структура в значительной степени определяет структуру предложения. В то же время и синтаксические единицы, со своей стороны, «не безразличны» к тому, как их используют для наречения фрагментов действительности. Подтвердим это ссылкой на Е.С. Кубрякову: «...Предложения разных типов способны на выполнение номинативных функций не в равной мере» [Кубрякова 1986: 39]; «Выбор единицы номинации соотнобразуется с интенцией говорящего и структурно-семантическими особенностями этих единиц... Формат единицы, ее протяженность, ее расчлененность, возможность отразить с ее помощью те или иные детали ситуации, подчеркнуть те или иные моменты в ее характеристике – все это играет свою роль при выборе единицы номинации или в акте ее создания» [Там же: 44–45].

Само возникновение и распространение «денотативной» концепции в синтаксисе, по-видимому, не случайно: ее успех гарантирован не только объективным типологическим сходством (в каких-то отношениях) слова и предложения, но и, можно сказать, правом методологической метафоры: для исследователей оказалось в каком-то смысле удобно и плодотворно рассматривать предложение как название. Выгода такого подхода особенно очевидна тогда, когда объектом рассмотрения становятся различного рода языковые клише: пословицы, афоризмы, крылатые слова и т.п. Они, будучи по своей структуре предложениями, хранятся в памяти носителя языка целиком и воспроизводятся автоматически, как названия для некоторых стандартных ситуаций. В следующих трех примерах выделены именно такие речевые фрагменты.

Н е ч а е вИ отцов у меня в картине нет...

Т р о ф и м о в . Найдутся. «В Греции все есть». Потому что в картине у тебя все уязвимо (Э. Радзинский. Снимается кино).

Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть то, чего нет. *А есть покой и воля.* Вот этого сколько угодно (В. Токарева. Сказать – не сказать).

— Светило медицины черт принес, — сказал медбрат. — В понедельник и такая невезуха. Скажи, за что?

— Да, — кивнула я. — *Сидим тихо, починаем примус...* (Т.Полякова. Как бы не так).

Из сказанного вытекает, что в некоторых условиях функциональная оппозиция слова и предложения стирается, нейтрализуется. Более того, можно утверждать, что существуют, по крайней мере в русском языке, целые жанры, для которых само противопоставление названия и сообщения становится неактуальным. Таковы, в частности, названия литературных произведений. Понятно, что в данной позиции чаще всего выступает словоформа (как свободная синтаксема) или словосочетание. Но может здесь использоваться и целое высказывание, ср. известные примеры: *А зори здесь тихие, Танки идут ромбом, В бой идут одни старики, Завтра была война, Сыновья уходят в бой, У войны неженское лицо* и т.п.

Противопоставление слова предложению «смазывается» также в некоторых жанрах научно-технической документации, для которых важно «уплотнение знания», сжатие передаваемой информации. Такие виды вторичных документов, как аннотация, реестр, поисковый образ документа и т.п., имеют в своей основе определенную, заранее регламентированную структуру, и эта структура лишь частично соответствует «обычным» синтаксическим правилам (в частности, поисковый образ документа — это просто набор ключевых слов, дающий представление о содержании документа).

Таким образом, даже если не соглашаться в целом с «денотативной» трактовкой смысла синтаксических единиц, приходится признать, что по крайней мере в определенных условиях предложение способно принимать на себя номинативную функцию (свойственную вообще-то слову).

Но процесс нейтрализации противопоставления коммуникативной и номинативной функций можно наблюдать и на базе слова, стремящегося в каких-то ситуациях к самодостаточной передаче сообщения. Речь идет о целых классах лексем, образующих односоставные высказывания, вроде *Ночь* или *Умница!* Одни исследователи говорят в подобных случаях об особой — «предметно-ситуативной»

разновидности номинаций [Проничев 1991: 19 и след.], другие пытаются исчислить классы имен, предрасположенных к такой «ассертивной» (предикативной) роли [Міхневіч 1976: 236-252]... Но в любом случае название здесь неотделимо от стремления сообщить адресату констатирующую, оценочную и иную информацию. А это, очевидно, удел (или, под другим углом зрения, прерогатива) высказываний!

Покажем это на нескольких иллюстрациях из художественных текстов.

Так вот из них очередь. Некое присутствие. Ведомство. То ли зуб рвать, то ли справку получать. <...> Очертания приемной обобщены и размыты – может, и зуб, но не исключено, что и Страшный суд... (А. Битов. Внук 29-го апреля). В данном случае *зуб* – это обозначение ситуации, которую в полном виде можно представить примерно так: ‘люди ждут своей очереди к врачу, чтобы вырвать больной зуб’. Понятно, что перед нами – не номинация ради номинации, а случай сжатия, компрессии смысла, уменьшения высказывания до размеров слова.

Он возле троллейбусной остановки в снегу лежал, и его уже слегка припорошило. Ну, люди, конечно, видели, но, конечно, внимания не обращали, потому что думали – лежит, ну и лежит. *Суббота* (М. Мишин. Субботний рассказ). *Суббота* здесь означает ‘это была суббота, конец недели, впереди выходной день, человек, возможно, выпил – имеет на то право’. Как видим, номинативная единица используется для обозначения довольно сложного события.

Да он еще хоть куда, подумал Лева. *Пятьдесят семь*, не курит, не пьет, *лыжи, бассейн*. *Седина* чуть-чуть, а вот глаза выдают (Н. Леонов. Профессионалы). Здесь *пятьдесят семь* – это ‘ему пятьдесят семь лет’, *лыжи* – ‘увлекается лыжами’, *бассейн* – ‘посещает бассейн’, *седина* *чуть-чуть* – ‘волосы чуть-чуть тронуты сединой’. Каждое слово оказывается полноценным носителем целой пропозиции, и в его пределах происходит как бы сплав, слияние коммуникативной и номинативной функций.

Естественно, что в конкретном случае говорящий то и дело испытывает колебания в выборе языковых средств для

выражения исходного смысла: он решает, то ли ему представить информацию в виде предложения, то ли – в виде слова (пусть даже с зависимыми членами). Именно такую ситуацию мы наблюдаем в следующих контекстах:

Бросаю. Честно говоря, я немного умею бросать так, чтобы получилось то, что нужно. *Орел. Упала орлом* (В. Аксенов. Звездный билет). Словоформа *орел* здесь – не имя предмета, а имя события, и чтобы у читателя не возникло в этом никакого сомнения, далее идет расшифровка в виде целого высказывания, хотя и с эллиптическим подлежащим: [монета] *упала орлом*.

Но под силу ли искусству весь ужас нашей жизни? Вслед за «афганским» с войны возвращается «чеченское» поколение. *Человек с ружьем кажется вечным*. Или наоборот: *вечный человек с ружьем...* («Общая газета». 1996. № 6). Нормальная предикативная структура *человек с ружьем кажется вечным* выступает в данном контексте как конкурент номинации *вечный человек с ружьем...*

В свете сказанного неудивительно, что наряду с очерченной выше «денотативной» концепцией, которая пытается объединить слово и предложение под крышей единой **номинативной** функции, в современном языкознании существует и тенденция, направленная в противоположную сторону. Это значит – некоторые исследователи склонны не только в предложении / высказывании, но и в слове видеть типовой инструмент **коммуникации**. Например, у В.А.Звегинцева читаем: «Слово наиболее полно выражает коммуникативные функции» [Звегинцев 1973: 226]. По сути, текстообразующие способности слова обнаруживают себя сразу же, как только описание его лексической семантики достигает достаточной глубины. Дело в том, что процедура филиации лексического значения, расщепления его на лексико-семантические варианты и установления внутренней структуры каждого из них неизбежно приводит к определению условий речевого функционирования этих вариантов, а также к выделению отдельных сем, определяющих сочетательные «предпочтения» и ограничения слова.

Примером такой подробной разработки семантики слова может служить Толково-комбинаторный словарь, создававший-

ся И.А.Мельчуком, А.К.Жолковским и их единомышленниками. Скажем, словарная статья ОБЕД состоит здесь из трех значений (лексико-семантических вариантов), к каждому из которых приводится подробное описание условий функционирования данного существительного: типичные для него определения (*легкий, сытный, комплексный...*), типичные глаголы, управляющие словом ОБЕД (*есть, готовить, заказывать, отпускать, оставлять без...*), типичные глаголы, которыми ОБЕД управляет (*состоять из, проходить...*), типичные обстоятельства (*в ресторане, у Максима...*) и т.д. Наряду с этим, в Толково-комбинаторном словаре приводятся образцы готовых контекстов употребления, а также невозможных (запретных) контекстов [Мельчук, Жолковский 1984: 470—475].

Путь от слова к высказыванию, от номинации к предикации (и коммуникации в целом) можно проследить и при помощи разнообразных экспериментальных методик. Психолингвисты знают: достаточно малейшей внешней «искры», речевого стимула для того, чтобы заставить заработать текстообразующий потенциал слова. В частности, большинство реакций, получаемых в ходе свободного ассоциативного эксперимента, — это реакции испытуемых, направленные на создание **высказывания**. Так, самые частые реакции, полученные на стимул ГОСТЬ, по данным А.А. Леонтьева [Словарь ассоциативных норм 1977: 84], это *незванный, неожиданный, желанный, долгожданный, дорогой, приехал, кость, неожиданный, друг, приятный, татарин, хуже татарина, дом, непрошенный, праздник, радость, встреча, дома, стол, хороший...* Здесь легко обнаружить ответы, непосредственно реализующие сочетательные потенции слова — это так называемые синтагматические реакции (*гость незванный, гость приехал, гость хуже татарина* и т.п.). Но даже в ответах, традиционно считающихся парадигматическими (*гость — друг, гость — татарин, гость — праздник, гость — стол* и т.п.) можно усмотреть зачатки формирования текстовых цепочек (ср. высказывания типа: *Гость — это друг; Гость — как татарин; Гость значит праздник, Гость — к столу* и т.п.). И даже в случае явно фонетической ассоциации *гость — кость* можно говорить о

текстообразующей тенденции, имея в виду, например, создание рифмы для стихотворного текста.

Современная семасиология использует и другие методики, позволяющие выявить и описать текстообразующий потенциал лексемы. В частности, методика многоступенчатой, последовательной семантизации слова, основанная на данных толковых словарей, позволяет не только во всей полноте представить способ вхождения слова в многомерную лексическую систему, но и предсказать направления развития его семантики и возможности его участия в создаваемом тексте.

К примеру, основное значение слова *окно* – это ‘отверстие в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это отверстие’; такое толкование дает Малый академический словарь под ред А.П. Евгеньевой. Если теперь принять семы ‘отверстие’, ‘стена’, ‘свет’, ‘воздух’, ‘рама’, ‘стекло’, ‘закрывать’ за **семемы** (план содержания соответствующих лексем) и рассмотреть их структуру по тому же словарю, то мы получим на второй ступени семантизации ряд новых идентифицирующих и дифференцирующих сем. Для *стена* это будет ‘вертикальный’, ‘часть’, ‘здание’, ‘помещение’ и др., для *свет* – ‘лучистый’, ‘энергия’, ‘зрение’, ‘видеть’ и др., для *воздух* – ‘газ’, ‘земной’, ‘атмосфера’ и др., для *стекло* – ‘прозрачный’, ‘тонкий’, ‘материал’, ‘изделие’ и т.д. Уже на третьей ступени подобной семантизации слова *окно* исследователь выходит на такие семы, как ‘человек’, ‘жизнь’, ‘день’, ‘ночь’, ‘надежда’, ‘радость’ и т.п. Именно актуализация этих семантических компонентов определяет особенности употребления слова *окно* в переносных значениях (см.: [Гриб 2002: 54—57]). Так, поэтические контексты демонстрируют возможности употребления лексемы *окно* в метафорических и метонимических значениях ‘глаз’, ‘огонь’, ‘ночь’, ‘бессонница’, ‘одиночество’, ‘друзья’, ‘семья’, ‘уют’, ‘свобода’, ‘выход’ и т.п. Вся сложная сеть парадигматических отношений между семами находит свое отражение в богатстве синтагматических связей слова в тексте. *Окна в поэзии смотрят, горят, хмурятся, спят, ревнуют*; они бывают *томными, туманными, веселыми, постылыми* и т.д. Несколько иллюстраций:

Слышу колокол. В поле весна.

*Ты открыла веселые окна...
(А. Блок. Слышу колокол. В поле весна...)
Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
лед ее локтей.*

(Б. Пастернак. Конец)

*Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
(А. Ахматова. Не будем пить из одного стакана...)
Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени...
Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой...*

(И. Бродский. Литовский дивертисмент).

Таким образом, в речевой деятельности правомерно рассматривать слово по отношению к предложению не только как своего рода экстракт или выжимку, но и как зародыш или предтечу. Функциональное соотношение слова и предложения оказывается значительно сложнее, чем это можно было себе представить в рамках оппозиции «номинация – коммуникация». Определенную помощь в разработке данной проблемы могут оказать уже упоминавшиеся психолингвистические методики.

Психолингвистика – по преимуществу экспериментальная наука, и даже у своих истоков – в работах Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Р. Лурия и др. – она была нацелена на практическую сторону исследований речевой деятельности, не на выдвижение гипотез, а на их проверку. Применяемые сегодня психолингвистические методики, в том числе самые простые, с формулировками заданий типа «Закончите предложение...», «Вставьте слово в предложение...», «Опишите ситуацию...» («Что вы видите на картинке?»), «Перескажите текст...», «Выберите слова из следующего списка...» и т.п., позволяют верифицировать новые гипотезы, касающиеся внутренних механизмов речевой деятельности.

В частности, исследователи речевого общения выделяют такие важные составляющие процесса восприятия текста, как психологическая установка (ориентация) слушающего, учет им авербальной информации (мимики, жестов, обстановки), постоянное выдвижение и проверка семантических гипотез, а

также вероятностное прогнозирование формы языковых единиц и т.д. Не меньшее число факторов обуславливает процесс производства, или порождения, текста говорящим. Конечно, наиболее сложным для исследования остается латентный этап внутренней речи. Несмотря на его связь с моторными (речедвигательными) процессами, нет достаточных оснований материализовывать мыслительные структуры именно в них (движениях языка, губ, глотки), поэтому продолжают попытки изучения особого «языка» мысли, истинного ее носителя [Горелов 2003: 55—59]. В качестве такового некоторые ученые, вслед за Н.И. Жинкиным, признают так называемый универсально-предметный код, единицы которого отражают «наглядные представления» о предметах – этим и обеспечивается его универсальность [Жинкин 1982: 54—55, 93—95 и др.]. Но думается, что связывать значения слов с сенсорными образами – значит сильно обеднять содержательную сторону языка, его понятийно-концептуальную природу. Во всяком случае, данная теория не может объяснить, почему говорящий иногда выбирает для обозначения события высказывание *Вечер*, иногда предпочитает *Вечереет*, а иногда – *Это было вечером...* или *Когда мы вечером...* и т.д.

Очередной шаг в интересующем нас направлении был сделан психолингвистом Л.В. Сахарным. В его публикациях разрабатывается идея о том, что в мозгу человека действуют две грамматики, каждая из которых локализована в «своем» полушарии головного мозга. Распространенное представление о том, что речевая деятельность связана исключительно с зонами в левом полушарии, не соответствует действительности. Это было установлено в ходе экспериментов с больными, которых лечили так называемым унилатеральным электрошоком. После такой процедуры у больного в течение нескольких минут нормально работает только одно полушарие (не подвергавшееся воздействию), и благодаря этому у исследователя появляется возможность на одно и то же языковое задание получать ответы от «разных полушарий». Оказалось, что левое полушарие обрабатывает сообщение по частям, аналитически, приближаясь к логическим механизмам трансформационных преобразований. Оно работает с дискретными единицами разных уровней – от

дифференциального признака фонемы до предложения. Правое же полушарие стремится охватить и представить информацию целиком, глобально. Поэтому оно стремится к фразеологизации и идиоматизации, к сведению информации к набору ключевых слов, а еще более – к названию предмета и его признаков [Сахарный 1989: 145—151; Сахарный 1994: 10—19]. Это дало право Л.В. Сахарному назвать правополушарную грамматику «тема-рематической».

Гипотеза «двух грамматик» позволяет по-новому взглянуть на конкуренцию предложения и слова в сфере коммуникации. Задача левого полушария – построение развернутого, хорошо структурированного высказывания; правое же полушарие стремится к сжато, цельному представлению информации, к закреплению ее в слове. Конечно, в нормальном случае все разделы головного мозга работают координированно, слаженно, и образующееся в результате высказывание несет на себе следы деятельности и того, и другого полушария: оно, с одной стороны, построено по правилам языка, с участием единиц всех уровней языковой иерархии, в том числе лексем – типичных номинаций; а с другой стороны, оно структурировано по отношению к акту речепорождения: в нем обозначена тема (информационный фон высказывания) и рема (информационная кульминация).

Однако не забудем о том, что коммуникативные интенции носителя языка, а также прочие условия общения в конкретных случаях могут очень сильно различаться. В одном случае говорящему важно обозначить действие субъекта, в другом – его состояние, в третьем – приписать субъекту некоторую квалификацию, в четвертом – локализовать ситуацию в пространстве и т.п. Выше уже говорилось о том, что языковые структуры разных типов оказываются в разной мере пригодными для выполнения тех или иных коммуникативных (в самом широком смысле) задач. Соответственно некоторые коммуникативные интенции «не хотят» воплощаться в развернутые синтаксические структуры, а некоторые номинативные интенции «не любят» воплощаться в однословные названия. Именно ситуация общения, ее цель и жанр определяют особенности языкового воплощения

мысли и характер взаимодействия лексики и синтаксиса в речевой деятельности.

Покажем это еще на некоторых примерах.

Распространенные в русской речи высказывания типа *Воды! Хлеба и зрелищ! Огня! Тишины!* (все формы – в родительном падеже) или *Врача! Машины! Милицию! Отвертку!* (все формы – в винительном) семантически и формально самодостаточны: они и не требуют развертывания. Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что подставить сюда конкретный глагол не так-то просто: *Требую? Хочу? Прошу? Дайте? Принесите? Позовите? Пригласите?*... И даже если такое высказывание включает в себя иные зависимые словоформы, – ср.: *Карету мне, карету! Машину Хрусталеву! На лестнице колючей разговора б!* (О. Мандельштам), – то его синтаксическая членимость остается под вопросом [Норман 2003: 137—138]. Понятно: однословность данных реплик в значительной степени объясняется теми условиями, в которых они произносятся: перед нами призывы и требования, исполнение которых не терпит отлагательства. Этим объясняется и стандартность номинаций: список лексем в описанных ситуациях весьма ограничен. Получается, что коммуникативная функция, с одной стороны, диктует высказыванию правила его синтаксического построения, а с другой стороны, она сама связана определенными номинационными обязательствами (пресуппозициями).

Другой пример. Нередко для называния предмета в русском языке используется предикативная структура, по форме совпадающая с придаточным предложением, но по сути равноценная однословной номинации, ср.: *Блажен кто верует* (=верующий), *все, что наше* (=наше), *то, что священно* (=святыня), *дай чем писать* (=карандаш) и т.п. Условия употребления этих конструкций можно обобщить примерно так: «...В большинстве случаев предикативная структура употребляется там и тогда, где и когда невозможно применение лексических наименований. Когда же ПС имеют однословные трансформы, их вариативное использование подсказывается стилистическими факторами...» [Бойченко 1979: 21; ср.: Никитевич 1985: 21—22]. Но для нас это еще один «особый»

случай взаимодействия номинативной и коммуникативной функций, который можно свести к тому, что синтаксическая структура «поступается своими интересами», обслуживая номинацию.

Взаимообусловленность коммуникативной и номинативной функций в процессах речевой деятельности, их взаимопроникновение и переплетение в рамках одной и той же текстовой данности заставляют искать новые трактовки механизма взаимоотношений синтаксических и лексических единиц. Уже упоминавшийся Л.В. Сахарный предлагает ввести «некоторую базисную «надуровневую» единицу речевой деятельности, которую можно назвать коммуникативной номинацией (КН). Введение понятия КН дает возможность, с одной стороны, выявить закономерности функционирования единиц речевой деятельности, независимо от того, к какому лингвистическому уровню они относятся, описать в общих единых терминах то, что сегодня разбросано по разным областям лингвистической науки. А с другой стороны, введение КН позволяет более адекватно сформулировать закономерности, приводящие к указанному разнообразию формальных структур текстов речевых произведений» [Сахарный 1989: 119].

Действительно, наш материал показывает, что при описании процессов производства и восприятия текста понятие «коммуникативной номинации» могло бы оказаться продуктивным. Оно создает ономаσιологическую базу, на которой удобно анализировать процессы превращения слова в высказывание и наоборот. Ведь сам носитель языка с легкостью переходит от одного структурного типа КН к другому, не обращая внимания на изменения в их собственно языковых составляющих – как в следующем примере:

Да, это была *непогодка!* Какая там *гроза!* *Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился* на нас! Папа бушевал (Л. Кассиль. Конduit и Швамбрания).

Разумеется, введение в научный оборот такого «речедетельностного» образования, как коммуникативная номинация, не отрицает существования традиционно выделяемых слова и предложения и не отменяет необходимости их собственно лингвистического исследования.

В связи с описываемыми процессами стоит напомнить, что большой практический интерес вызывают способы информационного **сжатия** текста. Как известно, в таких целях могут использоваться разные языковые средства: ключевые слова, отглагольные существительные, предложно-падежные формы с обстоятельственным значением, некоторые частицы и т.д. Но характерно, что все эти «инструменты конденсации» опять-таки по-своему привязаны к определенным жанрам речи и обусловлены определенными коммуникативными интенциями.

В частности, выделение ключевых слов – необходимое условие для автоматического реферирования научно-технических текстов. Здесь требования совершенно конкретны: ключевые слова – это имена (как правило, существительные), часто употребляемые в тексте и несущие важную (в тематическом и рематическом плане) смысловую нагрузку. Но за пределами научно-технической документации операционная ценность ключевых слов снижается, а само это понятие становится не таким строгим. Здесь, наряду с существительными, за которыми закреплена «прототипическая» номинативная функция, в числе ключевых могут встретиться и слова иных частей речи; тут приходится учитывать также эстетическую и прочую коннотацию слова и т.п. (см., например: [Жлобинская, Штерн 1989: 66—71]).

Еще одно средство сжатия текста – это отглагольные существительные (девербативы). С их помощью ситуация обозначается как предмет, она вводится на правах актанта (аргумента) в состав иной, более сложной ситуации. Соответственно целое высказывание сводится до величины отдельного слова. Такая операция называется номинализацией. Согласно более строгому определению, с номинализацией мы имеем дело тогда, когда отглагольному имени соответствует в глубинной структуре фразы предикат низшего ранга (который в поверхностной структуре может быть выражен придаточным предложением). Так, *Он пропустил урок из-за болезни* означает *Он пропустил урок из-за того, что болел*. Сопоставление материала разных языков показывает, что номинализация есть одно из проявлений универсальной тенденции к «интеллектуализации» текста, то есть к развитию его

выразительных возможностей в связи с потребностями науки, мыслительной деятельности и т.п. [Korytkowska 1995: 184].

Но разве дело только в этой общей тенденции? Почему же за пределами научного и делового стилей девербативы наталкиваются на многочисленные словообразовательные ограничения, не говоря уже о психологическом барьере, который они должны преодолеть в сознании носителя языка? Показательны в данном отношении следующие примеры:

— ...Наконец, продолжение рода? Хорошенькое дело, если мужчины перестанут жениться и возьмут курс на... — тут она запнулась, подыскивая оборот, — на *расположение* безотцовщины (В. Пьецух. С точки зрения флейты).

— Слушай, профессор, — перебил его Чинариков, — а не пора ли нам спать?

— Погоди ты со своим *спаньем*! (В. Пьецух. Новая московская философия).

Комендант несомненно утонет, сказал я... Кроме того, напомнил я, в случае *утонутия* коменданта задача все равно останется невыполненной... (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сказка о Тройке).

М.Ю. Федосюк, задавая сакраментальным вопросом: «Зачем деловому стилю отглагольные существительные?», отвечает на него так: затем, что они — необходимое условие реализации точности и краткости изложения, присущих данному стилю. Но к этому добавляет: не случайно в официально-деловых текстах сравнительно мала доля сложноподчиненных предложений с придаточными причины: девербативы в составе полипропозитивных структур в значительной мере принимают на себя данную миссию [Федосюк 2003, 224]. А это значит, применительно к нашей теме, что причина, по отношению к официально-деловому стилю, редко выступает как самостоятельное событие: говорящий (чаще — пишущий) стремится включить ее в качестве составляющей в более сложную мыслительную структуру.

Тем самым мы опять приходим к идее обусловленности номинационных и синтаксических процессов коммуникативными интенциями и иными условиями общения. Можно повторить здесь в качестве общего вывода и то

положение, которое было сформулировано нами несколько ранее: взаимоотношения слова и предложения в речевой деятельности, с учетом выполняемых ими функций, оказываются значительно более сложными, чем это представляется в статической картине языка.

Литература

Бойченко Г.Е. Трансформация предикативных структур в однословные наименования // Русский синтаксис (Известия Воронежского пед. ин-та. Т. 203). – Воронеж, 1979.

Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1972. – М., 1973.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. Изд. 2-е. – М., 1973.

Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М., 2003.

Гриб С.И. Преобразование семантической структуры слова на основе метонимии (лексема *окно* в поэтическом тексте) // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка. 2002, № 1.

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.

Жлобинская О.Н., Штерн А.С. Репродуцированный текст в его отношении к исходному // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. – М., 1989.

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. – М., 1973.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М., 1986.

Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. – Вена, 1984.

Міхневіч А.Я. Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы. – Мінск, 1976.

Никитевич В.М. Основы номинативной деривации. – Минск, 1985.

Норман Б.Ю. К восприятию современного художественного текста (на материале стихотворения О. Мандельштама «Куда мне деться в этом январе?») // Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet/ Red. naukowa L. Szypielewicz. – Warszawa, 2003.

Проничев В.П. Функционирование именных односоставных конструкций в тексте (предметно-ситуативные номинации). Учебное пособие к спецкурсу. – Л., 1991.

Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – М., 1970.

Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. Курс лекций. – Л., 1989.

Сахарный Л.В. Человек и текст: две грамматики текста // Человек—текст—культура. – Екатеринбург, 1994.

Словарь ассоциативных норм русского языка. Под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1977.

Федосюк М.Ю. Зачем официально-деловому стилю нужны отглагольные и отадективные существительные? // Проблемы речевой коммуникации. Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 80-летию Ольги Борисовны Сиротининой/ Под ред. М.А. Кормилициной. – Саратов, 2003.

Korytkowska M. Nominalizacje a struktura semantyczna verbum (na materiale polskim i bułgarskim) // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 32. – Warszawa, 1995.

©Норман Б.Ю., 2004

Т.В.Попова
Екатеринбург

**Мутационные и модификационные субстантивные
дериваты в русском языковом сознании
(по данным ассоциативного эксперимента)**

Проблема разграничения мутационных и модификационных дериватов в современном русском языке – несмотря на длительную историю ее изучения – далека от разрешения. Традиционно к модификатам относят производные, обладающие двумя признаками: а) отнесенностью к той же части речи, что и производящее; б) частичным, незначительным видоизменением лексического значения производящего в производном (*домик* – это дом, но маленький; *беловатый* – это белый, но в незначительной степени; *крикнуть* – то же действие, что и кричать, только совершенное один раз). При мутационной же деривации частеречная принадлежность производного и производящего может быть одинаковой или различной (*пила* → *пильщик*, *пила* → *пилить*), более существенным маркером является их семантическое соотношение: лексическое значение мутационных дериватов резко отличается от значения производящего: «производное обозначает совершенно иной феномен действительности» [Лопатин 1989: 35]: *пильщик* – человек, работающий, используя пилу, но не сам, а пила (предмет); *пилить* – действие, совершаемое пилой, но не само орудие производства. В «Русской грамматике» [М., 1980] предпринята попытка выделения всех групп производных слов разных частей речи, которые следует отнести к этим типам дериватов.

Можно попытаться предложить жесткий критерий для разграничения этих явлений – степень и характер изменения категориально-лексической семантики производящего в производном слове: при модификации КЛС производящего сохраняется в лексическом значении деривата, при мутации – изменяется.

И все-таки проблема остается: неясно, каково положение модификатов и «мутантов» не в системе языка, являющейся научной абстракцией, моделью вербальной коммуникационной системы, а в реально существующем языковом сознании человека. Можно попытаться решить этот вопрос с помощью ассоциативного эксперимента, который позволит выявить особенности восприятия производных слов разных типов. Целесообразно начать анализ этой проблемы с более простых дериватов – производных субстантивов: их семантика более

конкретна и легко осознаваема, чем более сложное и многослойное значение признаков слов, особенно глаголов. Анализ реакций испытуемых на стимулы – дериваты разных типов позволит выявить удельный вес реакций, ориентированных либо на корень, либо на аффикс, доминирование первых или вторых и определит место корневой морфемы в сознании современного человека.

В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие около 60 студентов естественных и гуманитарных факультетов разных вузов г. Екатеринбурга. Им было предложено записать на чистых карточках, выданных экспериментатором, по 3 первых слова, пришедших в голову при внеконтекстном предъявлении существительных *домище, листочек, сахарница*. Слова зачитывались с интервалом в 1 минуту.

Выбор слов-стимулов не был случайным. В качестве стимула предъявлялись конкретные имена существительные, поскольку именно предметная семантика наиболее легко осознается носителем языка и «порождает» многочисленные и разнообразные реакции. Отобранные для эксперимента дериваты узуальны, хорошо известны любому человеку и в то же время неоднотипны с точки зрения словообразования: последнее слово (*сахарница*) является мутационным производным, а первые два (*домище, листочек*) – типичными модификатами со значением увеличительности – уменьшительности. Причем, существительное *листочек* можно условно считать «двойным» модификатом: он содержит 2 суффикса со значением уменьшительности (*лист – листок – листочек*), кроме того, благодаря своей многозначности может указывать на 2 разных предмета небольшого размера: «лист бумаги» и «лист дерева». Поэтому *листочек* является более «сильным» модификатом, чем *домище*, последний употребляется лишь в одном модификационном значении увеличительности и имеет только один модификационный суффикс *-ищ(е)*.

Можно выдвинуть следующую гипотезу о характере предполагаемых реакций на производное слово. У модификационных дериватов при внеконтекстном предъявлении любого производного слова должны

доминировать реакции на семантику и/или форму именно корневой морфемы, так именно она является носителем категориально-лексической семы (так, в именах существительных *домик* «маленький дом» и *домище* «большой дом» корень **-дом-** передает ядерную КЛС «вид жилища, дом», а суффиксы **-ик** и **-ищ(е)** – дифференциальные семы размера: небольшой или значительный по размерам дом); у мутационных же дериватов должны доминировать реакции на аффикс, так как КЛС передается не корнем, а словообразовательным аффиксом (так, в существительном *сахарница* «вид посуды для хранения сахара», мотивированном субстантивом *сахар*, КЛС «вид посуды» манифестируется не корнем, а суффиксом **-нищ(а)**, имеющим в системе современного русского языка словообразовательное значение «носитель предметного признака, названного мотивирующим существительным», корень же передает ДС признака посуды – указывает на ее вид, определяемый по объекту хранения). Выявленные особенности реакций стали бы свидетельством изоморфности/неизоморфности системно-языковой и семантико-психологической значимости русской словообразовательной мутации и модификации.

Свободный ассоциативный эксперимент обнаружил следующее. Анализируемые существительные получили разнообразные реакции:

- **домище** – *hause* 1, *балкон* 1, *бассейн* 1, *богатство* 1, *богатый* 2, *большая квартира* 1, *большое крыльцо* 1, *большой* 16, *большой дом* 1, *великанище* 1, *Верхотурье* 1, *вешалка* 1, *вилла* 1, *ворота* 1, *высокий* 4, *высокое* 1, *гардероб* 1, *гигантский* 1, *грогада* 1, *громадный* 1, *громоздкость* 1, *гулять* 1, *деньги* 1, *деревянный* 8, *дом* 11, *дряхлый* 1, *дым* 2, *жилище* 1, *жилье* 2, *заброшенный* 1, *замок* 1, *здание* 2, *здоровый* 1, *избушка* 1, *каменный* 1, *камень* 1, *камин* 1, *квартира* 1, *кирпич* 5, *комната* 1, *комнаты* 1, *коридор* 1, *коттедж* 3, *красивый дом* 1, *крупный* 1, *крыша* 3, *легенда* 1; *лес* 2, *лесок* 2, *лестница* 1, *масштаб* 1, *много места* 1, *многоэтажный* 2, *мощный* 2, *мощь* 1, *не мой* 1, *небоскреб* 2; *неуютный* 1, *облицованный* 1, *огромадный* 1, *огромный* 13, *окна* 2, *окно* 1, *особняк* 6, *печка* 1, *печь* 1, *поляна* 1, *просторный* 1, *резной* 1, *рога* 1, *роскошь* 1, *сад* 1, *светло* 1, *семь*

1, серый 1, собака 2, сруб 1, старый 1, тепло 1, теремок 2, трехэтажный 1, труба 2, тяжесть 1, улица 1, усадьба 2, устой 1, уют 1, уютно 1, фундаментальный 1, хоромы 1, цвет 1, частный дом 1, широкие 1, этаж 1*. Всего 168 реакций;

• **листочек** – Адам и Ева 1, альбом 1, белое 1, белый 7, береза 2, березовый 1, бумага 16, весна 7, ветер 1, ветка 2, вина 1, гладкий 1, город 1, грусть 1, гусеница 1, дерево 21, деревце 1, дождь 2, дорога 1, дуб 1, желтенький 3, желто-зеленый 1, желтый 3, жилки 1, закладная 1, записка 1, зачет 1, зелененький 1, зеленый 6, зелень 4, земля 1, камни 1, камыш 1, карандаш 1, квадратный 1, кленовый лист 1, клетка 1, кораблик 3, кружиться 1, лес 6, лето 2, лист 3, лист дерева 1, лист от дерева 1, листва 1, листопад 3, маленький 12, мелочь 3, молодое дерево 1, написать 1, небо 2, нежный 1, ножницы 1, нужный 1, ожидание 1, опавший 1, опадать 1, осенний 2, осень 19, осень золотая 1, падает 1, писать 3, плоское 1, поля 1, почка 2, природа 1, рвать 1, романтики 1, ручка 2, слово 1, Солнце 1, тепло 2, тетрадный 1, тетрадь 7, точка 2, тротуар 1, улица 1, упал 1, фотосинтез 1, хорошенький 3, чистый 3, шелест 2, шелестит 2. Всего 180 реакций;

• **сахарница** – sucrazit 1, ажурный 1, баночка 1, белая 4, белое 1, белый 10, белый порошок 1, большая 2, брага 1, ваза 3, варенье 1, вкусно 1, вредно 1, глубокая 1, емкость 1, желтая 1, карамель 1, квадратный 1, керамическая 1, конфетки 1, конфеты 1, кофе 1, красивая 1, круглое 1, кружка 1, крышка 1, кубик 1, лимон 1, липкая 1, лишний вес 1, ложечка 2, ложка 10, мытая 1, насыпать 1, песок 3, посуда 2, предмет 1, разбитая 1, рафинад 1, рельефный 1, самовар 1, сахар 27, сахарный песок 2, серебряная 1, синяя 1, сладкий 12, сладко 18, сладкое 2, сладости 1, сладость 6, сласть 1, слипшийся сахар 1, сосуд 1, стекло 2, сыпать 1, узор 1, фарфор 3, чай 24, чай с лимоном 1, чайная ложка 1, щипцы для сахара 1. Всего 156 реакций.

По частотности реакции расположились следующим образом:

* Реакции приводятся по алфавиту

• у существительного **домище** – большой 16, огромный 13, дом 11, деревянный 8, особняк 6, кирпич 5, высокий 4, коттедж 3, крыша 3, богатый 2, дым 2, жилье 2, здание 2, лес 2, лесок 2, многоэтажный 2, мощный 2, небоскреб 2, окна 2, собака 2, теремок 2, труба 2, усадьба 2, остальные реакции встретились лишь 1 раз: *hause*, балкон, бассейн, богатство, большая квартира, большое крыльцо, большой дом, великанище, Верхотурье, вешалка, вилла, ворота, высокое, гардероб, гигантский, громада, громадный, громоздкость, гулять, деньги, дряхлый, жилище, заброшенный, замок, здоровый, избушка, каменный, камень, камин, квартира, комната, комнаты, коридор, красивый дом, крупный, легенда, лестница, масштаб, много места, мощь, не мой, неуютный, облицованный, огромный*, окно, печка, печь, поляна, просторный, резной, рога, роскошь, сад, светло, семь, серый, сруб, старый, тепло, трехэтажный, тяжесть, улица, устои, уют, уютно, фундаментальный, хоромы, цвет, частный дом, широкие, этаж;

• у существительного **листочек** – дерево 21, осень 19, бумага 16, маленький 12, весна 7, белый 7, тетрадь 7, лес 6, зеленый 6, зелень 4, желтенький 3, желтый 3, кораблик 3, лист 3, листопад 3, мелочь 3, писать 3, хорошенький 3, чистый 3, береза 2, ветка 2, дождь 2, лето 2, небо 2, осенний 2, почка 2, ручка 2, тепло 2, точка 2, шелест 2, шелестит 2, остальные реакции встретились лишь 1 раз: *Адам и Ева*, альбом, белое, березовый, ветер, вина, гладкий, город, грусть, гусеница, деревце, дорога, дуб, желтенький, желто-зеленый, жилки, закладная, записка, зачет, зелененький, земля, камни, камыш, карандаш, квадратный, кленовый лист, клетка, кораблик, кружиться, лист дерева, лист от дерева, листва, молодое дерево, написать, нежный, ножницы, нужный, опавший, опадать, осень золотая, падает, плоское, поля, природа, рвать, романтики, слово, Солнце, тетрадный, тротуар, улица, упал, фотосинтез;

* Сохранена орфография испытуемого.

• у существительного **сахарница** – сахар 27, чай 24, сладко 18, сладкий 12, белый 10, ложка 10, сладость 6, белая 4, ваза 3, песок 3, фарфор 3, большая 2, ложечка 2, посуда 2, сахарный песок 2, сладкое 2, стекло 2, остальные реакции встретились лишь 1 раз: *sucrazit, ажурный, баночка, белое, белый порошок, брага, варенье, вкусно, вредно, глубокая, емкость, желтая, карамель, квадратный, керамическая, конфетки, конфеты, кофе, красивая, круглое, кружка, крышка, кубик, лимон, липкая, лишний вес, мытая, насыпать, предмет, разбитая, рафинад, рельефный, самовар, серебряная, синяя, сладости, сласть, слипшийся сахар, сосуд, сыпать, узор, чай с лимоном, чайная ложка, щипцы для сахара.*

Анализ приведенных выше реакций обнаружил, что все они, за редким исключением, соотносятся либо с корнем, либо с суффиксом рассматриваемых производных слов. Результаты анализа обобщены в таблицах 1 и 2. Рассмотрим их подробнее.

Таблица 1. Типы реакций на имена существительные **домище, листочек, сахарница.**

Слово-стимул	Реакции на корень			Реакции на суффикс			Всего
	структурные	семантические	итого	структурные	семантически	итого	
домище	14	114	128	2	62	64	192
листочек к (дерева) 1	10	125	135	4	26	30	165
листочек к (бумаги) 2	3	57	60	4	1	5	65
сахарница	31	133	164	0	48	48	212
Всего	58	429	487	10	137	147	634

Таблица 2. Удельный вес реакций разных типов на имена существительные **домище, листочек, сахарница.**

Слово-стимул	Реакции на корень			Реакции на суффикс			Всего
	струк	сема	ито	струк	семант	итого	

	турн ые	нтиче ские	го	турн ые	ически е		
<i>домище</i>	7,3	59,4	66,7	1,0	32,3	33,3	100%
<i>листочек (дерева) 1</i>	6,1	75,8	81,8	2,4	15,8	18,2	100%
<i>листочек (бумаги) 2</i>	4,6	87,7	92,3	6,2	1,5	7,7	100%
<i>сахарница</i>	14,6	62,7	77,3	—	22,7	22,7	100%
Всего	9,1	67,7	76,8	1,6	21,6	23,2	100%

Среди анализируемых ассоциаций (слов и словосочетаний) было мало прямых формальных (структурных) реакций на корень или суффикс: у существительного *домище* – всего 14 реакций на корень (*дом 11, большой дом 1, красивый дом 1, частный дом 1*) и 2 на суффикс (*великанище 1, жилище 1*), у *листочка** – 10 на корень (*лист 3, листопад 3, кленовый лист 1, лист дерева 1, лист от дерева 1, листа 1*) и 7 на суффикс (*жилки 1, записка 1, клетка 1, почка 2, ручка 2*)**, у *сахарницы* – 31 на корень (*сахар 27, сахарный песок 2, слипшийся сахар 1, щипцы для сахара 1*) и ни одной на суффикс.

* Существительное *листочек* многозначно. К реакциям на корень *-лист-* 1 «лист дерева» относятся: *лист 3, листопад 3, кленовый лист 1, лист дерева 1, лист от дерева 1, листа 1* (всего 10 реакций), на корень *-лист-* 2 «лист бумаги» – *лист 3* (всего 3 реакции); к реакциям на суффикс *листа 1* относятся: *жилка 1, клетка 1, почка 2* (всего 4 реакции), на суффикс *листа 2* – *записка 1, клетка 1, ручка 2* (всего 4 реакции).

** Среди приведенных существительных лишь 2 реально имеют суффикс – *к(а)*: *жилка* – *жилка* и *записать* – *записка*, причем если в слове *жилка* действительно выделяется суффикс –*к(а)* со значением уменьшительности, то у второго существительного суффикс –*к(а)* имеет иное значение – значение отглагольного действия. В остальных же субстантивах данный аффикс можно выделить только этимологически. В то же время формальная, чисто фонетическая ассоциация с рассматриваемым суффиксом у данных дериватов остается, поэтому приведенные выше субстантивы включены в разряд структурных реакций на суффикс –*к(а)*.

Большинство реакций имеет не формальное, а смысловое сходство с корневой или суффиксальной морфемами, из которых состоит слово-стимул. Рассмотрим семантические реакции на каждый стимул отдельно.

1. Семантические реакции на существительное домище. К семантическим реакциям на корень относятся 106 реакций. Они распределяются по таким группам, как:

- тип дома, жилища: *вилла 1, дом 11***, замок 1, здание 2, жилище 1, жилье 2, изба 1, коттедж 3, небоскреб 2, особняк 6, сруб 1, теремок 2, усадьба 2, хоромы 1, большой дом 1*, красивый дом 1, частный дом 1, hause 1* (всего 40 реакций);

- материал, из которого изготовлен дом: *деревянный 8, камень 1, каменный 1, кирпич 5* (всего 15 реакций);

- составная часть, элемент дома: *балкон 1, бассейн 1, большая квартира 1, большое крыльцо 1, вешалка 1, гардероб 1, камин 1, квартира 1, комнаты 1, комната 1, коридор 1, крыша 3, лестница 1, окна 2, окно 1, печь 1, печка 1, труба 2, этаж 1* (всего 23 реакции);

- разнообразные свойства, качества дома, кроме его большого размера: *богатый 2, богатство 1, деньги 1**, дряхлый 1, заброшенный 1, не мой 1, неудобный 1, облицованный 1,*

*** Существительное *дом* и словосочетания, содержащие его (*большой/красивый/частный дом*), были включены и в структурные, и в семантические реакции на корень: этого требует сама лексема *дом*, включающая интересующий нас корень; словосочетание *большой дом* и существительное *жилище* попали в реакции и на корень, и на суффикс, так как прилагательное *большой* и суффикс *-ищ(е)* манифестируют признак размера, а корни *-дом-* и *-жи-* – признаки строения, созданного человеком для жилья.

* Как уже отмечалось выше, некоторые реакции, например словосочетания, могут одновременно входить в разные группы слов – классы реакций, актуализирующих и корень, и суффикс. В словосочетании подчеркивается компонент, актуализирующий тот или иной компонент значения.

** Существительные *богатый, богатство, деньги* были отнесены к реакциям и на *дом*, и на суффикс, поскольку богатый человек, как правило, имеет дом.

резной 1, роскошь 1, светло 1, старый 1, серый 1, тепло 1, устои 1, уют 1, уютно 1, цвет 1 как потенциальное свойство дома: бесцветных домов, как правило, не бывает (всего 19 реакций);

– части и свойства пространства, окружающего дом: *Верхотурье 1, ворота 1, дым 2* (из трубы), *рога 1* (как часть домашнего животного: коровы, козы и т.п.), *сад 1, собака 2, улица 1* (всего 9 реакций).

8 лексем-реакций (*гулять 1, легенда 1, лес 2, лесок 2, поляна 1, семь 1*) можно посчитать нейтральными по отношению к анализируемым признакам либо интерпретировать как неявные реакции на корневую семантику: люди часто *гуляют* (прогуливаются) около дома; в сельской местности около дома может быть *лес*; в некотором смысле *лес* является антиподом дома: дом защищает человека, лес – в мифологии славян – враждебен ему; с *лесом* тесно связаны реакции *лесок* (небольшой лес) и *поляна* (часть леса). Числительное *семь* входит в ассоциативный ряд *семь – семья – дом*, о доме могут ходить *легенды* и т.п. Выбрано второе решение, то есть эти реакции включены в класс реакций на корень.

К семантическим реакциям на суффикс относятся 62 реакции, свидетельствующие об актуализации в сознании носителя русского языка при восприятии существительного **домище** семантики большого размера: *богатый 2, богатство 1, деньги 1* (именно богатство, деньги позволяют иметь большой дом), *большой 16, большая квартира 1, большое крыльцо 1, великанище 1, высокий 4, высокое 1, гигантский 1, громада 1, громоздкость 1, громадный 1, здоровый 1* «большой по размеру», *крупный 1, масштаб 1, много места 1, многоэтажный 2, мощный 2, мощь 1, небоскреб 2, огромный 1, огромный 13, просторный 1, трехэтажный 1, тяжесть 1, фундаментальный 1, широкие 1*.

Таким образом, производное существительное **домище** с модификационным словообразовательным значением увеличительности порождает реакции как на корень, так и на суффикс. Первых в 2 раза больше, чем вторых: соответственно 128 и 64 (см. табл. 1, 2), что свидетельствует о доминирующей роли корня **-дом-** в сознании носителя современного русского

языка при внеконтекстном предъявлении и восприятии лексемы *домище*.

2. Семантические реакции на существительное *листочек* распределяются несколько иным образом. Существительное *листочек* квалифицируется современными словарями как два омонима [Ожегов 1984:288] либо как многозначное слово [Большой ... 2001:499], поэтому семантические реакции на корень можно определить только с учетом его разных лексических значений. Условно обозначим последние как *листочек* 1 «часть дерева» и *листочек* 2 «часть бумаги, какого-либо материала».

К реакциям на *листочек* 1 отнесены: *дерево* 21, *осень* 19, *весна* 7, *лес* 6, *зеленый* 6, *зелень* 4, *желтый* 3, *лист* 3, *листопад* 3, *береза* 2, *ветка* 2, *дождь* 2, *лето* 2, *небо* 2, *осенний* 2, *почка* 2, *тепло* 2, *шелест* 2, *Адам и Ева* 1, *березовый* 1, *ветер* 1, *город* 1, *грусть* 1, *гусеница* 1, *деревце* 1, *дорога* 1, *дуб* 1, *желтенький* 1, *желто-зеленый* 1, *жилки* 1, *зелененький* 1, *земля* 1, *камни* 1, *камыш* 1, *кленовый лист* 1, *кружиться* 1, *лист дерева* 1, *лист от дерева* 1, *листва* 1, *молодое дерево* 1, *нежный* 1, *опавший* 1, *опадать* 1, *осень золотая* 1, *падает* 1, *природа* 1, *романтики* 1, *Солнце* 1, *тротуар* 1, *улица* 1, *упал* 1, *фотосинтез* 1, *шелестит* 1. Всего 125 реакций;

к реакциям на *листочек* 2: *бумага* 16, *маленький* 12, *белый* 7, *тетрадь* 7, *желтенький* 3, *кораблик* 3, *мелочь* 3; *писать* 3, *хорошенький* 3, *чистый* 3, *ручка* 2, *точка* 2, *шелестит* 2, *альбом* 1, *белое* 1, *вина* 1, *гладкий* 1; *деревце* 1, *закладная* 1, *записка* 1, *зачет* 1, *зелененький* 1, *карандаш* 1, *квадратный* 1, *клетка* 1, *написать* 1, *ножницы* 1, *нужный* 1, *ожидание* 1, *плоское* 1, *поля* 1, *рвать* 1, *слово* 1, *тетрадный* 1. Всего 87 реакций.

Разное количество реакций на 2 значения существительного *листочек*: 125 на значение «лист дерева» и примерно в 1,5 раза меньше, 87 реакций, на значение «лист бумаги» – позволяет предположить, что второе значение является менее актуальным для языкового сознания современного русского человека, в настоящее время явно доминирует значение «лист дерева». Достоверность этому выводу придает тот факт, что ассоциативный эксперимент проводился с абитуриентами, которые много пишут и в школе, и на подготовительных курсах,

поэтому для них значение «листочек бумаги» должно быть близким и актуальным, несмотря на это большинство реакций соотносится со значением «лист дерева», а не «лист бумаги».

К семантическим реакциям на корень *-лист-* 1, имеющий значение «часть дерева», относятся 125 реакций, которые распределяются по следующим группам:

- лист и его часть: *ветка* 2, *жилки* 1, *зелень* 4, *лист* 3, *листва* 1, *почка* 2 (всего 13 реакций);

- виды листьев, растения, их признаки: *береза* 2, *березовый* 1, *дерево* 21, *молодое дерево* 1, *деревце* 1, *дуб* 1, *лес* 6, *лист дерева* 1, *лист от дерева* 1, *кленовый лист* 1, *камыш* 1 (всего 37 реакций);

- свойства, признаки листьев: *желтый* 3, *желтенький* 1, *желто-зеленый* 1, *зеленый* 6, *зелененький* 1, *нежный* 1 (всего 13 реакций);

- действия, связанные с листьями: *опавший* 1, *опадать* 1, *падает* 1, *листопад* 3, *упал* 1, *кружиться* 1, *фотосинтез* 1, *шелест* 2, *шелестит* 1, **город* 1, **дорога* 1, **камни* 1, **улица* 1, **тротуар* 1, **гусеница* 1* (всего 18 реакций);

- времена года и природа, «порождающая» листья: *весна* 7, *ветер* 1, *дождь* 2, *земля* 1, *лето* 2, *небо* 2, *осень* 19, *осень золотая* 1, *осенний* 2, *природа* 1, *Солнце* 1, *тепло* 2 (всего 41 реакция);

- состояние человека, вызываемое листопадом, группы людей с таким состоянием: *грусть* 1, *романтики* 1 (всего 2 реакции);

- культурологические ассоциации, связанные с листом дерева: *Адам и Ева* 1 (всего 1 реакция).

К семантическим реакциям на суффикс в *листочке* 1 относятся следующие 26: *деревце* 1, *желтенький* 3, *зелененький* 1, *кораблик* 3, *маленький* 12, *мелочь* 3, *хорошенький* 3, в них отчетливо присутствует семантика уменьшительности,

* Выделенные существительные отнесены в эту группу, так как они связаны с действиями, совершаемыми с участием листа: например, *гусеница* может ползать по листу, есть его и т.п.; листья падают на *тротуар*, *камни*, *дорогу*, *улицу* и т.п.

небольшого размера благодаря суффиксам *-ц(е)*, *-еньк(ий)*, *-ик* и корню существительного *мелочь*.

К семантическим реакциям на корень *-лист-* 2, имеющий значение «часть материала, бумаги», относятся 57 реакций, распределяющиеся по таким группам, как:

- лист/совокупности листов разного назначения: *альбом 1*, *бумага 16*, *закладная 1*, *записка 1*, *тетрадь 7* (всего 26 реакций);

- виды листов, свойства листов бумаги: *белое 1*, *белый 7*, *гладкий 1*, *квадратный 1*, *клетка 1*, *нужный 1*, *плоское 1*, *поля 1*, *тетрадный 1* (всего 15 реакций);

- действия, производимые на листе бумаги, с листом бумаги, орудия, объекты, результаты такого действия: **вина 1* (как возможное содержание написанного на листе бумаги текста), *зачет 1*, *карандаш 1*, *кораблик 1*, *написать 1*, *ножницы 1*, *писать 3*, *рвать 1*, *ручка 2*, *слово 1*, *точка 2*, *шелестит 2* (всего 16 реакций).

К семантическим реакциям на суффикс можно отнести только одно существительное *кораблик*, в котором суффикс *-ик* манифестирует значение уменьшительности.

Таким образом, среди реакций на оба субстантива *листочек 1* и *листочек 2* (см. табл. 1 и 2) преобладают реакции на корень: у первого существительного их в 4,5 раза больше, чем реакций на суффикс (ср.: 135 и 30 реакций), у второго – в 12 раз больше (ср.: 60 и 5 реакций). Такое соотношение реакций на корневую и суффиксальную морфемы приобретает особую значимость, поскольку анализируемое существительное, как мы полагали, является более сильным модификатором, чем *домище* (см. выше), из-за двойных суффиксов со значением уменьшительности. Последнее обстоятельство теоретически могло бы повысить удельный вес реакций на суффикс, но этого не произошло: реакции на суффикс у существительного *домище* составляют 33,3%, у *листочка* – значительно меньше, только 7,7–18,2%.

3. Семантические реакции на существительное *сахарница*. К семантическим реакциям на корень относятся 133 реакции, распределяющиеся по таким группам, как:

- названия сахара: *рафинад 1*, *сахар 27*, *слипшийся сахар 1*, *sucrazit 1*, *сахарный песок 2*, *песок 3* (всего 35 реакций);

– свойства сахара и следствия, вызываемые его употреблением, особенно чрезмерным: *белое 1, белый 10, белый порошок 1, вкусно 1, вредно 1, кубик 1, лишний вес 1, сладкий 12, сладкое 2, сладко 18* (всего 48 реакций);

– продукты, содержащие сахар: *брага 1, варенье 1, карамель 1, конфеты 1, конфетки 1, сладость 6, сладости 1, сладь 1* (всего 18 реакций);

– продукты, которые употребляются с сахаром: *кофе 1, чай 24, чай с лимоном 1, лимон 1* (всего 27 реакций);

– предметы сервировки, используемые при употреблении сахара в пищу: *самовар 1, чайная ложка 1, щипцы для сахара 1* (всего 3 реакции);

– действия, связанные с употреблением сахара в пищу: *сыпать 1, насыпать 1* (всего 2 реакции).

48 реакций, актуализирующих семантику суффикса, распределяются по следующим тематическим группам:

– предмет вообще (значение, лежащее в основе словообразовательного значения суффикса *–нищ/а/*): *предмет 1* (всего 1 реакция);

– виды посуды, ее части: *баночка 1, ваза 3, емкость 1, кружка 1, крышка 1, ложка 10, ложечка 2, посуда 2, сосуд 1* (всего 22 реакции);

– материал, из которого изготовлена посуда: *керамическая 1, серебряная 1, стекло 2, фарфор 3* (всего 7 реакций);

– форма, цвет и другие свойства посуды: *ажурный 1, белая 4, большая 2, глубокая 1, желтая 1, квадратный 1, красивая 1, круглое 1, липкая 1, мытая 1, разбитая 1, рельефный 1, синяя 1, узор 1* (всего 18 реакций).

Таким образом, и у существительного *сахарница*, являющегося мутационным дериватом, преобладают реакции на корень: их 164 против 48 реакций на суффикс (табл. 1). Удельный вес реакций последнего типа у *сахарницы* (22,7%) значительно ниже, чем у модификационного производного *домище* (33,3%) (табл.2), но незначительно выше, чем у деривата *листочек* – 7,7 и 18,2% (см. табл.2).

Семантический и статистический анализ реакций на корневую и суффиксальную морфемы в дериватах разных типов: модификационных и мутационных – позволяет, на наш

взгляд, сделать вывод о явном доминировании корневой морфемы в сознании современных носителей русского языка, поскольку реакции на корень возникают у них примерно в 3 раза чаще, чем реакции на суффикс: достаточно сравнить удельный вес «корневых» (76-77%) и «суффиксальных» реакций (24-23%) (см. табл.3, 4) среди всех анализируемых – первых примерно в 3 раза больше, чем вторых.

Таблица 3. Реакции разных типов на модификационные (*домище, листочек*) и мутационные субстантивные производные (*сахарница*)

Слово- стимул	Реакции на корень			Реакции на суффикс			Всего
	струк турны е	семанти ческие	итог о	структур ные	семантически е	итог о	
Модификационные производные	27	296	323	10	93	99	422
Мутационные производные	31	133	164	0	48	48	212
Всего	58	429	487	10	137	147	634

Таблица 4. Удельный вес реакций разных типов на модификационные (*домище, листочек*) и мутационные субстантивные производные (*сахарница*)

Слово- стимул	Реакции на корень			Реакции на суффикс			Всего
	структурны е	семантические	итог о	структурны е	семантически е	итог о	
Модификационные производные	6,4	70,1	76,5	2,4	22,1	24,5	100%
Мутационные производные	14,6	62,7	77,4	-	22,6	22,6	100%
Всего	9,1	67,7	76,8	1,6	21,6	23,2	100%

Все вышесказанное делает очевидным то обстоятельство, что роль корня в языковом сознании носителя современного русского языка отличается от его роли в системе языка. В системе языка роль корневой морфемы в слове-ономатеме непостоянна: семантическая насыщенность корня колеблется от минимальной (в словах типа *звездануть, шандарахнуть,*

собачиться корень манифестирует лишь потенциальные семы лексического значения) до максимальной – способности передавать не только категориально-лексическую, но и дифференциальные семы (ср.: *провезти* «переместить (КЛС) кого-/что-л. (ДС 1) мимо чего-л. (ДС 2) быстро (ДС 3) на транспортном средстве или на себе (ДС 4). В речи же корень всегда является семантическим ядром слова независимо от того, манифестирует он категориально-лексические или только дифференциальные компоненты лексического значения слова-синтагмы.

Доминирующая роль корня в языковом сознании носителя русского языка позволяет предположить, что различия между модификационными и мутационными словообразовательными процессами не столь велики, как это представляется специалистам-теоретикам, изучающим в первую очередь систему языка: по данным проведенного ассоциативного эксперимента, носитель языка воспринимает любое производное слово прежде всего как модификацию корневой семантики производящего.

Данные ассоциативного эксперимента обладают особой значимостью и доказательностью, поскольку «русский язык, как, впрочем, и любой национальный язык, можно представить в двух формах: либо в виде совокупностей текстов (например, хрестоматий), либо в виде системных описаний (словарей и грамматик). Ассоциативно-вербальная сеть служит новым способом репрезентации языка, в котором учтены обе вышеуказанные формы» [Русский ... 1996: 6].

Данный вывод, несомненно, нуждается в дополнительной проверке на ином языковом материале, например на отглагольных дериватах: глагол и имя составляют одну из самых сильных антиномий русского языка. Аналогичные результаты подтвердят наши выводы, противоречащие полученным – заставят скорректировать их.

Литература

Лопатин В.В. и др. Современный русский язык. Теоретический курс. Словообразование. Морфология. /Под ред. Иванова В.В. М., 1989.

Словари

Русский ассоциативный словарь. В 2 т.Т.1 / Ю.Н. Караулов и др. – М., 1996.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1984.

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 2001.

©Т.В.Попова, 2004

А.В. Романов
Екатеринбург

Метафора веры

Помимо Писания, природы и истории Бог открывается в психической сфере человека посредством религиозного опыта, совести, нравственности, установки принятия мира, любви и веры, являющимися мотивационными проекциями Его неотъемлемых свойств, атрибутов.

Проблема веры относится к разряду вечных проблем, время над ней не властно. Многие говорят о наличии или отсутствии веры, о стремлении к ней, но, зачастую, речь идет о различных психических феноменах, выражаемых одним термином, о разных видах веры, или же совсем не о ней. Одномоментная замена в конце восьмидесятых атеистического сознания сознанием религиозным для многих означает лишь смену разновидности конформизма. Современная «религиозность» по своим ментальным основаниям мало чем отличается от прежнего «атеизма». Размышления о вере не могут привести ни к христианству, ни к исламу. Они направляют к тому, что составляет основу любой религии, что символизируется в образе Бога. Вера составляет стержень религиозности. Безрелигиозность, «внетезизм», не тождественны неверию. И наоборот, наличие веры, крещенциальность не предполагает религиозность.

Развитие теологии и психологии религии есть осуществление принципа, определенного Людвигом Фейербахом [Фейербах 1995]: тайна теологии заключена в антропологии. Религиозная проблема, подчеркивает Эрих Фромм, «это проблема не Бога, но проблема человека» [Фромм 1990: 50]. Учение о Боге оказывается формой антропологии. А

транслируемый в рамках традиции, культуры и выраженный в языке опыт отношения человека к Богу является предметом теологии, философии, психологии и лингвистики.

Бог в качестве объективной реальности не является предметом психологии религии. Бог для нее выступает в виде не онтологического объекта, но проективного предмета. Он существует лишь в сфере восприятия, опыта индивида или группы, в рамках смыслового контекста. Психология религии, по мысли Теодора Флурнуа, руководствуется принципом исключения трансцендентности: не утверждает и не отрицает трансцендентного существования объектов религии, объективного Бога и, игнорируя их, не рассматривает проблему вне сферы своей компетенции [Флурнуа 2001]. Восприятие, смысл и слово есть «дом бытия» Бога. Психология изучает религиозное чувство, структуры восприятия человеком Бога, а не Его объективные характеристики. Лингвистика анализирует структуры языка, проецирующие предмет психологии религии. Единственные факты для психологии – религиозные опыт, феномены вне рассмотрения их объективной истинности. В психологии онтология Бога оказывается формой феноменологии. Психология религии внетеистична. Для нее бытие Бога возможно лишь в плоскости Его корреляции с человеком – в опыте и языке. Он остается извечным символом, проецирующим человеческие ценности и мотивацию. Психология религии не создает иллюзии, а их устраняет, демифологизирует религию, вычлняя экзистенциальные, психологические основания религиозных символов, мифов, образов и предложений.

С другой стороны, все виды экзистенциальной ситуации, выраженные в таких терминах как «надежда», «страдание», «ответственность», «свобода», «смысл жизни», «выбор», «безусловность нравственности», «гуманность» выступают формой теологической проблематики – независимо от того, используется при этом понятие «Бог» или нет. Эти термины, наряду с категориями «благо», «безусловность», «гармония», «дух», «самоактуализация», «бессмертие», «совесть», выражая неотъемлемые характеристики, атрибуты Бога, независимо от теистической формы, проецируют религиозную проблематику.

Религиозный опыт издревле считается самым значительным видом человеческого опыта. Вера рассматривается в качестве последнего основания человеческого бытия. Религия, утратив свое былое значение в объяснении природы и общества, продолжает оставаться хранительницей вневременных, трансперсональных ценностей. Вера является основанием цивилизаций, шедевры человеческой культуры – проявлением и символами веры.

Во все времена существует противоречие между посланиями основателей религий и поведением их последователей. Многие выступают от лица Церкви, христианства, ислама, но дела их подчас демонстрируют отсутствие веры. Исторические уроки показывают – религиозность не только благо. Исторические формы иудаизма, ислама, христианства способствуют как добру, так и злу. Религия усиливает наши природные как положительные, так и негативные качества, стимулирует неврозы или выступает инвариантной формой психотерапии.

Многие из людей не задумываются о вере, полагая, что достаточно знают о ней и что проблема эта решена. Понимание ее большинством адекватно выражению «принять на веру», «верить в Бога», «ты показал мне и доказал - и я поверил». Для немногих это действительно требующая жизни проблема. Легче бороться за веру, чем достигнуть ее и жить сообразно с нею. Не всегда обладающий верой может о ней возвестить. Пример веры есть лучшее ее объяснение и защита.

Метафоричность веры. Все конечные и абсолютные в рамках религиозного сознания категории, такие как «Бог», «спасение», «милость Божия», «грех» в границах психологического, философского и лингвистического подходов являются символами, требующими интерпретации. Смысл их может быть воспринят только в рамках той или иной парадигмы.

Трудности изучения веры и индивидуальной религиозности определяются тем, что религиозный язык носит метафорический, символический характер. Будучи ориентированным на множественность интерпретаций, он с трудом поддается идентификации, определению смысла. Теологические проблемы остаются неразрешимыми -

пропорционально неопределенности основных религиозных категорий (или «разрешаются» в идеологически-манипулятивной плоскости). В соответствии с классическим положением Людвиг Витгенштейна периода «Трактата» [Витгенштейн 1958], если прояснить структуру языка, то все проблемы – в данном случае теологические – автоматически разрешаются.

Понятие веры грешит крайней неоднозначностью. Сегодня термин «вера», замечает Пауль Тиллих, скорее способен стать причиной заболевания, чем выздоровления. Он запутывает и порождает то скептицизм, то фанатизм, то интеллектуальное сопротивление, то эмоциональную самоотдачу, то отказ от истинной религии. «Может возникнуть искушение навсегда отбросить слово «вера», но такое вряд ли возможно» [Тиллих 1998: 132]. Первая и высшая заповедь Бога гласит: «Веруй!», но ни Бог-Отец в Ветхом завете, ни Бог-Сын в Евангелии не поясняют, как и в каком смысле возможно это сделать. В человеческой культуре понятие «вера» – одно из самых неопределенных. Чем больше возможных контекстов в понимании термина, тем более он превращается в метафору. Общее понимание веры неопределенно, многозначно, вмещает слишком далекие друг от друга явления психического. Понятие «вера» являет собой метафору. Смысл его носит неоднозначный характер и зависит от парадигмы и контекста интерпретации. При этом в рамках обыденного сознания и идеологических отношений предполагается, что это одно из самых ясных и определенных понятий.

Зачастую вера и религиозность подменяются идеологическими штампами, мифологическими видами реальности, слишком активно используемыми в современной России. Религиозность проявляется на различных уровнях, «многообразно», как говорил Вильям Джемс. Поэтому, фразы «я верую», «он религиозен» без определения контекста лишены смысла (несмотря на широту их применения). Виды реальности, транслируемые теми различными ментальными состояниями, обозначаемыми единым словом «вера», весьма отличны друг от друга. Не только категория веры, но и само её явление требует исцеления и актуализации. Термин «вера» стал непрямым

средством идеологического воздействия. Понятие «вера» вводит в заблуждение. Всё более её религиозные символы превращаются в расхожие средства манипуляции. В России становится все сложнее найти политика, государственного идеолога, которые бы не являлись «глубоко и истинно верующими». В английском языке существует три слова для обозначения разных типов веры: trust, belief и faith. В русском языке – только одно слово. Единственность термина знаменует ограниченность представляемой им «духовной»* традиции. Должно существовать несколько слов для обозначения разных ипостасей и значений Бога, веры, религии и церкви. Не может быть религии «вообще». Понятия «религия» и «Бог» вне конкретного контекста – понятия пустые и носят идеологический характер. В таковом качестве в современной России служат конкретным социальным «стратам» для формирования установок массового сознания людей в своих собственных, скрываемых интересах для идеологического обоснования существующей системы эксплуатации.

Неопределенность понятия конкурирует с широтой его использования. Его фундаментальность для языка отражает значимость в культуре. Трудно найти человека, который не считал бы себя знатоком в этой области. И, как следствие, обыденное понимание веры не просто чрезмерно распространено, оно концептуализировано. Вера относится к пограничным феноменам психики, и человеческий язык в описании ее — инструмент не слишком адекватный. Трудность заключается в невозможности перевода опыта и смыслов веры на язык обыденных и научных понятий. В познании веры философия и психология, сами оставаясь в сфере логического, должны высветить области нелогичного, сверхлогичного. Анализ веры подводит к тем мыслям и ценностям, которые со времен Орфея, Платона, Христа открываются лишь в виде метафор и мифов.

* Хотя, по замечанию А. Маслоу, выражение «духовная жизнь» режет слух ученого, и особенно психолога [Маслоу 2002]

В понимании религиозных проблем путь **здорового смысла** и интеллекта является тупиковым. Дабы претендовать на адекватность, концепция веры, должна быть достаточно безумной. Как постоянно подчеркивает ап. Павел, лишь на путях человеческого безумия обретишь истину небесного, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых [1 Кор. 1:27]. Аналитик, подобно платоновскому поэту, не обязан понимать то, что и о чем он говорит. Тем более - о чем недосказывает.

Феномен и понятие веры не могут рассматриваться однозначно и должны анализироваться в различных парадигмах.

Основные парадигмы в понимании веры. Существуют градации, типы веры. «Вера угольщика» противостоит вере ученого, вера философа отлична от веры святого. Все они обозначаются одним словом, но содержание их на уровне понятия и психического феномена различно. Специфика веры не связана с признанием действительности Бога и трансцендентного мира. Специфика ее определяется не предметом, а основанием веры – потребностями, ценностями, неврезами личности, состоянием субъекта.

Вера проявляется на различных уровнях душевного и духовного. «Искажение» смысла веры коренится в попытке свести веру к одной из этих психических функций – к эмоции, воле, авторитарно-пассивной установке, интеллекту. Выделяются несколько протоконцепций, парадигм и одновременно – последовательных этапов развития веры. Каждая парадигма объединяет как религиозных, так и светских мыслителей, как теистов, так и представителей секулярной традиции. Вера понимается в качестве теистической установки, эмоции, в качестве привычки, проявления авторитарного отношения, интеллектуального акта и абсурда. Последовательность теорий соответствует углублению уровней в осознании феномена и одновременно - этапам её актуализации.

1. Вера – теистическая установка. В рамках первой расхожей парадигмы под верой понимается мнение, информированность, убеждение - любая установка, связанная с символикой Бога и утверждением Его существования.

Предполагается, что вне веры в сверхъестественное религия невозможна. Верующий человек – это тот, кто участвует в обрядах, годичной и суточной литургии, следует традиционным религиозным нормам, регулярно посещает церковь. В обыденном сознании слово «религиозный человек» идентифицируется с понятием «верующий». Утверждается, что вне таковой религиозности, вне обращенности к Богу человек является существом бездуховным, безнравственным, неверующим, ориентированным лишь на инстинктивные, «материальные» потребности, не имеющим ни нравственного основания, ни возможности размышлять и думать о вере, о душе и её потребностях. Только священники имеют право говорить о вере, душе и морали. Вне воцерковленности ни духовность, ни нравственность невозможны. «Духовная жизнь» предполагает обращение к традиционной религии. Основа религии не может лежать в человеческой природе. Только теистический язык возможен для описания ценностей и религиозного опыта. «Сакральное» становится эксклюзивным правом официальной церкви. При этом вера и спасение не ассоциируются с трансформацией личности, воплощением таких черт как милосердие, эмпатия, принятие, любовь к дальнему, невозможности осуждать. Атеизм рассматривается в качестве морального - в максиме юридического и государственного – преступления. Вера в данной парадигме выступает критерием конфессиональной идентичности, сакрального «членства», принадлежности к той или иной религиозной общности. Вера отождествляется с приобщенностью религиозной традиции и воцерковленностью. Спасение определяется членством в конфессиональной общине. Утверждается существование «православной веры», «веры магометанской», «веры католической». Не «обрезанные», не крещенные, не принадлежащие к данной конфессиональной группе, не исполняющие её ритуалы оцениваются как «они» (в отличие от «мы»), как «чужие». И весьма «по-сектантски» звучат слова Христа у евангелиста Луки: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей... тот не может быть моим учеником» [Лк. 14:26]. «Чужие» в равной степени не достойны «спасения», вечного блаженства.

«Инославные» не достойны гуманности «правоверных». Данное понимание веры характеризует массовое конфессиональное сознание.

2. Вера – эмоция. Вера понимается как психологическая, эмоциональная сторона убеждений, показатель субъективности мнения. Убеждения основываются на доказательности и аргументированности, им сопутствует *logos*, чувства же объективных оснований лишены [Аристотель 1976]. Восприятие нимф, демонов, духовных сил определяется устойчивостью эмоциональных состояний. Вера, отмечает Давид Юм, зависит от эмоций, от приподнятости духа, сосредоточенности внимания, потому и самому ментальному акту будет присуща «большая или меньшая сила и живость» [Юм 1965]. Эти эмоции могут быть не только приятные, но и часто - причиняющие страдания и в силу этого легко становящиеся объектами веры.

Для Фридриха Шлейермахера любое чувство религиозно. Религия носит индивидуальный, личностный характер. Вера превращается в частное дело, в индивидуальный феномен, отражающий темперамент, эмоциональный склад каждой личности. Природа религии, согласно Шлейермахеру, женственна. Знания, понятия, принципы, концепции ей чужды. Она проецируется чувством абсолютной зависимости, состоит из чистых настроений. Не вера в Священное Писание, а живость его восприятия составляет основу религии. Религия, подобно музыке, алогична, не соотносима с абсолютными ценностями. Эмоции не могут быть безусловными. К эмоциональной вере неприменимы понятия истинного и ложного. Религия не связана с наукой и противостоит культуре. В чувстве она непосредственна. В своих эмоциональных проявлениях религия близка психопатологии. Нравственность противоположна «вселенной религии»: «мало религиозных чувств развилось бы из того, что применимо к этому миру» [Шлейермахер 1994: 132]. Религиозные истины в данной парадигме непосредственны, динамичны, эмоциональны. Они не претендуют на статус знания научного. Чувство, тождественное интуиции, будучи противоположным научному знанию, есть

высшее прозрение религиозных истин, в частности, истины скрытого всеединства мира.

В основе веры лежит уверенность, которую индивид испытывает «в отношении реальности объекта чувства» [Allport 1950: 99]. Вера сопутствует разумному убеждению в качестве меры психического и произвольного. В отношении ее всегда возможна другая, не менее переменчивая вера.

«Сама основа религии – вера – называется религиозным чувством», – замечает архиепископ Михаил (Мудьюгин) [Михаил 1995: 122]. Православные мистические и аскетические тексты представляют собой не теоретические и научные положения, а описания содержания религиозного переживания [Палама 1995]. Вера — это одновременно и эмоция, и понятие. Религиозный опыт сводится к переживанию. В отношении его не корректно применять критерии рациональности и научности. При этом в рамках традиции восточнохристианского исихазма яркие чувственные образы, возникающие во время молитвы, полагаются проявлением греховной «прелести» (Игнатий Брянчанинов) [Брянчанинов 1996]. В этом случае интенциональность психики определяет созерцание «бестелесного» образа, а не воплощение его в чувственных или словесных образах [Мусхелишвили, Шрейдер 1997: 85].

Устойчивые эмоциональные состояния проецируют навязчивые образы, опосредующие устойчивую для субъекта реальность. Наличие стабильных установок и действительности предполагает их осмысление и апологетическую рационализацию. Реализуясь только в эмоциональной сфере, отождествляясь с уверенностью, таковая вера далека от всеединства. Не претендуя на разумность и истинность, она допускает существование иных эмоциональных состояний.

3. Вера в качестве установки. На данном этапе развития вера (в английском языке определяемая как «belief») являет собой установку последующих восприятия, отношения и действия. Еще Томас Гоббс [Гоббс 1964] веру в Бога отождествлял с привычкой, внушенной с детства. Вера определяется воспитанием и образованием, традицией и общностью, с которой идентифицирует себя субъект. Таковая вера распространяется на основе принципа подражания.

Основной закон подражания – низшее подражает высшему [Тард 1996]. Символы конфессиональной религиозности (православие, ислам) – фактор идентификации индивида с конкретной национальной общностью и традицией, одно из оснований обретения личностной идентичности. Если мы отождествляем себя с какой-то общностью, то их религиозность становится «моей» религиозностью. В случае неидентифицированности с группой и традицией формируется феномен религиозной контркультуры, «молодежных религий».

Вера, согласно Д. Юму [Юм 1965: 198], складывается на основе повторения реакций, впечатлений и придает структурированность и устойчивость изменчивому опыту. Вера-привычка, по Юму, является субъективной основой идеи причинности. Если мы замечаем, что при множестве повторений образ огня соединяется, ассоциируется с образом тепла, а снега - с холодом, то на основе повторения опыта образуется привычка ожидать в соответствующих случаях тепло или холод. Если подносим руку к огню, то мы верим, что будет тепло. Определяемая прошлым опытом вера в привычную последовательность впечатлений лежит в основе идеи причинности.

Ощущение веры, согласно Чарльзу Пирсу, есть показатель образования привычки, определяющей действия человека. Вера есть готовность действовать вполне определенным образом, когда представится случай. Если верование известно, то способ действия выводится из неё однозначно. Вера тождественна выработанному поведенческому стереотипу. (Чем больше, к примеру, прыгаем с парашютом, тем меньше в нас сомнений и больше уверенности). Образование веры, тождественной мнению, - единственная цель действующего мышления. Сомнение характеризуется тревогой и неудовлетворенностью. Мы стремимся освободиться от него, достигая веры. «Я называю эту борьбу *исследованием*», - пишет Ч.С. Пирс [Пирс 2000: 103].

Различие конфессий определяется различием традиций и интересов групп людей, их придерживающихся. Традиции, проистекающие из единых с данной верой корней, определяют разделённость этнических общностей. То, что не соответствует

воспринятой традиции, отрицается и осуждается в качестве богохульного и греховного. Иная религиозная традиция фрустрирует, разрушая чувство удовлетворения от собственной веры. Толерантное отношение к ней исключается.

4. Авторитарная вера. У истоков авторитарного понимания веры - в английском языке обозначаемой словом «trust» - стоит Августин. Он следует как ветхозаветному: «если не поверите, не поймете» [Ис. 7:9], так и евангельскому: «верою познаем» [Евр. 11:3]. Существует два пути постижения истины, абсолюта и Бога: путь разума, научный и путь авторитета, религиозный. «По отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела разум» [Антология 1969: 594]. Veritas, истина - во всяком разумном акте, и veritas одновременно есть Бог. Следовать науке и философии трудно, это дорога для избранных. Для необразованных двигаться к истине проще посредством авторитета. Вера в авторитет, отмечает Августин, сокращает поиски истины и не требует труда. Для большинства полезнее всего верить надежному авторитету и соответственно ему вести жизнь. Чем выше и известнее авторитет, тем больше к нему доверие. Августин не способен найти источник веры в самом себе. Не поверил бы Евангелию, замечает он, если к этому не побуждал авторитет церкви. Высшая вера - вера божественному авторитету. Вера отождествляется с доверием и является мышлением с «согласия» и «одобрения». Вера-доверие имеет служебный характер. Она предваряет разумное понимание, но ниже его. Если люди ленивы и неспособны к наукам, то пусть они верят. Что человек понимает, тому верит; но не все, чему верит, он понимает. Многие вещи мы не можем знать, но все же в них полезно верить. Во времени в приобщении к истине первичен авторитет, в отношении сути явления - разум, который ведет к пониманию. Проблема веры у Августина выходит за границы религиозной проблематики. Его общая формула, озвученная позднее Ансельмом Кентерберийским: «credo, ut intelligam», «верить, чтобы понимать».

Вера в данном контексте есть доверие чужому знанию, свидетельству других людей. Вера, согласно Т. Гоббсу [Гоббс 1964], есть согласие с суждением, определяемое не собственным

интеллектом, не знанием, а доверием к источнику информации, который мы считаем достаточно опытным, авторитетным, чтобы избежать собственных ошибок.

Доказательства и собственный опыт, отмечает Джон Локк, порождают уверенность, а свидетельство других людей - доверие. Есть люди, которые много читают, но не делают успехов в познании. Знание не всегда совпадает с пониманием. При чтении знания автора не переливаются в разум читателя. Он должен стремиться понимать написанное. «Все, чему читатель доверяет без подобного восприятия, он принимает на веру» [Локк 1985].

В любой дискуссии, замечает Пьер Абеляр, следует стыдиться приводить доказательства, проистекающие от чьего-либо суждения о вещи, т.е. авторитета. Писание авторитарно лишь в силу разумности. На веру оно принимается, но не по букве, а по духу. «Нельзя уверовать в то, - замечает он, - что ты предварительно не понял» [Антология 1969: 797].

Самые, для Фрэнсиса Бэкона [Бэкон 1972], опасные в познании «идолы» - это «идолы театра». Опасность заключена в доверии традиции и авторитету больше, чем собственному интеллекту, в принятии на веру господствующих представлений без собственных размышлений.

Авторитарная вера, согласно Э. Фромму, оказывается пропуском, позволяющим примкнуть к общности людей, обладающих реальной или воображаемой силой. Таковая вера - «подпорка для тех, кто хочет обрести уверенность, кто хочет иметь готовые ответы на все поставленные жизнью вопросы, не осмеливаясь искать их самостоятельно» [Фромм 1989: 217]. Она придает чувство уверенности, освобождая человека от тяжелой участи быть независимым, самостоятельно мыслить и принимать решения. Такой человек осознает себя и воспринимается со стороны «истинно верующим». При этом Бог становится идолом. Идол - это созданная человеком вещь, на которую мы проецируем собственную силу, обедняя самих себя. Поскольку мы подчиняемся идолу, он обладает нами. «Этого идола, - подчеркивает Фромм, - можно превозносить как милосердного бога - и в то же время совершать во имя его любые жестокости» [Там же].

Без веры-доверия невозможно обучение. Мы доверяем автору учебника, преподавателю на лекции, основателю устоявшейся концепции. Авторитарная вера, вера как доверие, - в английском языке «trust» - это установка на некритическое принятие в истинном качестве всего, исходящего из источника (человек, книга, традиция), в мудрости коего убежден принимающий. В авторитарной вере внешняя зависимость от авторитета рассматривается в качестве внутренней свободы.

Основой такой веры полагается «Божественное откровение», данное не непосредственно индивиду, но транслируемое в традиции, через мнения авторитетов, в многообразных формах «Писаний». Представляющее каждую традицию Писание полагается боговдохновенным. Церковь же наделяется статусом хранительницы авторитарно представленного «Откровения». Поэтому, в парадигме авторитарности вне Церкви «спасение» невозможно.

Как показывают исследования [Структура... 1980], в языках религиозных культур преобладают пассивные обороты. Критерием сакрализации языка является отсутствие активных структур. Используя подобные формы «божественного языка», человек чувствует себя проводником божественной воли, объектом трансцендентного влияния.

Христианину, отмечает П. Тиллих, не нужно безусловно верить библейским авторам и даже не следует иметь веру в Библию. «Вера больше, чем доверие самому священному авторитету» [Тиллих 1995: 154]. Можно доверять авторам Ветхого Завета, Евангелия, Бхагавад-гиты, но нельзя верить в них.

Наивная доверчивость - начальный этап развития веры и личности. Для первичного уровня осуществления веры, замечает У. Кларк, характерен примитивный буквализм, предполагающий буквальное принятие на веру всего содержащегося в Писании [Clark 1959]. Подобный «позитивизм» в восприятии Писания характерен для фундаменталистских и культовых групп. Авторитарная вера продуцирует установки условные и не дает конечного знания [Тиллих 1995]. Авторитаризм, оставаясь фундаментом

православной традиции, соответствует архетипам русского этноса.

Авторитаризм отличается религиозной нетерпимостью, претензией на моноконфессиональное обладание истиной. Историческая церковь, по определению Ф.М. Достоевского, опирается на чудо, тайну и авторитет. Христос наряду с чудом и тайной отбрасывает авторитет как средство приобщения к Богу. Христос неавторитарен: без чинов, без «титла», не соответствует ожиданиям Мессии, бежит предметных чудес, принимает образ религиозного диссидента, сектанта и «богохульника». Авторитет - это то искушение, которое преодолевается Христом и принимается исторической церковью. Церковная идеология авторитарное повиновение, инфантильное, невротическое состояние деиндивидуализированности выдает за путь богочеловеческого.

5. Рациональная вера. Этот тип веры часто именуют «интеллектуальной», «гносеологической», «эпистемологической», «научной», «доказательной». Знания и понимание предваряют веру, которая связана с доказательствами и осознанием принятого в абсолютном качестве. П. Абеляр полагал, что вера в божественный авторитет должна основываться на разумных основаниях. Нельзя уверовать в то, что ты предварительно не понял. Сам Христос укреплял веру в Себя Писанием, разумным доказательством: не столько могуществом чудес, сколько силою слов. Формула Абеляра: «знать, понимать, чтобы верить».

Кто верит, не имея оснований, - вторит ему Д. Локк [Локк 1985], - тот увлечен собственными фантазиями. При этом он выводит веру из вероятности, проистекающей из «не вполне достоверных доводов». Для дополнения ограниченного знания могут быть использованы вероятностные по своим объективным основаниям суждения веры. Но такое дополнение оценивается не слишком высоко.

Человек более разумный и опытный, согласно Д. Юму [Юм 1965], более уверен в своих суждениях, нежели человек глупый. Отсутствие веры или неверие определяется отсутствием достаточных предпосылок для возникновения веры. Вера

отличается от убеждения мерой предыдущего опыта и доказательств.

В таковой вере («belief» – по-английски) признаются истинными суждения неочевидные, гипотетические. Это уверенность в теоретически сомнительном, в том, что имеет большую или меньшую степень вероятности. Вера возникает в условиях дефицита информации, недостатка знаний, которые восполняются в предмете веры. Это «недоразвитое», неосуществленное знание. Вера смеет рассуждать о предмете, о котором следует знать. Полнота знания устраняет веру. Уменьшение обоснованности веры превращает ее в иллюзию, увеличение – в знание. Верят в то, что выходит за пределы понимания. Т. Гоббс связывает знание с обдумыванием, расчленением предложения. Вера же – это «проглатывание», «присвоение его целиком» [Гоббс 1964]. Обосновать можно любую веру такого рода. В ее границах человек подобен младенцу, «колеблющемуся и увлекающемуся всяким ветром учения» [Еф. 4:14].

В рамках «веры-гипотезы» И. Кант [Кант 1964] выделяет, в частности, моральную веру, которая связывается не с действительным, а с должным. Ничто не может поколебать веру в Бога и загробную жизнь, пишет Кант, так как иначе были бы ниспровергнуты нравственные принципы (вспомним «если Бога нет, то все дозволено» Ф.М. Достоевского).

Концепция веры-гипотезы соответствует просветительский парадигме рационализма. Из единой методологической посылки следуют два внешне противоположных вывода. Согласно просветительно-атеистической схеме, по мере увеличения информированности, приобщения к знаниям, должно происходить вытеснение, «выдавливание» религиозной веры, или же превращение веры в убеждение. И в соответствии с парадигмой просветительно-религиозной, расширение непознанного за счет увеличения сферы знания ведет к обратному – углублению и расширению основания веры.

6. Вера-абсурд. Согласно шестой концепции (ап. Павел, Тертуллиан, Б. Паскаль, С. Кьеркегор, М. Унамуно, Н. Бердяев, о. П. Флоренский, К. Барт) сила и глубина веры определяется ее несоизмеримостью с разумом, величиной парадоксальности и

абсурда. Что соответствует формуле, приписываемой Тертуллиану: «credo, quia absurdum». Его классическая максима: «Сын Божий распят, нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения Он воскрес; это несомненно, ибо невозможно (это вероятно, ибо нелепо)». Парадоксальность и абсурдность – следствие того, что данный тип веры есть проявление «высшего интереса» (П. Тиллих), «вышей жажды субъективности» (С. Кьеркегор), соотношения трансперсональных предельных ценностей с адаптивным разумом. К примеру, мы верим в собственное бессмертие, но убеждены в обратном.

«Вера» и «религиозность», как мы видим, – понятия неопределенные. Кроме «мужества веры» существует мужество анализа того, что называется «верой». Психология религии перестает быть формой психотерапии. Она не успокаивает, не расслабляет, а призывает к ответственности и мужеству.

Литература

Антология мировой философии. В 4-х томах. Т. 1, ч.2. – М., 1969.

Аристотель. Метафизика. Сочинения в 4-х т.т. Т.1.-М., 1976.

Бэкон Ф. Сочинения в 2-х т.т. Т.2. – М., 1972.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958.

Гоббс Т. Избр. произв. в 2-х т.т., Т.1. – М., 1964.

Григорий Палама. Триады в защиту священно-
безмолвствующих. – М., 1995.

Игнатий Брянчанинов, святитель. О прелести. – СПб., 1996.

Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. – М., 1964.

Локк Д. Избранные философские произведения: В 2-х т. – Т. 2. – М., 1960.

Локк Д. Соч. в 3-х т.т. Т.1. – М., 1985.

Маслоу А. По направлению к психологии бытия. – М., 2002.

Михаил (Мудьюгин) архиепископ. Введение в основное богословие – М., 1995.

Мухелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Значение текста как внутренний образ // Вопросы психологии, 1997, № 3.

Пирс Ч. Начала прагматизма. – СПб., 2000. ©Романов А.В., 2004

«Смерть» в словаре и языковом сознании

Лексическое значение слов на протяжении длительного времени остается неизменным, в то время как личностные смыслы, т.е. значения «для меня», имеют тенденцию к большей динамике в зависимости от экстралингвистических факторов. Неслучайно тесная связь между жизнью общества и лексикой языка, на котором оно говорит, отмечается почти всеми лингвистами. Справедливым является утверждение А.Вежицкой о том, что связь, которая «относится к материальной культуре и к общественным ритуалам и установлениям, относится также к ценностям, идеалам и установкам людей и к тому, как они думают о мире и о своей жизни в этом мире» [2001: 15]. Именно под влиянием экстралингвистических факторов в языковом сознании носителей русского языка происходит формирование личностных смыслов, в результате чего лексические значения подвергаются трансформации, либо расширяясь, либо сужаясь в своем объеме.

Проиллюстрируем это утверждение. Лексическое значение слова *смерть* в разных словарях толкуется по сути одинаково: «конец земной жизни, кончина, разлучение души с телом, умиранье» (СД); «прекращение жизни» (СО); «прекращение существования человека, животного, гибель» (УССС); «окончание жизни кого-л.» (НОСС). В языковом сознании русских людей понимание смерти не столь однообразно.

Церковь трактует смерть как «христианскую кончину, мирную, безболезненную и непостыдную». Конец земной жизни – это лишь этап, после которого душа человека попадает либо в рай, либо в ад. Вопросы жизни и смерти находятся в ведении Бога. Эта точка зрения отражена и во фразеологии, так про смерть ребенка говорят: *Бог дал, Бог и взял*. Когда умирает взрослый, то говорят: *отдал Богу душу, отошел в лучший мир, его Бог прибрал*.

Носителями русского языка смерть может рассматриваться не только как логическое завершение жизни, но и как избавление от мук: *«смерть положила конец страданиям»*

(УССС), про умершего человека, который долго болел, обычно говорят, что *он отмучился*. По данным Л.Г.Гынгазовой, описывающей конкретную языковую личность диалектоносителя, «если жизнь в сознании ЯЛ ассоциируется с движением, <...> то смерть – это покой, отдых от жизни, наполненной тяжёлым трудом (отметим внутреннюю форму слова *покойник*, а также прямые высказывания ЯЛ: *Отдохну, когда умру; “Умер да и лежал бы, никому не мешал, не досажал”*). Кстати, представления о смерти как покое, отсутствии движения сближают в концептосфере ЯЛ понятийные пространства “смерть” и “сон”: *Спала, как уб’ита; Котору ночь прямо сплю, как проп’ашиша; Надо же, как убита уснула; Ой, сразу уснула, как проп’ашиша; И она умерла, так уснула, уснула и не пробудилась*» [Гынгазова 2003]. В советские атеистические времена, когда существование Бога официально опровергалось, актуализировалась персонификация *смерти*. В связи с этим интересными кажутся наблюдения Е.В.Дзюбы над поэзией М.Цветаевой. По мнению автора статьи, Цветаева, переосмысливая известные фразеологизмы, создает «олицетворенный образ Смерти-садовницы»: “...человек – растение (цветок), жизнь человека – поле (вспомним подобное соположение в пословице *Жизнь прожить – не поле перейти*), смерть человеку–растению приносит садовница (олицетворенный образ Смерти), подрезающая “цветам головки” [Дзюба 2000: 394]. В русской “прозаической” картине мира смерть не имеет столь привлекательного облика. Она предстает в качестве активного субъекта, противопоставленного человеку. Человек и смерть противоборствуют, причем победа обычно на стороне смерти. *Смерть* всегда *дожидается, встречает*, она может в любую минуту *прийти, забрать, вырвать из рядов, унести, достигнуть, выкосить*. Смерть, рассматриваемая как логическое завершение жизни, все чаще замещается смертью-наказанием, *к смерти приговаривают*. Показательными в этом отношении являются строчки из книги Ю.К.Олеши: «*Надо помнить, что смерть – это не наказание, не казнь. У меня развилось как раз такое отношение к смерти: она наказание* (выделено мной – Т.С.). *А может быть, так оно и есть?*» («Ни дня без строчки». М., 1965: 283).

Безусловно, восприятие смерти очень субъективно и зависит от многих факторов: личного жизненного опыта, возраста, особенностей мировоззрения и пр. Но, тем не менее, есть ряд закономерностей, характерных для большинства людей определенной эпохи.

Динамические процессы в восприятии смерти нашими современниками отразились в РАСе, который, как известно, базируется на ассоциациях студентов. Смерть, по данным респондентов, это *конец жизни, кончина, уход из жизни, финиш*, которая, с одной стороны, ассоциируется с *темнотой, пустотой, бесконечностью, чернотой, ужасной неизвестностью, холодным чем-то*, а с другой стороны, воспринимается как *мир душе, познание, выход, не конец*. Несмотря на двойственное восприятие смерти, негативных ассоциаций все-таки больше. Это ярко демонстрируют ассоциации-определения: смерть *страшная, глупая, черная, нелепая, тяжелая, жестокая, неизбежная, трагическая, ужасная, холодная, жуткая, коварная, кошмарная, мучительная, подлая, ходячая*. Часть этих определений выражает идею персонификации смерти, приписывая ей те признаки, которые свойственны живому существу: *глупая, коварная, подлая*; другая – содержит в себе эмоциональное восприятие смерти человеком: *страшная, трагическая, жуткая* и пр. Эмоциональное восприятие выражено и ассоциатами-существительными, называющими те эмоции, которые переживает человек: *страх, горе, ужас, грусть, жалость, оцепенение, тоска, тяжесть, шок, опустошение, одиночество*. Эмоциональная реакция неприятия смерти выражена и в ассоциациях: *не нужна, нет, зачем, не люблю, ненавижу, не хочу этого, ничего себе!, потрясла!* Стремление к отчуждению смерти проявилось в реакциях: *не думать, не надо о грустном*. И только две реакции демонстрируют иное отношение к смерти: *не пугает* и *не страшно*. Эти единичные реакции в целом не влияют на общую картину.

Любопытными оказываются данные словаря, вербализующие, если можно так выразиться, субъектов необратимого состояния (смерти). Все реакции в данной сфере можно разделить на две группы. Одна из них отражает

социокультурный фон, реакции прецедентны по своей сути, они отражают либо знание литературных источников, либо знание лозунгов и призывов, бытующих в социуме: *смерть (кого?) поэта, героя, негодяя, врага, героев, Тарелкина, Хоакина Мурьеты, Гобсека, еврея, Ивана Ильича, коммуниста, пионера, чиновника; смерть (кому?) фашистам, врагам, захватчикам, предателю, врагу, Сталину*. Вторая группа реакций носит личностный характер. Причем, интересным оказывается то, что эти все реакции в оппозиции **свое-чужое** ориентированы на чужое, разделяясь лишь на дальний и ближний круг. К дальнему кругу можно отнести такие ассоциации, как: *человека, старухи, богача, кого-то, легавым от ножа*; к ближнему кругу отнесем ассоциации: *близкого, друга, матери, родных, бабушки, дедушки, дяди, любимого, матушки, подруги, твоя, ваша*. Казалось бы, что эти ассоциации называют людей, которых принято считать своими, но мы склонны вынести эти последние реакции за пределы **своего**, так как они четко противопоставляют восприятие смерти как «не моя». А также сюда относятся реакции, называющие не людей, а живых существ, обитавших среди ближнего круга людей: *попугая, собаки*. Попытка соотнести смерть с собой порождает такие временные реакции, как *впереди, далеко, когда-нибудь*, и даже есть одна реакция, выражающая возможно подсознательное желание избежать смерти: *обмануть*.

Показательным является и изменение в языковом сознании причин смерти. Если христианское понимание смерти включает в себя такой компонент, как естественность, логичность завершения жизни, то среди ассоциаций, зафиксированных словарем, есть только три единичные реакции, соответствующие такому пониманию: *на одре, старость, в глубокой старости*.

Все остальные реакции свидетельствуют о насильственном характере смерти: *в бою, в катастрофе, в результате несчастного случая, на посту, от пожара, от раны, от яда, пуля в лоб*. И, даже в случае ненасильственной, смерть представляется не логическим завершением жизни, а преждевременной, вызванной какими-либо негативными обстоятельствами: *от жажды, от рака*.

Таким образом, смерть в языковом сознании современника выступает как персонифицированная всемогущая сущность, насильственным путем прерывающая жизнь человека и вызывающая негативные эмоциональные реакции; смерть прежде всего воспринимается как чужая, о собственной смерти стараются не думать.

Для того чтобы убедиться, что такое восприятие характерно для большинства молодых современников, был проведен свободный ассоциативный эксперимент. Школьникам (14 семиклассникам) было предложено записать ассоциации, которые у них возникают, на слово **смерть**. Обращает внимание на себя тот факт, что большинство реакций (27 из 66) обозначают атрибуты смерти: *кладбище* –5, *покойник*, *труп* –4, *гроб*, *мертвец* – 3, *траур*, *похороны*, *могила* –2, *мертвый*, *церковь* –1. Можно предположить, что объяснение этому заключается во «внешнем» восприятии этого события, в максимальной удаленности понятия *смерть* от респондентов. Косвенным подтверждением этого предположения служит то, что отмечено только три реакции, называющих носителей предикативного признака: *человек*, *бабушка*, *дедушка*. Если первая реакция базируется на общем знании, что человек смертен, то вторая и третья реакции, по-видимому, отражают личный опыт.

Второе место по количеству реакций занимают реакции, отражающие эмоциональное восприятие и переживаемое состояние (16 из 66): *страх* –5, *ужас* –2, *горе*, *холод*, *тьма*, *плач*, *слезы*, *чувство вины*, *удар*, *Меня трясет*, *Я больше не увижу этого человека* – 1. Показательным является то, что из всех эмоциональных реакций самой частотной является эмоция страха.

Из реакций, называющих причины смерти (10 из 66), только одна ассоциация с естественной смертью (*старость*), все остальные фиксируют насильственный характер смерти: *метеорит*, *катастрофа*, *убийца*, *убийство*, *гибель*. НОСС отмечает, что «слово «гибель», в отличие от своих синонимов, обозначает не просто конец жизни как таковой, но конец жизни неестественный. Это смерть, которая рассматривается как вызванная исключительно внешними факторами, а потому

незакономерная, случайная». В эту же группу правомерно отнести и глаголы *погибать*, *погиб*, так как их лексическое значение, в отличие от глагола *умирать*, указывает на неестественный характер смерти: **гибнуть – подвергаться уничтожению, гибели** (СО). Существительное *кровь* также в первую очередь ассоциируется с насилием, естественная смерть представляется бескровной.

Школьниками *смерть* трактуется как *конец, конец света, конец жизни*. «Оптимистической» реакции, свидетельствующей о признании загробной жизни, в отличие от данных РАСа, нет ни одной. Смерть четко противопоставлена жизни.

Таким образом, можно выделить те компоненты, которые объединяют респондентов РАСа и респондентов свободного ассоциативного эксперимента (школьников): попытка отстранения смерти от собственной личности, насильственный характер смерти, негативная эмоциональная реакция.

Как показывают данные, самой частотной эмоциональной реакцией на смерть среди других негативных реакций является **страх**. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, это обусловлено «высокой психологической значимостью этого понятия для русского человека» [Коновалова 2003: 102], так как «страх считается одной из основных человеческих эмоций – эмоцией, обусловленной биологической природой человека, а не культурой» [Вежицкая 2001(б): 117]; «страх смерти – один из самых глобальных и вечных страхов человечества, лежащий в основе многих верований и мировых религий» [Щербатых 2000: 76]. Любопытным является другое: все остальные эмоциональные реакции (*жалость, горе, грусть, одиночество, оцепенение, шок, тяжесть, опустошение*) возникают в связи с чужой смертью. *Страх* же – это проекция на собственную смерть. Получается «внешний парадокс»: большинство ассоциаций показывает, что респонденты не соотносят смерть с собой и при этом самой частотной является эмоция страха собственной смерти. Представляется, что этому имеется вполне логичное (и психологическое) объяснение.

Под страхом толковые словари понимают «очень сильный испуг, сильную боязнь; события, вызывающие чувство боязни, ужаса» (СО); «состояние сильной тревоги, беспокойства,

душевного смятения перед какой-либо опасностью, бедой» (МАС). Как отмечает Н.И.Коновалова, «элементы дефиниции отражают онтологическую сущность страха как отрицательной эмоции, возникшей в результате опасности, а затем спроецированной в область ожидаемых, воображаемых неприятных событий» [Коновалова 2003: 104]. И в языковом сознании русских, и в психологии страх не одномерен, в психологии существует несколько классификаций страхов по разным основаниям (более подробно см.: [Щербатых 2000]). Лингвист Ю.Степанов различает «тот» страх и «этот» страх, зафиксированные в русском языковом сознании и русской культуре. По его мнению, «Надежда Мандельштам сформулировала это очень точно: «А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой, таинственный страх перед самим бытием» [Степанов 2001: 874]. Ср. подобные рассуждения А.Вежбицкой в связи с понятием **страх** в немецком языке: “в немецкой интеллектуальной традиции, а также в господствующей немецкой “наивной” психологии в качестве “первозданного” чувства (Urgefuhl) часто рассматривается не страх (или, по-немецки, Furcht), а нечто такое, что немцы называют «Angst» и для чего в английском языке и в большинстве других европейских языков нет эквивалента» [Вежбицкая 2001(б): 117]. Разницу между мотивированным и немотивированным страхом А.Вежбицка показывает, ссылаясь на рассуждения Ратингера: “Когда ребенок должен темной ночью идти один через лес, он боится, даже если ему вполне убедительно доказали, что бояться нечего. В тот момент, когда он совсем одинок в темноте и столь глубоко ощущает свое одиночество, появляется страх, подлинный человеческий страх, не страх перед чем-то, а страх как таковой. Страх перед чем-то определенным, по существу, не может принести вреда, он может быть преодолен, если убрать соответствующий объект. Например, если кто-то боится злой собаки, можно быстро уладить дело, посадив собаку на цепь. Здесь перед нами нечто более глубокое: человек в крайней степени одиночества боится не чего-то конкретного, что можно

было бы устранить; он в большей мере чувствует страх одиночества, незащищенности и выставленности напоказ своего собственного существа, который не преодолеть рассудком» [Вежбицкая 2001(6): 55]. Близки к высказанной точке зрения и рассуждения Делюмо: «Конкретные страхи – это “поименованные страхи”.<...> Боязнь, опасение, испуг, ужас в большей мере принадлежат сфере страха (*la peur*); беспокойство, озабоченность, меланхолия – скорее к тревоге (*l'angoisse*). Первое связано с чем-то известным, второе – с неизвестным. У страха есть конкретный объект, с которым человек может столкнуться лицом к лицу. У тревоги такого объекта нет, и она переживается как тягостное ожидание опасности, тем более страшной из-за того, что она с достаточной ясностью не идентифицирована: это ощущение глобальной незащищенности» [Цит. по: Вежбицкая 2001(6): 69].

В русском языке для мотивированного и немотивированного страха нет специальных наименований. О каком же страхе идет речь в связи со смертью? С одной стороны, страх «поименован», он связан с конкретным событием – смертью. Это свидетельствует о мотивированности страха. Но, с другой стороны, смерть неустраима, что ведет к предположению о немотивированности страха. Для объяснения этого противоречия необходимо разобраться, чего же на самом деле боятся респонденты. Так как смерть является логическим, естественным завершением жизни, избежать ее никому не удастся, то, вероятно, не должно быть и страха перед неизбежным. Страх перед смертью не испытывают старые люди, они *ждут смерти, готовятся к смерти*. Вероятно, такое отношение к жизни и смерти имел в виду И.И.Мечников, создавая свое учение об ортобиозе – «такой жизни, которая заканчивается здоровой спокойной старостью, а страх смерти исчезает, уступая место чувству пресыщения жизнью и желанию смерти» [цит. по: Щербатых 2000: 77]. Показательным в этом отношении является традиционное языковое сознание, так, по данным Л.Г.Гынгазовой, описываемой ею диалектной языковой личности не свойственно чувство страха перед смертью [Гынгазова 2003]. Представляется, что не вызывает страха именно естественная и, если можно так выразиться,

своевременная смерть, являющаяся логическим завершением жизни. Молодые респонденты (студенты и школьники) такую смерть пока не соотносят с собой, она от них удалена на временной оси. Их страх вызван *преждевременным, насильственным* характером смерти; следовательно, страх вызывает не смерть как таковая, а обстоятельства смерти. Для жителей сел и деревень, а также городских жителей преклонного возраста эта причина смерти менее актуальна; для молодых жителей городов, особенно крупных, столичных, экстралингвистические факторы (криминальная ситуация в социуме) актуализируют именно этот аспект в восприятии смерти, тем самым порождая чувство страха, возможно даже бессознательное. Косвенным подтверждением этого тезиса могут служить данные социологических опросов [см.: Щербатых 2000]. Данные социологического опроса 1989 г. по выявлению наиболее актуальных страхов населения нашей страны показывают, что страхи располагаются в следующем порядке (в процентах от числа опрошенных): болезни близких – 60, войны – 48, стихийных бедствий – 42, болезней – 41, старости – 30, произвола властей – 23, боли, мучений – 19, бедности – 17, **собственной смерти** – 15. Картина актуальных страхов несколько изменилась в 1992 г. Больше всего тогда людей тревожило будущее детей, далее располагалась преступность, анархия, гражданская война, смерть и болезнь близких, потеря работы, бедность, голод, возврат к массовым репрессиям, старость, **собственная смерть**. Собственная смерть по данным и этого социологического опроса не занимает первого места, но показательным является то, что первые места занимают те социальные явления, которые приводят к смерти. Неслучайно, «на вопрос журналиста Караулова: «А вам жить не страшно?» – почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев с виноватой улыбкой признался: «Жить не страшно. Страшно в свой подъезд входить...» [цит. по: Щербатых 2000: 9].

Итак, как показали наши наблюдения, словарное значение лексемы **смерть** и воплощение его в языковом сознании молодых современников не совпадают в своем объеме. Личностные смыслы актуализируют периферийные компоненты

лексического значения: насильственный характер, преждевременность, негативное эмоциональное восприятие. Особенности восприятия смерти молодыми людьми, зафиксированные в языковом сознании, свидетельствуют об актуальности данного понятия в жизни молодежи, позволяют говорить об определенном видении действительности и объяснить динамические процессы в русской языковой картине мира.

Литература

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. - М., 2001(а).

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. - М., 2001(б).

Гынгазова Л.Г. Концепты «Жизнь» и «Смерть» в языке диалектной личности // Актуальные проблемы русистики. - Томск, 2003.

Дзюба Е.В. Трансформация фразеологизмов со значением жизни и/или смерти в поэтической речи М.И.Цветаевой // Язык. Система. Личность. - Екатеринбург, 2000.

Коновалова Н.И. Концептуальное поле «страх»: языковое выражение стереотипов сознания// Язык. Система. Личность. - Екатеринбург, 2003.

Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. - М., 2001.

Щербатых Ю. Психология страха. - М., 2000.

Словари

МАС – Словарь русского языка в 4-х томах. – М., 1984.

СД – В.Л. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах. – М., 1989.

СО – С.И. Ожегов. Словарь русского языка. –М., 1972.

РАС – Русский ассоциативный словарь /под ред. Караулова. – М., 2002.

УССС – Учебный словарь сочетаемости слов русского языка /под ред. П.Н.Денисова, В.Морковкина. –М., 1978.

НОСС – Новый объяснительный словарь синонимов / под ред. Ю.Д.Апресьяна. –М., 1995.

©Стексова Т.И., 2004

А.П.Чудинов
Екатеринбург

**Национальная ментальность и метафорическое
моделирование политических событий**

В последнее десятилетие неоднократно обнаруживалось, что народы России и Соединенных Штатов применяли метанормативные критерии «справедливой войны» [Апресян 2002] по отношению к разным сторонам, участвовавшим в локальных вооруженных конфликтах. Это трагическое непонимание позиций друг друга наиболее ярко выразилось при оценке боевых действий в Югославии, Ираке и Чечне. Примером может служить такой факт: абсолютное большинство граждан и все крупные политические партии России осуждали *кровавый антисербский террор албанских сепаратистов в Косово и варварские бомбардировки мирных городов Югославии*. А вот в большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах общественное мнение было на стороне *жертвы режима Милошевича — свободолюбивого албанского народа, которому оказали помощь доблестные войска НАТО*. Очевидно, что обычный человек не в состоянии объективно разобраться в причинах межнациональных конфликтов. Ему «помогают» в этом профессиональные политики и журналисты. А одна из задач когнитивной лингвистики — выявить пути воздействия на общественное мнение, способы концептуализации и переконцептуализации политической действительности в национальном сознании [Паршин 2001; Чудинов 2003]. Исследование факторов, воздействующих на

общественное мнение той или страны, — проблема многоаспектная. Один из важных путей ее решения — это когнитивное изучение способов метафорического оправдания (или осуждения) войны, то есть способов образного объяснения того, почему данные боевые действия с моральной точки зрения необходимы и законны или же, наоборот, аморальны и незаконны. Такое исследование должно быть проведено с учетом общей роли метафор в политическом дискурсе России и Соединенных Штатов.

В современном политическом дискурсе метафора стала мощным средством концептуального воздействия на общество. Например, в когнитивном исследовании Дж. Лакоффа [Lakoff 1991] показано, как правительство США и поддерживающие его средства массовой информации при помощи специальной системы концептуальных метафор внедряли в сознание американского народа (и всего мирового сообщества) мысль о том, что военные действия Соединенных Штатов против режима Саддама Хусейна в Ираке этически безупречны. Основной аргумент — это борьба против кровавого тирана, совершившего неспровоцированный акт агрессии против народа Кувейта. В этой же публикации рассматриваются метафорические аргументы, используемые в Ираке для осуждения вмешательства США во внутренние дела арабских стран и помощи тоталитарному режиму в Кувейте. Для арабов отношения между Ираком и Кувейтом — это внутрисемейные отношения между братьями, которые в какой-то ситуации могут поссориться, но не имеют права призывать в такой ситуации посторонних в качестве защитника или судьи. К тому же Ирак — это старший брат, который по арабским традициям имеет полное право требовать послушания от младшего. Для арабов Америка — это чужестранец (и к тому же иноверец), пытающийся вмешаться во внутрисемейные отношения арабов. Для американских лидеров отношения между Кувейтом и Ираком — это отношения между наглым разбойником и мирным обывателем, которому, к счастью, приходит на помощь его старый надежный друг — доблестный полицейский. Как отмечает Дж. Лакофф [Lakoff, 1991], взаимное непонимание между американцами и арабами во время первой войны в

Персидском заливе во многом объясняется различной ролью ряда концептуальных метафор в национальном сознании. Используемые американскими политиками для оправдания своих действий метафорические образы оказались убедительными для большинства европейцев и американцев, но на жителей Ближнего Востока большее впечатление производили метафоры сторонников Саддама Хусейна.

К не менее интересным и важным результатам могло бы привести сопоставление метафорического моделирования балканских событий в российском и американском политическом дискурсе. Оказывается, что и американская, и российская системы представления событий в Югославии вполне соответствуют рассмотренной Дж. Лакоффом метафорической схеме «*Злодей — Жертва — Доблестный спаситель*». Но *Злодей* и *Жертва* в политическом дискурсе США и России меняются местами: для американцев *Злодей* — сербы, а *Невинная жертва* — албанцы; а в освещении российской прессы все наоборот: *Злодей* — албанцы, а *Невинная жертва* — сербы. Соответственно в роли *Доблестного спасителя* в европейской и американской метафорической картине мира выступали войска НАТО, тогда как в представлении наших политиков и большинства журналистов эту роль должны были сыграть российские воины. Похоже, что российский взгляд на распределение ролей оказался под сильным влиянием метафоры родства: наши братья по крови и религии, конечно, больше подходят на роль жертвы, чем на роль злодея. Скорее всего, реальность не соответствует ни той, ни другой схеме: обе конфликтующие стороны были одновременно и жертвой, и злодеем, а натовские генералы, возможно, думали о демонстрации своей мощи больше, чем о спасении невинной жертвы.

Показательно, что при характеристике положения дел в Югославии российские средства массовой информации постоянно использовали концептуальную метафору **РУССКИЕ И СЕРБЫ — БРАТЬЯ**. Как известно, использование метафоры родства — мощное средство переконцептуализации политической картины мира. Вместо общепризнанных в цивилизованном мире принципов межгосударственных

отношений (невмешательство во внутренние дела, выполнение решений международных организаций, уважение прав человека и др.) к отношениям между Россией и Югославией метафорически применяется модель внутрисемейных отношений. А эти отношения регулируются не столько законами, сколько традиционными представлениями о том, как должны поступать родственники в тех или иных ситуациях. Все члены семьи — это «свои», и при необходимости они должны совместно противостоять «чужим»; в соответствии с семейной этикой на защиту «своего» надо становиться вне зависимости от того, прав он или нет; «своим» надо помогать бескорыстно, не задумываясь при этом о материальных издержках и взаимоотношениях с «чужими».

Удивляет сам способ метафорического выявления «братьев». По используемой логике, сербы — это наши братья, потому что все мы славяне. И Россия просто обязана им помогать. А вот католики-хорваты и мусульмане-боснийцы для нас уже не совсем братья, во всяком случае, менее близкие родственники, чем православные сербы. Иначе говоря, при выявлении «братьев» используется еще и конфессиональный критерий. При этом как бы забывается, что в России живут не только славяне и не только православные. Например, российским татарам-мусульманам братья по вере скорее боснийцы и албанцы. А у татар-атеистов на раздираемых религиозными войнами Балканах вообще нет близких родственников.

При оценке роли рассматриваемой модели следует учитывать, что метафора родства — одна из наиболее традиционных для российского политического дискурса. В соответствии с этой моделью отношения между государством и гражданами, между лидером страны (царем, президентом, генеральным секретарем и др.) и народом концептуально представляются как отношения в семье, члены которой ощущают кровную связь между собой и душевную привязанность друг к другу. Точно так же представляются отношения между славянскими странами и между православными народами. Эти метафоры, по существу, неистребимы в российском сознании. Метафора родства широко использовалась еще в политической коммуникации Российской

империи (*Россия — это мать, Москва-матушка, царь-батюшка, императрица-матушка, соответственно подданные — это дети, «возлюбленные чада», все славяне — братья, православные народы тоже братья*).

В советскую эпоху рассматриваемая модель была приведена в соответствие с новыми идеологическими потребностями. Так, место братьев по вере и крови (православных и славянских народов) заняли «братья по классу» (пролетарии всех стран) и идеологии. Обновился и круг народов, состоящих в близкородственных связях: в популярной песне середины прошлого века ведущую роль играла метафора «русский с китайцем — братья навек». В число наших братьев были включены также вьетнамцы, монголы, индонезийцы, некоторые арабы и негры из Ганы. Одновременно были обнаружены и другие родственные связи: как сформулировал В. В. Маяковский, «Партия и Ленин — *близнецы-братья*». В других случаях Ленин предстал уже как *дедушка*, а юные пионеры назывались его *внуками*. Сталин постоянно именовался *отцом народов*, тогда как Горбачев оказался *отцом* только «перестройки» (и одновременно ее *прорабом*), а Ельцин — просто *дедушкой и главой семьи*, которую называли мафиозной.

Каждый новый этап развития политического дискурса приносит изменения в закономерности развертывания рассматриваемой модели. Ведущая концептуальная метафора времен Л. И. Брежнева — это большая *семья братских народов* (а также *братских партий*), каждый рядовой (и не только рядовой) член которой испытывает *сыновьи* чувства в ответ на *отеческую* (и одновременно *материнскую*, одним словом, *родительскую*) заботу Коммунистической партии и Советского правительства. В последнее десятилетие XX века оппозиция много говорила о том, что государством управляет некая «семья», главой которой является сам президент. Одновременно крестные отцы, паханы, братки, семьи и кланы обнаружились и в среде политиков. В результате традиционная метафора родства объединялась с криминальной метафорой, которая тоже имеет в нашей стране многовековую историю.

В современных текстах встречается и метафорическое использование лексики родства в соответствии с

традиционными моделями. Так, один из постоянных аргументов противников продажи земли состоит в том, что «*Земля — мать, а мать продавать нельзя*». Ср. также:

Мы все говорим, что после матери *вторая мать* — деревня (Н. Харитонов); Мы (русские, украинцы и белорусы) были непобедимы, когда были вместе. У нас общие корни, мы — *единая семья* (В. Путин).

Кстати, обратим внимание: наш президент в данном случае включил в «единую» семью только восточнославянские народы.

Значительное место в современной российской политической метафоре занимает образное представление союза страны и ее официального лидера. Президентские выборы могут метафорически обозначаться как *обручение*, последующий период — как *предсвадебный*, вновь избранный президент и страна — как *жених и невеста*, инаугурация — как *вступление в брак*, а первые сто дней после нее — как *медовый месяц*. Предложение занять важный государственный пост в нашей стране нередко называется *сватанье* (*сватовство*).

Для американского политического дискурса метафора родства мало характерна, а поэтому российские метафорические аргументы не производят должного впечатления в США. Для американцев гипотетическое и даже вполне реальное кровное родство — это не причина для оказания материальной и тем более военной помощи. Как показал Дж. Лакофф, в Америке особенно действенны метафоры болезни и здоровья, финансовые и спортивные метафоры, образы отвечающего за порядок полицейского, представление войны как продолжения политики (метафора Карла Клаузевица) и др. В американской ментальности президент — это своего рода наемный служащий, который подписывает контракт с народом-работодателем. А если президент Милошевич или президент Саддам Хусейн нарушают условия контракта, то они — преступники. Для американцев Югославия — это больной организм, который вынуждены лечить натовские доктора, или нарушающий порядок гражданин, которого вынужден призвать к порядку доблестный полицейский Дядя Сэм.

Однако американские метафоры сохранения здоровья, экономической выгоды и справедливого полицейского плохо

воспринимаются в России. Такова уж наша национальная ментальность, что о своем здоровье мы начинаем думать, когда его уже не осталось. Мы считаем неприличным говорить об экономической выгоде, особенно если это касается политических связей с «братьями». А уж «справедливый милиционер» — это для значительной части наших соотечественников просто оксюморон.

С другой стороны, в российской политической (и бытовой) метафоре постоянно присутствуют криминальные образы, причем далеко не всегда они имеют негативную окраску. *Разбойник* и даже *бандит* — это у нас едва ли не похвала, а такие слова, как *разборка*, *разводить*, *мочить*, судя по всему, превращаются в обычные термины политической сферы. Очевидно, что такие метафоры совершенно недоступны американскому политическому сознанию.

В некоторых других случаях концептуальные метафоры русских и американцев на первый взгляд очень похожи, но пониманию мешают детали. Примером может служить концептуальная метафора **ОБЩЕСТВО — это ДОМ**. Хорошо известно, что *Дом* — важнейший культурный концепт в человеческом сознании, это традиционный для мировой культуры источник метафорической экспансии. Так, Н. Д. Арутюнова отмечает: «Со времен Маркса стало принято представлять себе общество как некоторое здание, строение... Эта метафора позволяет выделить в обществе базис (фундамент), различные структуры (инфраструктуры, надстройки), несущие опоры, блоки, иерархические лестницы» [Теория метафоры 1990: 14—15]. Подобные метафоры широко распространены и в отечественной политической речи. Приведем несколько примеров:

Фундамент общества — возрождение крестьянства (А. Руцкой); Задумайтесь, какую крышу нам обещает Черномырдин? (Б. Федоров); К экономическому краху и обнищанию мы пришли из-за раскрытых настежь границ. Разве можно говорить о порядке в доме, если нет в доме дверей и замков? (В. Жириновский).

Метафоры данной сферы, как правило, производят впечатление убедительности, соответствия изображаемой

картины очевидным правилам мироустройства. Рассмотренные выше образы, видимо, относятся к общечеловеческим, но в этой сфере существуют собственно русские метафоры, образы, отражающие именно наше социальное сознание. В современном массовом российском сознании **ДОМ** — это вовсе не деревенская изба или собственный коттедж, а многоэтажное здание со множеством квартир, причем квартиры эти часто бывают коммунальными. Образ коммунальной квартиры оказался удивительно подходящим для метафорического обозначения всевозможных политических конфликтов. Ср.:

И у Косово, и у Чечни есть сходство с коммунальной квартирой.

К жарким баталиям на коммунальной кухне нам не привыкать — хоть со сковородками, хоть с минометами. А что способно решить квартирную проблему? Только расселение. Иначе «соседи» все равно будут лупить сковородками друг друга или «разводящих» (Б. Мурадов); Мир маленький, и в этом сообществе квартир мы должны жить в мире и не гадить друг другу в кастрюли (К. Боровой).

Можно предположить, что в системе американских политических метафор **ДОМ** — это не многоэтажная коммуналка, а жилище для одной семьи, это собственность семьи, ее крепость и вместе с тем показатель солидности, состоятельности. Поэтому российские «коммунальные» метафоры при переводе, ориентированном на американцев, требуют специального лингвокультурологического комментария.

Еще одной чертой современной российской политической метафоры является распространенность монархических образов. Такая метафора в соответствии с национальными традициями представляет главу государства как пользующегося абсолютной властью монарха, «помазанника Божия», а структуру государственной власти — как своего рода феодальную иерархию, в которой существуют не только царь, но и наследник престола, разнообразные феодалы (удельные князья, региональные бароны и др.), императорский двор, свита. Атрибутами государственной власти по-прежнему служат трон, мантия, скипетр и корона. Возможно, у нашего народа до сих

пор существует потребность в ниспосланном свыше сильным правителе, который должен быть эталоном совести и высшей справедливости, действовать уверенно и решительно, не обращая внимания на сомнения и формальности.

Показательно, что безграничная власть, возможность постоянно быть на виду, любовь, почитание, поклонение народа сближают президента с образом святого, усиливая эмоциональный эффект, направленный на создание образа «безупречности» и «всемогущества». Президент предстает как *мессия, небожитель, патриарх, помазанник Божий, носитель таинства верховной власти*, чью личность *канонизируют* и чье имя стремятся *не упоминать всуе*. Ср.:

В указе и. о. Президента Владимира Путина нашему ушедшему «небожителю» гарантированы царские привилегии (Р. Колчанов); Путин уже фактически глава государства, носитель таинства верховной власти, которая всегда вызывала у немалой части россиян чувство священного обожания (В. Никонов); Похоже, что процесс канонизации личности и. о. президента вовсю набирает обороты (В. Авербух, Д. Владимиров); Нет смысла преувеличивать мистически-христианские пружины путинского назначения на рубеже тысячелетий как якобы приход мессии, призванного остановить крах православия как глобального фактора (П. Богомолов).

Деятельность святого нет смысла обсуждать, его понимание не всегда доступно простому смертному, в него надо верить, он способен творить чудеса.

В российской традиции обладатель верховной власти представляется как полновластный хозяин страны. Российский президент часто метафорически обозначается как *хозяин, барин*, который самовластно управляет государством. Ср.:

То, с какой охотой губернаторы и разномастные партийцы, деятели искусств, истомившиеся в ожидании нового Хозяина, припали к руке свежее испеченного кандидата... свидетельствует об одном: Россия так и осталась страной, психологически способной воспринять культ (П. Вощанов); О нем [Ельцине] писали как о барине-самодуре, разорившем имение, запутавшемся в долгах, уморившем скот и людей и постоянно

меняющем управляющих, на которых он и валил свое банкротство (Р. Медведев).

Ближайшее окружение президента, его помощники номинируются как *бояре, аристократия, двор, придворная свита, дворцовый коллектив, слуги* и просто как *холуи*. Основное отличие такой системы власти состоит в том, что демократически назначенный министр несет ответственность перед народом и парламентом как выразителем интересов избирателей. Метафора подчеркивает, что в России важнейшие решения принимаются совсем в иных условиях, а главное достоинство приближенного — личная преданность монарху. Ср.:

Назначенный губернатор всегда будет стараться угодить не жителям региона, а *придворной свите*, от которой зависит, останется он на своем посту или нет (Е. Савостьянов); Ельцин раз в году появлялся на людях, окруженный *холуями и придворными*, давая понять, кто царь на Руси (А. Проханов); Фактически и. о. царя страны предлагается собрать *бояр* и по-годуновски долго выпрашивать собственной легитимности (В. Константинов).

Как известно, в Российской империи значительное место в системе власти занимала «императорская фамилия»: *императрица, императрица-мать, великие князья, княгини и княжны*. Ближайшие родственники императора часто назначались на важные официальные должности (что нередко осуждалось противниками режима), но не сама по себе должность (или ее отсутствие) определяла степень влияния члена императорской семьи. При чтении современной российской прессы может создаться впечатление, что с тех пор мало что изменилось. Ср.:

Демократический царь создал под себя византийскую систему управления: Двор и *Семья* «разруливали» ситуацию лучше системы взаимодействия ветвей власти (С. Бабаева, Г. Бовт); Специалисты по коридорам власти в таких случаях советуют обращаться не в правительство, а к *младшей дочери президента*. Это вернее (В. Горунов); Известно, что в Москве, в Кремле все решает *«семья»*, и здесь то же. Клан, который сформировал Руцкой (Н. Иванов).

В соответствии с логикой развертывания рассматриваемой модели периферийная политическая элита (руководители субъектов Федерации и др.) может метафорически обозначаться как *удельные князья, региональные бароны, воеводы, феодалы, наместники государя, помещики*. В других контекстах в качестве звеньев феодальной иерархии выступают важные государственные чиновники, руководители крупных компаний, СМИ, банков и иных подобных структур. Ср.:

Путин бьется за диктатуру закона и даже не подозревает, что уральские князьки такой ножичек у него за спиной точат (Ф. Сергеев); Упреки Москвы в адрес воевод-жуликов не выглядят особенно убедительными (М. Ростовский); Я лично с трудом представляю его [Степашина] себе в Совете Федераций среди заседающих там акул-феодалов (В. Крупнов); Гусинский стал первым в России медиабароном (С. Богданов);

При изучении представленного материала становится понятным, почему так легко провести метафорическую параллель между президентом и царем, между свободными гражданами демократической страны и подданными самодержца. Неограниченная власть монарха, осознание своего могущества, отдаленность от народа, неведение или нежелание проникнуться его бедами, проблемами, придворные интриги ассоциируются в нашем сознании с президентскими полномочиями и привилегиями, «закулисной» жизнью в кулуарах власти, зачастую с равнодушным отношением к избирателям. Но в российском национальном сознании упорно сохраняется «идеальная» политическая ситуация в монархической стране: к власти приходит разумный, деятельный, осознающий свою ответственность правитель, на которого, видимо, до сих пор уповает русский народ. Содержащиеся в сознании избирателей представления вербализуются в концептуальной метафоре.

Важно подчеркнуть, что концептуальная политическая метафора отражает национальное сознание и существующие в данной стране представления о структуре государственной власти. В частности, при сопоставлении агитационно-политического дискурса президентских кампаний в Америке и России обращает на себя внимание тот факт, что в средствах

массовой информации США интересующая нас метафорическая модель, по существу, не используется. Президент «Нового света» может быть представлен как *commander-in-chief* ‘главнокомандующий’, *prizefighter* ‘боксер-профессионал’, *the leading man* ‘исполнитель главной роли’, *hero* ‘герой’ и т. д. [Каслова 2002, 2003]. Это свидетельствует о том, что в сознании американского народа верховная власть Соединенных Штатов ассоциативно не связана с монархической системой управления. Президент для американцев — это не монарх, святой или полновластный владетель страны, а нанятый народом управляющий, ведущий в бой командир или исполнитель главной роли в политическом спектакле. Таким образом, рассмотренная в данной статье концептуальная метафора является специфичной для российских текстов предвыборной агитации и не представлена ни одним наименованием в американском политическом дискурсе. Однако если речь в американских СМИ заходит о российской президентской кампании, то монархическая метафора оказывается достаточно продуктивной. Для номинации основных кандидатов на пост главы российского государства в современной американской политической речи часто используются следующие метафоры: *a new Russian tsar* ‘новый русский царь’, *an inheritor* ‘наследник’, *the Russian strongman* ‘русский властитель’, *President of all Russia* ‘президент всея Руси’ [Каслова 2002, 2003].

Представленные материалы свидетельствуют, что феодальная сфера занимает важное место среди источников метафорической экспансии в политическом дискурсе современной России, а для ее ведущих фреймов легко находятся аналоги в современной политической действительности. Но подобная метафора в силу известных культурно-исторических причин совершенно нетипична для американского политического дискурса, в котором президент — это не «помазанник Божий», а назначенный народом главный менеджер, предводитель армии или исполнитель ведущей роли в политическом спектакле. Отметим также, что феодальная метафора совершенно нехарактерна и для британского политического дискурса, несмотря на то, что номинальным главой государства является отнюдь не метафорический монарх

и образы двора, свиты и королевской семьи также, естественно, не метафорические. Для британского сознания монарх — это символ единства нации, освященный многовековыми традициями.

В целом когнитивно-дискурсивный анализ показывает, что представленные в современном российском политическом дискурсе метафорические модели в одних своих аспектах отражают национальную культуру и национальный менталитет, в других — типичны для «западного» (европейско-американского) культурного пространства, а в третьих — имеют общечеловеческий характер. Эти метафоры, с одной стороны, традиционны, связаны с историей развития российского общества и русского языка, а с другой — тесно связаны с текущей политической ситуацией, погружены в дискурс.

Метафора относится к числу тех феноменов, в которых наиболее ярко проявляется «душа народа», его ментальный мир. Сопоставительное когнитивно-дискурсивное исследование метафорических моделей, используемых в политическом дискурсе различных стран, позволяет точнее разграничить национальные и общечеловеческие черты метафорического мышления, дифференцировать феномены, связанные с языком, на котором создается текст, и явления, зависящие от национальной ментальности, социально-исторических факторов и конкретной политической ситуации.

Литература

Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Полис, 2002, № 3.

Арутюнова Н. Д. Введение // Теория метафоры: Сб./ Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. - М., 1990.

Каслова А.А. Монархическая метафора в дискурсе российских президентских выборов // Эстетические и лингвистические аспекты анализа текста и речи. - Соликамск, 2002.

Каслова А.А. Метафорическое моделирование в политическом нарративе «Федеральные выборы» в США и России (2000 г.). Автореф... дис. канд. филол. наук. - Екатеринбург, 2003.

Паришин П.Б. Исследовательские практики, предмет и методы политической лингвистики // Scripta linguisticae applicatae. Проблемы прикладной лингвистики. - М., 2001.

Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. - Екатеринбург, 2003.

Lakoff G. Metaphor and war: The metaphor system used to justify War in the Galf // D.Yallet (ed.). Engulfed in War: Just War and the Persian Gulf. - Honolulu, 1991.

©Чудинов А.П., 2004

Д. Р. Шарафутдинов
Екатеринбург

**Образ “кавказцев” в современной русской национальной
ментальности и его отражение в новой этнографической
“терминологии”**

В коммуникативной практике многих носителей современного русского языка, в том числе в политическом дискурсе, в последние 10-15 лет чрезвычайно широкое

распространение получила специфическая новая этнографическая, этнолингвистическая и антропологическая “терминология” типа *лицо кавказской национальности* или даже *лицо азиатской (восточной, южной) национальности / внешности* (а также почти противоположное по значению *человек славянской внешности*) и т.п. Появившиеся в канцеляарско-чиновничьем подъязыке (прежде всего в официальных высказываниях сотрудников правоохранительных органов), подобные выражения затем покинули ту социально-коммуникативную сферу, которой обязаны своим происхождением, и быстро распространились в различных регистрах современной русской речи. Этот феномен обусловлен двумя основными причинами: во-первых, малой степенью осведомленности как истеблишмента, так и населения в целом в вопросах лингвистики, этнографии, антропологии и культурологии; во-вторых, совершенно определенными “антикавказскими” политическими мотивами и установками. В 90-е годы обсуждаемые фразеологизированные сочетания постоянно и массово употреблялись многими политическими деятелями, должностными лицами, журналистами, да и просто рядовыми носителями языка, причем отнюдь не только представителями малообразованной просторечной среды. В то же время эти единицы и их использование подвергались довольно жесткой критике со стороны лингвистов, этнографов, культурологов и специалистов в других областях гуманитарного знания, а также из уст некоторых общественных деятелей, людей высокого уровня духовной культуры и образованности. Естественным образом употребление данных выражений не оставляло равнодушными и самих представителей кавказских этносов.

В последние годы использование этих словосочетаний приобрело своеобразный социально-символический характер. Употребление / неупотребление их стало социально обусловленным знаковым речевым действием и специфической лингвосоциологической приметой (маркером) — показателем принадлежности индивида к определенному социокультурному слою. В настоящее время в среде гуманитарной интеллигенции, культурной элиты общества; в сферах публичной политики и

политической журналистики использование рассматриваемых единиц в речи воспринимается преимущественно как проявление дурного языкового вкуса и невысокого уровня общей культуры и воспитанности. Человек, претендующий на реальный статус интеллигента с тонким языковым чутьем и вкусом, принципиально не должен допускать их к употреблению (а формирующий лишь соответствующий имидж — к публичному употреблению). В общении людей высококультурных и интеллигентных обсуждаемые выражения могут сознательно использоваться лишь в рамках языковой игры, в ироническом ключе (например, в ситуации игрового “самоопределения” говорящего: “Я сам наполовину *лицо кавказской национальности*”). Вместе с тем, для многих представителей других социокультурных групп они остаются вполне актуальными, функциональными и даже привлекательными в силу их “официального” характера.

Люди, “нейтрально” употребляющие подобные “клише”, мало задумываются об их содержательных особенностях. Между тем, содержательные планы формул *лицо кавказской национальности* и *человек славянской внешности* “устроены” весьма нетривиально. Первая вроде бы манифестирует этнический признак индивида (“национальность”), вторая — антропологический, фенотипический признак (“внешность”). Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что оба выражения в этнографическом и в антропологическом отношениях соответственно носят квазиинформативный, “фантомный” характер и содержат внутренние противоречия.

Нет необходимости сегодня доказывать принципиальное отсутствие пресловутой “кавказской” национальности как таковой: на Кавказе проживают десятки этносов, причем отнюдь не только близкородственных; это настоящий конгломерат народов и языков, религий и культурных традиций. Рассматриваемые устойчивые формулы воплощают образы социальной мифологии современного российского общества.

Словосочетание *лицо кавказской национальности* может иметь различные содержательные интерпретации, но в любом случае не выдерживает последовательной этнолингвистической критики. Если данное выражение обозначает представителей

всех этносов, населяющих Большой Кавказ, то в этом случае оно в полной мере касается и проживающих там русских, в том числе терских и кубанских казаков, что явно не соответствует сложившейся традиции его употребления. Если же под ним имеются в виду представители лишь коренных, исконных **кавказских** этносов, которые говорят на языках автохтонных **кавказских** языковых семей (картвельской, абхазо-адыгской и нахско-дагестанской), распространенных только на Кавказе, то в таком случае оно неприменимо, например, к армянам, осетинам, татам (индоевропейская языковая семья) или к азербайджанцам, карачаевцам, балкарцам (тюркская семья), что также не отвечает интенциям тех, кто его употребляет. По-видимому, формула *лицо кавказской национальности* отражает интуитивное собирательное представление в массовом сознании как раз об определенных **антропологических** характеристиках — некоем типовом внешнем облике неславянских жителей Кавказа вообще.

Следует иметь в виду, что, с одной стороны, на территории Кавказа живут (причем веками) не только так определяемые “лица кавказской национальности”, а с другой стороны, сами “кавказцы” проживают (и тоже веками) не только на Кавказе и как внутри, так и за его пределами имеют разное этническое самосознание и различные антропологические приметы. Существуют многочисленные примеры самых разных комбинаций соответствующих признаков. Так, известный российский актер Дмитрий Харатьян в плане национальной принадлежности определяет себя как армянина, однако в этом случае едва ли кто-либо может применить выражение *лицо кавказской национальности*.

Очевидно, что рассматриваемая единица возникла отнюдь не на “пустом месте”: отчасти она реализует модель построения широко распространенного в свое время устойчивого сочетания *лицо еврейской национальности* (и наследует стилистические и этические характеристики последнего) с той принципиальной разницей, что в ней грамматические формы единственного числа логически неуместны: не существует некоей **единой** кавказской национальности.

Еще менее содержательны выражения типа *человек славянской внешности*. Вообще говоря, так называемая “славянская внешность” (как и “азиатская”, “восточная”, “южная” и т. п.) чрезвычайно разнообразна. Ср., например, антропологические характеристики этнических русских — типичных представителей Русского Севера (например, архангельских поморов) и Русского Юга (например, терских казаков); а тем более, представителей северных и южных групп в рамках славянского мира в целом (например, белорусов и болгар). На индивидуальном уровне неспециалисту может быть очень трудно различить в этом отношении внешне подобных представителей славян и неславянских европейских народов (например, поморов и балтийцев, болгар и греков и т. п.).

Принципиально то же касается и внешнего облика “кавказцев”. Он также может быть совершенно различным и во многих случаях вполне сходным с типовыми чертами других этносов, в частности, населяющих Северное и Восточное Средиземноморье.

Несмотря на очевидную смысловую нелепость, нелогичность, анализируемые выражения воспроизводятся значительной частью носителей русского языка весьма активно, регулярно, широко и, что наиболее важно, вполне эффективно. При употреблении рассматриваемых единиц каких-либо серьезных коммуникативных неудач, “сбоев” в общении, как правило, не происходит. Обусловлено это прежде всего тем, что достаточно определенное, существующее на **интуитивной** основе содержание у них, конечно, имеется. Всем говорящим по-русски это содержательное наполнение более или менее понятно: вполне ясно, о ком именно в данном случае идет речь. Такое интуитивно существующее, совершенно реальное и общепонятное наполнение создает предпосылки для успешной коммуникации с использованием данных словосочетаний.

Сложность ситуации усугубляется феноменом регулярного смешения в массовом сознании лингвистического, этнического, антропологического и конфессионального признаков народонаселения какого-либо государства или региона, выступающим в качестве основы социальных стереотипов.

©Шарафутдинов Д.Р., 2004

**Н.И.Алмазова, В.Е. Чернявская
Санкт-Петербург**

**Моделируемая ситуация делового общения на уроке
иностранного языка как интердискурсивное событие**

Данная работа представляет собой попытку осмысления основных понятий лингвистической теории дискурса применительно к проблемам лингводидактики и методики преподавания иностранных языков. Цель нашего анализа заключается в том, чтобы показать, как в дидактической практике возможно и необходимо учитывать разработки в общей теории текста и дискурса. Мы последовательно выскажем наше понимание того, что представляет собой феномен интердискурсивности, с одной стороны, и как взаимодействие различных типов дискурса проявляет себя в коммуникативной ситуации делового общения, моделируемой преподавателем на уровне иностранного языка, с другой.

Как известно, дискурс как еще один уровень лингвистической иерархии, следующий за уровнем текста, фокусирует исследовательские усилия на поиск прототипических закономерностей текстовой фиксации коммуникативных процессов.

Так, мы рассматриваем дискурс как коммуникативное событие, порождающее текст, соотносящееся, во-первых, с определенной ментальной сферой/определенными знаниями, и, во-вторых, с конкретными моделями – образцами, прототипами текстопорождения и восприятия. Тексты существуют в общем когнитивном пространстве, которое может быть сопоставлено с неким общим предтекстом, или интертекстом в духе идей Ю. Кристевой, Ж. Дерриды, М. Риффатера и др. С очевидностью имеет место взаимодействие на уровне ментальных процессов, подразумевающим использование в различных текстовых

системах неких когнитивных и коммуникативно-речевых стратегий, реализацию общих операциональных шагов, установок, детерминирующих в конечном итоге определенную общность текстовых структур и их формальных элементов внутри дискурса одного типа (например, научного, публицистического, дидактического и проч.). Такого рода отношения между текстами, возникающие при оперировании общими прототипическими правилами и коммуникативными стратегиями, обусловленные использованием одних общих смысловых систем, культурных кодов, предполагают не столько уровень текста – конкретной текстовой реализации, сколько уровень дискурса.

Об *интердискурсивности* мы говорим, характеризуя взаимодействие между различными типами дискурса, интеграцию, пересечение нескольких различных областей человеческого знания и практики. И отвечая далее на вопрос, какие языковые элементы являются интердискурсивными, считаем, что это все те средства, элементы языковой системы, текстовые структуры, коммуникативно-речевые стратегии, приемы, операциональные шаги речевого субъекта, закладываемые им в текстовой ткани, характеризующие одновременно многие дискурсы [ср.: Чернявская 2003].

Возможно говорить о естественной, спонтанной, то есть коммуникативно обусловленной интердискурсивности, и о так называемой инсценируемой смене дискурса. В первом случае можно указать на те ситуации, когда один специальный дискурс, например, дискурс генной инженерии, обнаруживает в себе языковые элементы (термины, коммуникативные стратегии содержательного развертывания и проч.) других специальных дискурсов, не только общенаучного, медицинского, но и общественно-политического, этического и т.д. Примеры могут быть многократно продолжены. Такая спонтанная интердискурсивность демонстрирует естественный процесс реинтеграции человеческих знаний, рассредоточенных в разных дискурсивных формациях.

Интердискурсивность проявляет себя как особая стратегия субъекта речи, осознанно и целенаправленно решающего задачу формулирования своего текста.

При этом интердискурсивность не тождественна феномену интертекстуальности, если понимать под интертекстуальностью особый способ создания нового смысла через однозначно маркированный эксплицитный диалог «своего» и «чужого» текстов. Интердискурсивность запускает в действие иные механизмы тексто- и смыслообразования. Повторяя наше рабочее определение дискурса как предзаданного текстовым типом мышления, как системы наиболее общих когнитивных прототипов, правил речевого поведения, создающих – выстраивающих – особую системность и упорядоченность языковых единиц в текстовой ткани, согласимся с суждением немецкого исследователя К. Кесслер: «смена дискурса... происходит в голове реципиента» [ср.: Kessler 1998: 278]. Это означает, что воспринимающее сознание «переключается» в иное ментальное пространство и начинает «работать» с другими кодами, смыслами, системами знания при оценке и интерпретации данного содержания. А отправитель текста, намеренно выстраивающий свое сообщение как игру – пересечение, взаимоналожение, «монтаж» нескольких дискурсивных типов, решает особые коммуникативные задачи, стратегические и тактические.

В рамках настоящей статьи мы рассматриваем коммуникативную ситуацию, складывающуюся на учебном занятии иностранного языка – в нашем случае, английского языка делового общения. При этом особо выделяем дидактические аспекты адаптации обучаемых к особенностям чужой культуры средствами изучаемого языка. В таком случае доминирующей стратегической целью должно стать формирование иноязычной коммуникативной компетентности для достижения эффективной коммуникации. Коммуникативная компетентность означает здесь способность решать коммуникативные задачи в контексте иной бизнес-реальности и иной культуры. При формировании коммуникативной компетентности с помощью учебно-методических мероприятий должны учитываться в первую очередь такие частные компетентности как лингвистическая, предполагающая уровень владения системой языка, позволяющий активизировать в речи те или иные языковые единицы, структуры и проч.;

коммуникативно-прагматическая компетентность, т.е. способность использовать язык с учетом коммуникативной ситуации и статусных ролей коммуникантов и социокультурная компетентность, т.е. готовность и способность партнеров по коммуникации к ведению “диалога культур” на основе знания собственной культуры и культуры стран изучаемого языка [подробнее: Алмазова 2003]. Следовательно, урок иностранного языка можно и нужно рассматривать как **дидактический** дискурс или, в строгом смысле, **интердискурс**, характеризующий коммуникативной событие особого рода, а именно, являющееся результатом взаимодействия и взаимопроникновения по меньшей мере 3-х типов дискурса: социального, культурологического, собственно лингвистического. Эти самостоятельные дискурсы отражают соответствующие ментальные сферы и систему связанных с ними когнитивно-речевых действий/операций. Урок как целостная система формируется под влиянием экстралингвистических факторов, обуславливающих в своей интегративной совокупности единство лингвистического материала и организованные особым образом учебно-дидактические мероприятия (дидактические шаги), ресурсное обеспечение, так называемый менеджмент времени и др.

Моделирование ситуаций делового общения на иностранном языке – это средство создания аналога иноязычного делового общения. Имитация реального процесса бизнес-коммуникации создает благоприятные условия для коммуникативного тренинга студентов, конечной целью которого является овладение коммуникативно-когнитивными стратегиями, определяющими правила речевого поведения при общении на иностранном языке.

Попытаемся ответить далее на вопрос, каким образом делается видимым интердискурсивное взаимодействие в той коммуникативной ситуации, которая моделируется намеренно и целесообразно преподавателем, выступающим в качестве менеджера педагогической ситуации на уроке иностранного языка.

Так, «включение» различных дискурсов (лингвистического, социального, культурологического) в систему дидактического

интердискурса происходит через актуализацию соответствующих когнитивных стратегий, кодов, фреймов, охватываемых соответствующей компетентностью. Подчеркнем, что мы имеем в виду наиболее общие - надындивидуальные – когнитивно- речевые и операциональные установки, надстраивающиеся под индивидуальными особенностями языковой личности.

Социолингвистическая компетентность предполагает способность использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией. Здесь важно знание социального контекста: кто ведет общение с кем, о чем, где, с какой целью. Социальный контекст определяет учет семантических особенностей слов, идиоматических выражений, возможность их употребления в зависимости от институционального и социального характера общения, того эффекта, который они могут оказывать на собеседника. Социолингвистическая компетентность есть готовность и желание взаимодействовать с другими, а также умение поставить себя на место другого и способность справляться с ситуациями, сложившимися в обществе. Она предполагает умение определять и оценивать социальный статус говорящего, сознательно использовать языковые нормы или распознавать их нарушение (формальный/неформальный стили, табу, жаргон, профессиональная лексика и т.д.), ориентироваться в межкультурных различиях поведенческих ритуалов. При этом следует целенаправленно и систематически формировать представления таких наиболее важных вопросов, касающихся различий между культурами, как:

- традиции, связанные с приемом пищи, поведением за столом, проведением вечеринок, приглашением гостей, вопрос о том, принято ли в данной культуре давать на чай и сколько и т.д.;

- национальные приоритеты и предрассудки;

- особенности приветствий, формул вежливости, принятых форм обращения к собеседнику и т.п. Национальной спецификой обладают и разного рода социальные отношения, а именно отношения между полами; отношение к детям; отношение к пожилым людям. Должна учитываться и степень

релевантности социальной иерархии, которая проявляется в открытости выражения чувств и оценок; особенностях выражения позитивных и негативных эмоций; значении мимики, жестов и т.п.

Коммуникативно-прагматическая компетентность, под которой мы понимаем способность идентифицировать различные виды коммуникативных высказываний, а также строить целостные, связанные и логичные высказывания разных функциональных стилей, предполагает выбор лингвистических средств в зависимости от типа высказывания. Коммуникативно-прагматическая компетентность включает такие умения, как: умение начать разговор, изменить тему дискуссии и направление диалога, войти в полилог, завершить диалог и т.д. Данная компетентность предполагает, в частности, и такие компенсаторные тактические умения как: избежать сложностей, длиннот, приспособить высказывание к уровню своей лингвистической компетенции; использовать парафраз в случае провалов в памяти (например, “the thing you open bottles with” (то, чем открывают бутылки) вместо “corkscrew” (штопор); использовать синонимы (например, “ship” (корабль, любое плавучее средство) вместо “sailing boat” (лодка (моторная, под парусом); обращаться за помощью в поисках слова к говорящему: «What’s the word for..?» (Как называется ...?); “What do you call it?” (Как вы это называете?); прибегать к просьбам о повторе, разъяснении в случае непонимания: «Pardon, would you please ...» (Извините, не могли бы вы повторить); обращаться к собеседнику с проверкой того, слушают ли вас, и правильно ли вас понимают: «Are you listening/following..?» (Вы слушаете? Вы следите?); “Is that clear?” (Вам понятно?); переформулировать то, что сказано вами или собеседником (“in other words” - другими словами).

Владение коммуникативно-прагматической компетентностью подразумевает умение выбрать приемлемый для данной коммуникативной ситуации коммуникативный стиль, формирующий *коммуникативный климат* на учебном занятии, определяющий эффективность коммуникации. Американский исследователь Джек Гиб выделяет несколько категорий поведения в межличностной коммуникации, которые

обуславливают коммуникативные стили, определяемые либо как «*поддерживающие*», либо как «*наступательные*» [Robert J. Pietro 1994]. К «поддерживающим» моделям поведения относятся следующие:

- констатация события, его описание (участники интеракции лишь описывают какое-либо событие, не давая никаких личностных оценок и не выражая эмоций);

- манифестация равенства с партнером по коммуникации (общение с партнером как с равным, не унижая его достоинства). Так, использование в диалоге фразы "Can I help you?" (Могу я Вам помочь?) звучит нейтрально по сравнению с "Here, let me do it for you" (Послушайте, я сделаю это вместо Вас), звучащей как оценка неспособности собеседника что-то сделать;

- ориентация в сути проблемы (понимание проблемы и намерение решить ее к взаимному удовлетворению);

- спонтанность реакции (честная реакция на ситуацию без предварительного манипулирования создает впечатление доверия и уважения);

- понимание точки зрения партнера на проблему. В американской литературе этот момент определяется как «*empathy*». В отличие от симпатии, выражающей эмоциональную поддержку, эмпатия демонстрирует концептуальное понимание проблемы;

- оценка эффективности всех аргументов и выбор наиболее эффективных. Данная поведенческая модель предусматривает возможность отказа от своих аргументов в пользу наиболее эффективных.

«*Наступательный*» коммуникативный стиль основан на таких поведенческих и речевых стратегиях как:

- намеренная оценка того, что делается. Любая оценка - прямая или косвенная, положительная или отрицательная - затрагивает личную оценку партнера, его амбиции и может вызвать негативную реакцию;

- манифестация превосходства (так, предложение "Let me show you how that is supposed to be done" (Давайте я покажу, как это надо делать) выражает идею превосходства говорящего над

собеседником, если даже эта идея не явно выражена в контексте);

- реализация идеи контроля. Начиная с фразы "What you should do is..." (Вам необходимо сделать следующее), "You'd better (not)..." (Лучше бы Вам (не...)), "What you need is..." (Что Вам действительно нужно, так это...) etc., собеседник неизбежно провоцирует наступательный характер общения, ибо любые предупреждения, угрозы, команды, рекомендации воспринимаются как негативные послания;

- манипулирование различными коммуникативными приемами (вовлеченность в какую-либо коммуникативную «игру» может дать быстрый результат, но предопределяет потерю доверия в перспективе);

- выражение незаинтересованности: фразы, типа "I really don't care, one way or the other" (Мне все равно, так или иначе...) создают ощущение незаинтересованности в достижении общего результата;

- демонстрация авторитарности: категоричность фразы "I am all against it" (Я абсолютно против этого) или "It's not my fault" (Это не моя вина) и т.п. демонстрирует невозможность собеседника согласиться с мнением партнеров и признать свои ошибки.

Для адаптации к новому культурному контексту необходимы знания культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, равно как и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры. Все это определяет **культурно-лингвистическую компетентность**. Формирование данного компонента предполагает интеграцию личности в систему мировой и национальной культур. Реалии новой культуры находят отражение на всех уровнях языка, и прежде всего в лексике [ср.: Попова, Стергиг 2002]. Для формирования культурно-лингвистической компетентности важно определить универсалии и оппозиции на разных языковых и концептуальных уровнях. Так, например, русскому студенту, изучающему английский язык, необходимо знать о неоднозначности кажущейся эквивалентной лексики: "house" и

“дом”. Русское слово шире по значению, чем английское, оно включает в свою семантику любое здание, где живет и работает человек. У англичан дом, где вы работаете, а не живете - это building. Если сравнить такие простые слова как “утро”, “вечер”, “день”, “ночь” с их кажущимися эквивалентами “morning”, “evening”, “day”, “night”, то очевидна разница в представлении о частях суток у разных народов “last night” - это “вчера вечером, а не вчера ночью”, так как ночь у англичан начинается с 8 часов вечера; “two o'clock in the morning” - это 2 часа ночи, а не 2 часа утра; “добрый день” - это “good afternoon”, а не “good day, которое” звучит грубо и может быть переведено как “разговор окончен” [ср.: Тер-Минасова 2002]. Подобные несоответствия наблюдаются и в словах “grandmother” и “бабушка”. Образ русской бабушки в платочке даже вошел в английский язык в форме заимствованного слова «babushka» вследствие явного несоответствия английского образа, стоящего за словом grandmother, образу русской бабушки.

Очевидно, что одни и те же слова по-разному воспринимаются представителями разных культур, так как обладают определенными *ассоциативными различиями* при кажущемся однозначном денотате. Так, для англичанина за словосочетанием “5-o'clock tea» (чаепитие в 5 часов дня) стоит традиция, культурные ритуалы, уклад жизни. Для русскоязычного обучаемого ассоциации, связанные с чаепитием, гораздо скромнее. Для итальянца же при употреблении слова «чай» возникают ассоциации, связанные с болезнью, недомоганием, поскольку в Италии этот напиток используется в лечебных целях. Русскому студенту трудно представить, что стоит за словосочетанием «Sunday papers», так как традиция читать толстые воскресные газеты - это не просто знакомство с новостями, это - дом, уют, комфорт, определенный стиль жизни, это «старая добрая Англия». Большой интерес в этом плане представляет пласт фразеологизмов, идиом, пословиц и поговорок, раскрывающих особенности национального характера. Среди лексических единиц наибольшую сложность в плане культурных различий представляют метафоры, которые концептуально отражают мир, и без которых, как отмечают исследователи, “человеческая коммуникация была бы

существенно ограничена, если не остановлена полностью". Есть интересные исследования о том, что среднестатистический англичанин употребляет приблизительно три тысячи метафор в неделю [Pollio etc.: 1977]. Метафоры связаны с формированием так называемой "концептуальной беглости" (conceptual fluency). Для специалистов, вероятность общения которых с иностранным партнером очень велика, важно знать не только терминологию, лексическая прозрачность которой очевидна, но и метафоры, идиомы, устойчивые словосочетания, встречающиеся в бизнесе достаточно часто (ср.: "all in"-все включено; "comfortably off"- богатый человек; "fiddle"- надувать (о деньгах или счете); "go by the book"- строго следовать букве закона; "high and dry" - в безопасности и т.п.) Как считает М. Данези, студенты часто достигают высокого уровня разговорной компетентности, но продолжают думать в терминах концептуальной системы родного языка [Danesi 1993]. Подобные концептуальные несоответствия, которые в основном касаются кросс-культурных различий, могут стать причиной достаточно серьезных коммуникативных неудач в будущей профессиональной деятельности. Так, известный эксперт в области межкультурной коммуникации Ричард Д.Льюис приводит пример со словом "контракт", который без труда переводится с одного языка на другой, но на практике поразному воспринимается бизнесменами разных стран. Для жителей Швейцарии, Германии, Скандинавских стран, США или Великобритании это некий документ, который подписан сторонами для того, чтобы затем соблюдать его условия. Подписи сторон придают ему смысл окончательного и бесповоротного решения. Японец же смотрит на контракт как на предварительный документ, который может быть изменен или написан заново в зависимости от изменившихся обстоятельств. Американцы называют японцев нечестными партнерами, если те разрывают контракт, японцы обвиняют в нечестности американскую сторону, настаивающую на соблюдении договора в изменившихся условиях [Льюис 2001]. Анализ любого аутентичного материала позволяет выявить значительное количество подобных примеров, ценных как в практическом, так и образовательном плане.

Рассмотренные нами составляющие общей коммуникативной компетентности не представляют собой закрытого перечня частных компетентностей. Напротив, этот ряд может быть продолжен; мы делаем акцент на те составляющие, которые особенно значимы при формировании иноязычной коммуникативной компетентности обучаемых иностранному языку в рамках дидактического дискурса. При этом следует учитывать возрастающую роль, так называемого текста типологической компетентности, выделяемой в последние годы в отечественных и зарубежных исследованиях [подробнее: Чернявская 2004]. Очевидно, что каждый носитель языка обладает способностью идентифицировать тексты одной типологической (жанровой) принадлежности, различать тексты разных типов и узнавать нарушения текстообразовательной нормы. Например, распознавать неверно написанное заявление о приеме на работу, объявление о продаже и т.п. Текстотипологическая компетентность подразумевает также у лиц, принадлежащих к одному коммуникативно-языковому сообществу, способность не только распознавать, но и создавать тексты в соответствии с коммуникативными нормами, т.е. корректных в языковом отношении и адекватных ситуативно. Иными словами, продуктивное обращение с текстами не исчерпывается эмпирическим уровнем познаний, интуицией или имитацией, но должно систематически развиваться и формироваться через усвоение теоретических знаний, систему специально организованных упражнений для лиц, изучающих иностранный язык.

Литература

Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. АДД. - СПб, 2003.

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. - М., 2001.

Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж, 2002.

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000.

Чернявская В.Е. Интертекстуальность и интердискурсивность // Текст – Дискурс – Стилль. - СПб, 2003.

Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. -СПб., 2004.

Danesi, M. Metaphorical competence in second language acquisition and second language teaching: The Neglected Dimensions. In: J.A. Alatis (Ed.) Language, Communication and Social Meaning, 1993, Washington, DC: Georgetown University Press. - pp. 489-500.

Kessler K. Diskurswechsel als persuasive Textstrategy // Beiträge zur Persuasionsforschung.. Peter Lang, 1998, s.273-293.

Pollio, H; Barlow, J; Fine, H; Pollio, M.(1977). The poetics of growth: Figurative Language in psychology, psychoterapy and education. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum, 1977.

Robert J. Pietro. Helping people do things with English. In: Teacher development (ed. By Thomas Kral). - Washington, 1994, pp. 141-148.

© Алмазова Н.И., 2004

© Чернявская В.Е., 2004

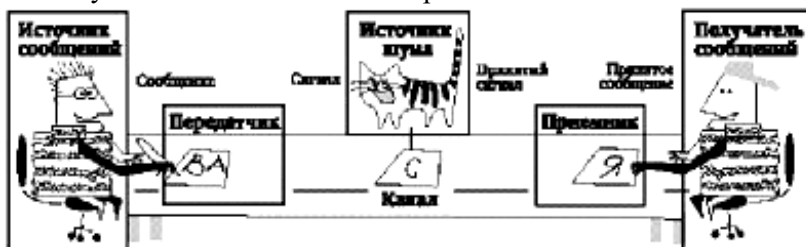
**Е.В.Белоглазова
Санкт-Петербург**

Психолингвистические основания специфики детской литературы

Психолингвистика – относительно молодая наука, возникавшая лишь в 50-ых годах XX века, как явствует из ее названия, на стыке двух наук – психологии и лингвистики. Учитывая, что еще Ф.де Соссюр определил психическую сущность единиц языка, такой синтез был неизбежен. Сказанное не должно ввести читателей в заблуждение – де Соссюр не был психолингвистом, и его подход был заведомо чужд изучению психики. В своем исследовании Соссюр целенаправленно изолирует язык (*langue*) от психики его носителя, рассматривая его как «систему чистых отношений». Психолингвистика же изначально ориентирована на изучение реальных процессов говорения и понимания, на «человека в языке» (выражение Э.Бенвениста). В отечественной традиции психолингвистика также называлась теорией речевой деятельности (Леонтьев), поскольку ориентирована прежде всего на исследование процессов и механизмов речевой деятельности (порождения и понимания, или восприятия, речевых высказываний) в её соотнесённости с системой языка. Ей присуще стремление интерпретировать язык как динамическую, действующую, “работающую” систему, обеспечивающую речевую деятельность (речевое поведение) человека (Сусов).

Как отдельная наука психолингвистика возникла в 1953 году в результате межуниверситетского семинара и обязана этим двум психологам - Чарлзу Осгуду и Джону Кэроллу - и литературоведу, фольклористу, семиотику Томасу Сибеоку. Участники семинара впоследствии написали книгу, в которой суммировали основные теоретические положения, принятые в ходе дискуссий. В частности, одним из основных источников новой науки авторы указали математическую теорию связи Шеннона-Уивера, которая рассматривает процесс коммуникации как передачу некоторой информации от одного изолированного индивида (говорящего) к другому (слушающему). Шеннон ввел такие понятия, как источник сообщения, передатчик, канал связи, приемник, получатель

сообщения и источник шума, который может исказить сигнал. Практически любой, даже очень сложный, обмен сообщениями можно успешно описать в этих терминах.



Дискретное сообщение — это любой набор символов, который формируется источником (им может быть, например, человек). От источника сообщение переходит к передатчику, который преобразует его к виду, который уже можно передавать по каналу связи. Например, передатчик может кодировать сообщение. Преобразованное сообщение называется сигналом. Канал связи — это технический комплекс аппаратуры, который позволяет передать сигнал. В общем случае в процессе передачи сигнал в канале искажается шумом, который исходит от источника шума. Приемник обычно выполняет операцию, обратную по отношению к той, что производится передатчиком, — т. е. восстанавливает сообщение по сигналам. Процесс преобразования сигнала в сообщения, осуществляемый в приемнике, называют декодированием. Получатель — это человек или аппарат, для которого предназначено сообщение [Shannon 1948: 380].

Модель Шеннона универсальна. Рассмотрим процесс литературной коммуникации между автором и читателем как систему передачи информации, где:

- сообщение — это художественное произведение;
- источник сообщения — это писатель, автор произведения;
- передатчик — типография, преобразовывающая сообщение в печатный вид с характерным шрифтом, иллюстрациями, и пр.;
- канал связи, по которому сигнал поступает ко второму коммуниканту — это напечатанный текст, книга;

- приемник в процессе литературной коммуникации обычно не представлен, т.к. предполагается, что адресат владеет методом декодирования сигнала, т.е. перевода знаков письменной речи в единицы речи устной (процесс чтения). Однако, в случае, если адресат – ребенок дошкольного возраста, роль приемника выполняют родители, няни, воспитатели и другие окружающие его люди, читающие ему вслух;

- получатель – читатель (или слушающий), которому предназначено сообщение, его адресат;

- шумы – все те помехи, что мешают адекватному пониманию адресатом информации, заложенной автором в сообщение. Помимо внешних раздражителей, собственно шумов, на декодирование сообщения оказывают влияние факторы внутренние, как то: тезаурус и лингвистическая компетенция получателя.

Если рассматривать художественное произведение как частный случай речевого акта, становится очевидным, что необходимо наличие его адресата как завершающего звена коммуникативной цепи, без которого акт литературной коммуникации не может считаться состоявшимся. В художественной коммуникации можно выделить два типа адресата:

а) идеальный/вымышленный адресат в рамках текста, исполняющий роль партнера, воображаемого "другого";

б) реальный адресат - читающая публика, соотносимая с ролью арбитра/ "наадресат" М.М.Бахтина [Бахтин 1979].

Схема художественной коммуникации, предложенная С.Чэтманом [Chatman 1980: 151], более сложная и лучше отражает специфику художественного произведения. Как в звене отправителя, так и в конечном звене получателя речевого сообщения автор выделяет три составляющих, три ипостаси одного и того же антропоцентра:

1. Адресант: реальный автор, подразумеваемый/ имплицитный автор, повествователь/нарратор.

2. Адресат: реальная аудитория, подразумеваемая/ имплицитная аудитория, слушатель/наррати.

Повествователь и слушатель - персонажи художественного произведения и, как таковые, факультативны. Реальные автор и

аудитория - категории внешние по отношению к тексту, коммуникация между ними опосредована их имплицитными коррелятами, которым в традиционной литературоведческой терминологии соответствуют "образ автора" и "образ читателя".

Факультативны как наличие данных персонажей, так и степень их выраженности. Спектр варьирования по данному параметру весьма широк. Максимальная степень выраженности - объемные, полновесные персонажи - случай редкий. Обычно роль рассказчика и слушателя не предполагает активного участия в событиях и, следовательно, возможности в обрисовке характеров довольно ограничены. Часто эти герои остаются неназванными, - для функции идентификации вполне достаточно чисто дейктических элементов. Вышесказанное особенно справедливо для адресата, который традиционно остается в тени.

Адресат - конечное звено в коммуникативной цепи - является объектом речевого воздействия. Направленность на адресата играет важнейшую роль в организации текста. Речевое произведение выполняет свою коммуникативную функцию лишь при условии, что содержащуюся в нем идею адекватно воспринимает адресат. Следовательно, отправитель сообщения в той или иной мере ориентируется на адресата как в отборе языкового материала, так и в построении речевого произведения [Асанова 1992]. Таким образом, адресат - это не только неотъемлемый компонент текста, но и тот фактор, который во многом формирует его. При этом проблема адресата является наиболее сложной и наименее изученной в силу эфемерности параметров образа читателя, их полифункциональности и многозначности [Тураева 1997]. Однако это вовсе не означает, что раньше исследователи не отдавали себе отчет в существовании этого феномена. Активную роль читателя, важность читательского восприятия акцентировали многие авторитеты в различные эпохи. Еще Аристотель в своем трактате *"Об искусстве поэтики"* говорит о направленности произведения искусства на некоторую аудиторию. Призывы ориентировать свое творчество на читателей можно найти и у таких видных теоретиков искусства как Н. Буало (*"Своим читателям понравиться старайтесь!"*) и Лессинга [Прозоров

1975]. Также у А. де Мюссе читаем: "Всякий замечательный стих истинного поэта содержит в два-три раза больше того, чем сказал поэт, на долю читателя остается дополнить недостающее по мере своих сил, мнений, вкусов". О.Хаксли в "Пожухлых листьях" шутит: "Писатель предполагает, а читатель располагает" [цит. по: Арнольд 1973: 18].

Адресат участвует в коммуникативном процессе не как интегрированное целое, но как "личность параметризованная", в определенном своем аспекте, амплуа или функции, соответствующей аспекту говорящего [Арутюнова 1981: 357]. В данной статье определяющим параметром выбран возрастной, однако, прежде чем приступить к анализу специфических черт литературы для детей, представляется целесообразным определиться с психолингвистической спецификой читателя-ребенка.

С точки зрения психики ребенка отличает:

- наглядно-образный тип мышления,
- активное воображение (его нельзя назвать богатым, поскольку небогат опыт, дающий пищу творческой активности мышления),
- преобладающе произвольные восприятие, память и внимание.

С точки зрения речевого развития (лингвистической компетенции) ребенка отличает ограниченный вокабуляр, богатый словами с прозрачной мотивированностью, прежде всего звуковой, элементами "childspeech" (например, *tommy* вместо *stomach*, *hanky* вместо *handkerchief*), названиями конкретных материальных предметов из бытового окружения в противовес абстрактным понятиям. Грамматико-синтаксический аспект языка усваивается в целом к 4,5-летнему возрасту, однако в длинных конструкциях и сложных логических построениях вероятность ошибок достаточно велика.

Тезаурус ребенка, под которым понимается совокупность его знаний, также специфичен. Очевидно, что знания ребенка будут тем более ограниченны, чем он младше. При этом ограниченность следует понимать более в пространственном смысле – знания ребенка ограничены ареалом его жизнедеятельности, который по мере взросления расширяется

от комнаты, дома, двора, со временем охватывая школу, дома друзей, все новые и новые территории и институты.

Все описанные особенности мышления, лингвистической компетенции и тезауруса ребенка-адресата являются потенциальными шумами – помехами для адекватного декодирования заложенного писателем в текст произведения сообщения, которые автор должен принимать во внимание. Проверим нашу гипотезу сравнением коэффициентов читабельности произведений для детей и взрослых.

Математическим выражением категории адресованности (зафиксированной в тексте направленности на конкретного адресата или группу адресатов) текста можно считать коэффициент его читабельности. Э.Дейл и Дж.Чолл определяют читабельность следующим образом: "В самом широком смысле под читабельностью печатного материала понимают совокупность всех тех элементов внутри данного материала, которые тем или иным образом влияют на успешность его усвоения определенной группой читателей" [цит. по Мацковскому 1976: 126]. Авторы определения видят свой предмет более широким, чем тот, что является предметом рассмотрения данной статьи:

- печатный материал может включать не только текст, но и различные схемы, иллюстрации и т.п.;
- читабельность может определяться всеми элементами печатного материала, в то время как для нас релевантны лишь лингвистические аспекты текста.

Привлекательна, однако, сама идея возможности числового выражения приемлемости текста для читателя. Ведь, применительно к слову *анализ* определения *математический*, *количественный*, *числовой* тождественны определению *объективный* [МИВР 1972: 4], и противопоставляются обычному интуитивному анализу.

М.С. Мацковский выделяет следующие аспекты читабельности:

1. Разборчивость и четкость печатного текста;
2. Степень интереса, возникающего у читателя в процессе чтения;

3. Степень трудности понимания данного текста группой его потенциальных читателей.

Очевидно, что для адресованности наиболее значимы второй и третий аспекты читабельности. При этом трудность понимания (3) представляется наиболее объективным критерием. Ее можно разложить на составляющие - параметры текста, влияющие на его трудность:

а) словарный состав текста, под которым понимается разнообразие словаря речевого произведения, чем он выше, чем больше процент незнакомых читателю слов, тем труднее текст для понимания.

б) структура предложений, которую можно рассматривать, во-первых, в плане его глубины, как ее понимает В.Ингве, т.е. количества регрессивных структур [Ингве 1965], и, во-вторых, в аспекте трансформационной сложности, т.е. количества трансформационных шагов, отделяющих поверхностную структуру от глубинной.

в) длина предложений напрямую не связана с их сложностью, хотя М.М.Гохлернер отмечает наличие некоторой корреляции между этими двумя параметрами [Гохлернер 1976: 88] в том смысле, что синтаксическое усложнение закономерно сопровождается удлинением структуры.

Проверим гипотезу о связи читабельности с возрастной адресованностью текста с помощью формулы одного из наиболее авторитетных исследователей - Р.Флеша:

$X = 206,48 - 1,015 X' - 0,846 X''$, где:

X - оценка трудности текста для среднего взрослого читателя;

X' - средняя длина предложения в словах;

X'' - количество слогов на 100 слов текста.

Численное значение X колеблется от 0 до 100, чем оно выше, тем более "читабылен" текст.

Для подсчета брались выборки одинаковой длины, по возможности представляющие собой законченные отрезки текста, из двух произведений одного и того же автора, отличающихся возрастной направленностью. Для иллюстрации мы взяли одного английского и одного американского писателя, Р.Киплинга и М.Твена, соответственно.

Вычисление коэффициента читабельности произведений Р.Кипплинга дало следующее соотношение:

КЧ детского произведения (Just So Stories) = 84,8;

КЧ взрослого произведения (Kim) = 66,2.

Вычисление коэффициента читабельности произведений М.Твена дало следующее соотношение:

КЧ детского произведения (The Adventures of Hucklebery Finn) = 93;

КЧ взрослого произведения (The Man that Corrupted Hadleyburg) = 45,9.

Таким образом, цифровые данные доказывают, что различие в степени доступности текстов, адресованных читателям разного возраста, действительно существует. И речь идет о качественном отличии детской литературы в целом, а не об особенностях индивидуальных стилей авторов, пишущих для детей. Ибо выбор для анализа произведения одного автора исключает все факторы, кроме фактора адресата в его возрастном параметре.

Попытаемся проанализировать, к каким лингвистическим средствам прибегают авторы, пишущие для детской аудитории, с тем, чтобы преодолеть вышеупомянутые помехи. При этом, для полноты картины, мы будем вести анализ по языковым уровням, от меньшей единицы к большей.

Так на лексическом уровне очевидна тенденция к максимизации мотивированности лексических единиц, которая связана с учетом наглядно-образного типа мышления читателя. Ребенок даже в слове ищет образные элементы, которые помогают ему установить связь означаемого и означающего на основе сходства между материальной оболочкой слова и чувственно-воспринимаемыми свойствами предмета.

Фонетическая мотивированность слов проявляется в распространенности в детской литературе звукосимволических единиц.

Не менее распространены в детской литературе и случаи морфологической мотивированности слов. Однако можно констатировать определенную зависимость между превалирующим видом мотивированности и возрастным параметром адресата произведения. В словах с фонетической

мотивированностью форма наиболее непосредственно связана с содержанием. Подобная лексика предполагает лишь элементарные знания о реальном мире, в то время как морфологически мотивированные слова требуют знания лексического значения основы и значения словообразовательной модели. Впрочем, последняя может и расшифровываться непосредственно в тексте произведения:

E.g. The great **rejuvenator**. It makes you young again [Dahl: 100].

Здесь: *re-* соответствует *again*;

-juvenat- соответствует *makes young*;

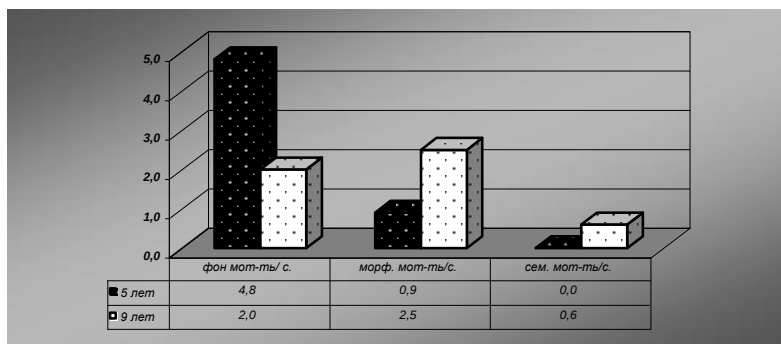
-or, значение которого И. К. Архипов формулирует как "дискретную сущность" соответствует *it* [Архипов 1995: 9].

В отличие от первых двух типов мотивированности, частотность которых в детской литературе превышает соответствующие данные касательно взрослой, обратное справедливо для третьего, семантического, типа мотивированности. Под семантической мотивированностью понимаются различного рода переносные значения. Основной особенностью звукоизобразительных слов и дериватов является их наглядность, заключенная в самой их форме. Семантическая же мотивированность не затрагивает формальной стороны слова и потому гораздо менее очевидна. Кроме того, расшифровка образа, создаваемого переносом значения, требует значительных фоновых знаний. В основе переноса лежит скрытое сравнение, в результате которого свойства некоторого одного предмета переносятся на другой. Соответственно понимание образа предполагает наличие представления об обоих предметах, способность к анализу их свойств, выделению некоторого общего свойства, лежащего в основе сравнения, и к абстрагированию от остальных, нерелевантных в данном контексте характеристик [Семенова 1962: 136-137]. Чтение само по себе как деятельность по декодированию поглощает все внимание начинающего читателя. Задача адресанта в том, чтобы на первых порах облегчить эту работу реципиента, в то время как переносные смыслы лишь затруднили бы ее.

Это объясняет сравнительно небольшую распространенность в детской литературе слов с переносным значением, да и то, в

основном в произведениях для детей старшего возраста. Математико-статистические данные анализа сборников рассказов для детей возрастом до пяти лет и для девятилетних (для контрастности промежуточные возраста опускаются) подтверждают сделанные выше предположения о распределении типов мотивированности в зависимости от возраста адресата произведения:

Схема № 1: Сопоставление видов мотивированности лексических единиц



Как сложные слова, так и фразеологические единицы, характеризующиеся в норме неразложимостью формы и идиоматичностью содержания, часто вовлекаются в игры, основанные на нарушении этой нормы, т.е. на разложении их в формальном или содержательном плане. Это разложение на компоненты способствует переосмыслению языковой единицы, повышая эффективность восприятия:

1. - A knot! Do let me help to **undo** it!
- I shall **do nothing** of the sort! (Carroll).
2. (Король, обращаясь к Чеширскому Коту): Don't be impertinent and don't look at me like that. - **A cat may look at a king** (Carroll).

UNDO в первом примере разлагается на DO NOTHING, идиома приобретает буквальный смысл во втором примере. При этом обе единицы сохраняют в контексте и свое идиоматическое значение, что приводит к их двойной актуализации. Даже при узуальном использовании

фразеологические единицы, в силу своей образности, оптимально удовлетворяют особенностям детского возраста.

Вступая в область синтаксиса, также невозможно не отметить ряд специфических для детской литературы черт, вызванных учетом возрастных особенностей адресата.

Прежде всего, логика психического развития человека подсказывает, что магическое число В.Ингве (5 ± 2 когнитивные единицы, удерживаемые оперативной памятью человека) должно быть меньше у ребенка, увеличиваясь с возрастом по мере возрастания зрелости, т.е. средняя длина предложения в произведении для ребенка будет короче, чем в произведении для взрослого. Это предположение находит математическое подтверждение. Средняя длина предложения в произведениях для пятилетних детей составляет 7,7 слов, в произведениях для девятилетних – 14,6, а для взрослых – 26,4 слова. Та же закономерность наблюдается применительно к длине сверхфразовых единиц и относительно автономных текстовых сегментов (глав). Так, длина сверхфразовых единиц в текстах, адресованных детям пяти лет, в среднем составляет 3,5 предложения; в текстах для детей девяти лет – 4,8 предложения; а в текстах для взрослых читателей – 5,4 предложения.

Варьирование длины автономного сегмента еще более выражено: от 2,9 страниц, если произведение предназначено начинающим чтецам пяти лет, до 15,3 страниц в произведениях для девятилетних и 27,2 страниц для взрослых читателей.

Другой возрастно-обусловленной закономерностью, проявляющейся на различных языковых уровнях, является большая эксплицитность текстов литературы для детей. На уровне предложения эта особенность проявляется, во-первых, в сближении семантического и синтаксического уровней: все актанты оказываются выраженными, причем предпочтительным оказывается поименная, а не групповая номинация:

Then the brutal minions of the law ... dragged him from the Court House, **shrieking, praying, protesting**; ... (Grahame).

Во-вторых, большей эксплицитности повествования способствуют вводные и вставные элементы, потенциал которых используется авторами детских произведений в полной мере. Они выполняют широкий спектр функций, среди которых

и перевод, и пояснение, и выражение авторской оценки предмета повествования.

На уровне сверхфразового единства прослеживается та же тенденция: автор, пишущий для ребенка, выводит в поверхностную структуру текста логические связи между составляющими единства, усиливая его связность.

Текст произведений для только начинающих читать строится линейно, строго по цепочке. Такая цепная организация наиболее проста для восприятия и удержания в памяти. Так, сцепление оказывается доминирующим видом синтаксической связи в текстах для пятилетних читателей, связывая 81,1% предложений текста, в то время как в произведениях для детей 9 лет этот вид связи становится менее актуальным, встречаясь лишь в 63 из 100 случаев.

Другим универсальным связующим средством служат повторы: контактные и дистантные, полные и частичные, сопровождающиеся синтаксическим параллелизмом. Например:

Presently the Horse came to him on Monday morning ...

Presently the Dog came to him ...

Presently the Ox came to him ...

Presently there came along the Djinn ... (Kipling).

Повтор создает ритм, организует процесс восприятия и также способствует снижению нагрузки на еще слабо развитую детскую память. Поэтому прием повтора столь распространен в детской литературе, повторяемые элементы варьируются от отдельного звука до целого эпизода. Эта черта носит название кумулятивности, как принципа построения произведения на основе повторов.

В.В. Куций [Куций 1981] говорит о необходимости различать в письменном тексте два уровня: словесный, рассмотренный выше, и визуальный.

Визуальные средства являются маркерами категории избыточности, нейтрализующей шум и гарантирующей однозначное восприятие сообщения. Избыточность может достигать весьма высоких показателей в тексте, адресованном читателю-ребенку, поскольку отправитель не может полагаться на тонкость восприятия адресатом сообщения. Специфика воздействия графических выразительных средств на детей

состоит в том, что для них слово еще не оторвано от его предметного содержания, которое должно 'просвечивать' сквозь его форму. С помощью графических средств внимание читателя фиксируется на наиболее важных с коммуникативной точки зрения отрезках текста и, таким образом, обеспечивается их углубленное восприятие и понимание.

Среди графических приемов отметим такие приемы как графическая сегментация текста, шрифтовое оформление, капитализация, расположение текста на странице, пунктуация. Все эти средства выразительного графического набора служат решению двух задач:

1) функциональной, как средства выделения, разделения, акцентуации;

2) трактовки художественного произведения, выявлению нюансов его содержания и формы, своеобразному художественному прочтению произведения средствами набора. В последней функции они выступают как средства «художественной интерпретации» текста и занимают особо важное место в общей программе интерпретации детской художественной литературы.

Сфера применения графических приемов не ограничивается детской литературой, все они в большей или меньшей степени представлены и в литературе для взрослых, и не только художественной. Специфика их использования в произведениях, адресованных детям, заключается в их концентрации, обусловленной необходимостью более жесткой программы интерпретации текста.

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что психолингвистический портрет адресата-ребенка возводит определенные требования к автору, пишущему для детей, который вынужден прибегать к целому арсеналу средств всех языковых уровней в противошумовой функции. При этом, вышеуказанные средства на различных языковых уровнях могут иметь сходную природу, имея общее психофизиологическое основание.

Так, тенденция к наглядности проявляется в различных видах мотивированности языковых единиц, в 'образности' как способности вызывать в сознании читателя некоторые образы, и

обусловлена наглядно-образным характером мышления ребенка, преобладающим над логическим.

Языковые средства всех уровней могут служить созданию эффекта обманутого ожидания – действенного стилистического приема, нарушающего монотонность повествования и стимулирующего внимание при чтении, что немаловажно при слабой развитости у детей произвольного внимания. С другой стороны, этим приемом могут акцентироваться ключевые для понимания произведения элементы.

Гипертрофированная избыточность текстов детской художественной литературы проявляется в повторах на всех языковых уровнях. Эта черта литературы для детей наиболее выпукло представлена в «кумулятивных произведениях», но в той или иной степени характерна для всей детской литературы.

Литература

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). - М., 1989.

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата. // Изв. АН СССР. Сер. яз. и лит. - М.: Наука, 1981. № 4.

Архипов И.К. К проблеме значения словообразовательных суффиксов // Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. - СПб., 1995.

Асанова К.К. Проблема адресата в английском драматургическом тексте. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1992.

Гохлернер М.М. Зависимость смыслового восприятия от синтаксической структуры высказывания // Смысловое восприятие речевого сообщения. - М., 1976.

Ингве В. Гипотеза глубины // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 4. - М., 1965.

Куций В.В. Визуальный текст как носитель прагматических значений // Лингвистика текста и методика преподавания иностранных языков. - Киев, 1981.

Леонтьев А.А. Психолингвистика // <http://encycl.yandex.ru>.

Мацковский М.С. Проблемы читабельности печатного материала // Смысловое восприятие речевого сообщения. - М., 1976.

МИВР - Методика исследования восприятия речи. - Л., 1972.

Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс. - Саратов, 1975.

Сусов И.П. История языкознания. http://homepages.tversu.ru/~ips/Hist_10.htm#10.2.3

Тураева З.Я. Этнопсихолонические особенности адресованности текста // *Studia Linguistica*. Вып. 4. - СПб, 1997.

Фрумкина Р.М. Возникновение психолонгвистики. Психолонгвистика первого поколения. <http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008268/1008268a1.htm>).

Chatman S. Story and discourse. Narrative structure in fiction and film. Ithaca. - London, 1980.

Shannon C.E. A mathematical theory of communication // *The Bell System Technical Journal*, 1948, vol. 27, N 3.

Источники

Kipling R. Just So Stories. - М., 1968.

Kipling R. Kim. Penguin Books, 1994.

Twain M. The Adventures of Hucklebery Finn. W.W.Norton and Company. - New York. London.

Twain M. The Man that Corrupted Hadleyburg // *The mysterious stratnger and other stories*. Dover Publications, New York. 1992.

Dahl R. Charlie and the Great Glass Elevator. - Puffin Books, 1986.

Carroll L. Alice in Wonderland. Moscow Progress Publishers, 1979.

Grahame K. The Wind in the Willows. Penguin Books, 1994.

©Белоглазова Е.В., 2004

Э.А.Лазарева
Екатеринбург

**Когнитивное столкновение – прием построения текстов
современных СМИ**

Коммуникативное пространство, в котором существуют индивиды в определенное время и на определенной территории, складывается как структурированное единство множества взаимодействующих дискурсов. Они связаны с разными коммуникативными областями и отражают разные когнитивные сферы. Выделяются многочисленные типы коммуникаций, назовем некоторые из них: политическая, бытовая, научная, художественная, рекламная. Для выполнения коммуникативных целей формируются дискурсы, используемые в соответствующих областях. Так, существуют политический, научный, художественный, разговорно-бытовой, рекламный дискурсы. Рассмотрим, как тексты массовой информации моделируют взаимодействие разных типов дискурсов для воздействия на адресата. Влияние на читателя (зрителя) СМИ может осуществляться и в виде манипуляции его сознанием, вмешательства в его когнитивную сферу. Мы остановимся на одном из множества способов создания взаимодействующих текстов СМИ. По нашим наблюдениям, в современных печатных и электронных СМИ, а также в политической рекламе эффективно используется прием построения составного текста [Лазарева 1994] (газетного номера, телевизионной передачи),

названной нами приемом когнитивного столкновения. Материал, использованный для выявления способов создания этого приема – это тексты разных видов массовой коммуникации. Мы остановимся на свертхтекстах [Купина] предвыборной кампании, предвыборных агитационных газетах и составных текстах телепередач.

1. Накануне выборов губернатора Свердловской области начали выходить разные журналистские материалы, направленные на предвыборную агитацию в пользу Андрея Вихарева – вице-спикера Совета Федерации РФ. Тексты, помещенные в разных СМИ, объединились тематически образом одного кандидата. Свертхтекст данной предвыборной кампании характеризуется следующими прагматическими дифференциальными признаками (жанрово-локально-темпорально-политический аспект). Предвыборная кампания А.Вихарева началась гораздо раньше разрешенного срока (это и повлекло судебный иск против депутата), что во многом обусловило характер текстов: многие из них представлены как не специально предвыборные произведения. Главная коммуникативная цель свертхтекста – сформировать когнитивную сферу потенциального электората на основе положительного отношения к будущему кандидату. Ключевые смыслы, формируемые данным политическим дискурсом, – «Я его знаю», «Он мне духовно близок».

Свертхтекст предвыборной кампании А.Вихарева имеет следующие прагматические характеристики. Используются произведения разных средств массовой коммуникации: газеты, телевизионные рекламные ролики, рекламные растяжки.

Темпоральные характеристики: время появления текстов – до предвыборной кампании по выдвижению кандидатов в губернаторы Свердловской области и в период деятельности А.Вихарева в качестве кандидата в губернаторы. Локальные характеристики: все тексты разных жанров активно распространялись на большой территории Свердловской области.

Прием когнитивного столкновения, используемый в данных свертхтекстах, может быть представлен в двух аспектах: коммуникативном и когнитивном.

Коммуникативный аспект.

Представленные дискурсы используют разные способы влияния на адресата, основанные на прямой и не прямой (косвенной) коммуникации. Под прямой коммуникацией будем понимать ситуацию общения, когда налицо все компоненты речевого акта (автор, адресат, сообщение) и высказывание включает в себя смыслы, прямо заявленные автором. Непрямую (косвенную) коммуникацию мы понимаем, вслед за В.Дементьевым, как «содержательно осложненную коммуникацию, в которой понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретационных усилий со стороны адресата... итоговый смысл высказывания выводится слушающим, и для этого оказывается недостаточно одних правил языка» [Дементьев 2000]. Формула оппозиции прямой и не прямой коммуникации: «говорю то, что говорю» - «говорю не то, что говорю».

Прямая коммуникация представлена в рассматриваемом сверткесте в виде телевизионного ролика и газетных публикаций. Местные (екатеринбургские) телеканалы демонстрируют кадры – изображения улыбающегося А.Вихарева на фоне вербального контекста: «Андрей Вихарев. Смелый. Молодой. Здоровый. Наш уральский парень». Этот дискурс основан на взаимодействии и взаимном дополнении вербальных и невербальных кодов: словесный текст полностью соответствует фотографии, изображающей цветущего симпатичного политика.

Прямое воздействие проводится в газетных текстах под названием «Уральский характер» - расширенные заметки, посвященные положительному образу А.Вихарева. Заметки открываются той же знакомой фотографией и лидом – тезисом о настоящем уральском характере. «Урал издревна славился не только богатством недр и горными мастерами. Главным достоянием опорного края державы всегда были люди». Восхваляющие А.Вихарева заметки были опубликованы в бесплатных рекламных газетах «В каждый дом» (2003. № 25) и «Ва-банкъ» (2003. № 25), основное содержание которых – рекламирование товаров, продуктов, услуг. Помещение текстов

в такие издания определяет осложненное коммуникативное воздействие на адресата. При обращении к названным рекламным изданиям читатель находится в ситуации «Я читаю газету» - «Газета бесплатная» - «Я воспринимаю рекламу». Продвижение образа политика, по видимости, отодвигается на второй план, становится не очень навязчивым, что облегчает манипулирование [Цуладзе] сознанием адресата.

Тексты непрямой коммуникации в сверткесте предвыборной кампании А. Вихарева более разнообразны. Это плакат фонда А.Вихарева «Дети – наша жизнь. Благотворительный фонд Андрея Вихарева», где вербальный канал соседствует с иконическим – картинка, сделанная по типу детского рисунка. Непрямая коммуникация представлена и газетными текстами. В бесплатной рекламной газете «Ва-банкъ» (2003. № 23) А.Вихарев обращается с поздравлением к жителям области: «Дорогие уральцы, поздравляю вас с одним из важнейших праздников нашей страны – Днем независимости России!... С праздником, дорогие сограждане!». Текст открывается все той же знакомой фотографией А.Вихарева («Наш уральский парень»).

Традиция поздравлений земляков поддержана обращением к читателям: «1 июня – всемирный день ребенка. Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с первым днем лета. ...Андрей Вихарев. Вице-спикер Совета Федерации РФ» (Ва-банкъ. 2003. №22). Опять-таки в едином составном тексте газетного издания происходит взаимодействие коммуникативных областей: политика (скрывается сфера предвыборной агитации) – реклама товаров – дети. Такое взаимодействие текстов разных коммуникативных свойств позволяет завуалировать цели авторов, сместить акценты с прямой манипуляции сознанием на близкую каждому область детства, поддержки молодого поколения. Прием политического дискурса формируется за счет диссонанса коммуникативных целей: газета призвана рекламировать товары, при этом она включает в себя произведения политической направленности.

А.Вихарев выступает и в газете «Уральские факты» (2003. №1), предназначенной для жителей Свердловской области, о чем говорит подзаголовок. На поверхности цель издания –

информация читателей о больных проблемах жизни общества, о скандальных фактах. Герой предвыборной кампании, А.Вихарев, выступает с комментарием к статье «Факты – вещь упрямая» о горячих проблемах жителей области. Тема комментария, снабженная той же фотографией сенатора, - «Большинство жизненных неурядиц появляется там, где власть бездействует либо принимает решения, идущие не на благо простых людей, а во имя интересов влиятельных собственников уральских предприятий». Опять наблюдается смещение коммуникативных целей: с предвыборной агитации – на борьбу за интересы народа.

Такой же не прямой коммуникативный ход – в газете «Фонд Вихарева» с подзаголовком «Детский благотворительный фонд» (2003. №02). Газета (опять-таки бесплатная) содержит публикации, посвященные проблемам детей в современной России. На открытии номера – фотография А.Вихарева в окружении детей. Цель не прямой коммуникации – «говорит не то, что говорит» - внедрение положительного образа политика в сознание потенциальных избирателей.

Таким образом, рассматриваемый прием с использованием текстов прямой и не прямой коммуникации основан на подмене целей средств массовой коммуникации. «Соседство» в составном тексте газеты публикаций чисто рекламного и политического характера позволяет сместить акцент воздействия на читателя: не продвижение товара, а участие в выборах. Точно так же внесение образа политика в произведения иной, не политической направленности, позволяет манипулировать сознанием избирателей, уставших от прямой, навязчивой предвыборной пропаганды. Использование изданий, прямо не предназначенных для политической рекламы, позволяет, хотя бы при первоначальном восприятии, отодвинуть на второй план цели манипулирования сознанием читателя.

Когнитивный аспект.

Формирование положительного образа политика (в данном случае, А.Вихарева) строится за счет создания дискурса, отражающего активное взаимодействие разных когнитивных сфер. Сфера политики, отделенная в действительности от других областей жизни, в газете соседствует с областью личных

потребностей человека, его домашних проблем. Рассмотрим, как это делается.

Бесплатные рекламные издания («газета в почтовый ящик») предназначены для всех и каждого. Рекламируются в них продукты питания, одежда, мебель, лекарства и медицинские услуги. Это бесплатные издания, которые в наше время становятся единственным видом печатных СМИ для многих людей. Эту газету приносят, ее дарят, она легко доступна, привычна. В таких изданиях соседствуют реклама и телепрограмма, что также облегчает продвижение товара. Восприятие подобных изданий формирует когнитивную сферу личных интересов человека, иногда доступных или недоступных товаров и услуг. Это область бесплатной, внедренной информации, а бесплатное привлекательно для человека. Такие газеты – свои, домашние, смысл «свой» сопровождает их восприятие.

Иллюстрируя сказанное, остановимся на газете «Ва-банкъ» (2003. №.22). Номер состоит из 26 страниц, где напечатаны разнообразные объявления – от тушенки, сахара, кондиционеров, бытовой техники, мебели – до квартир, ритуальных услуг, есть кроссворды, рекламная заметка-отзыв похудевшей от использования рекламируемых средств женщины, включена сюда и телепрограмма. Впечатление от номера – пестрота объявлений. При перелистывании газетных страниц читатель натывается то на одну, то на другую рекламу. Все рекламные информационные объявления отражают единую когнитивную область человеческих потребностей, личной бытовой сферы. При этом на первой полосе расположено поздравление А.Вихарева со Всемирным днем ребенка (его мы уже цитировали). Этот текст политической косвенной коммуникации внедряется в чуждую ему когнитивную область. Прием когнитивного столкновения позволяет относительно мягко, не очень навязчиво внедрять в сознание читателя политическую информацию. Портрет А.Вихарева и текст поздравления «Дорогие земляки!» непосредственно соседствует с рекламой кондиционеров и тремя разными рекламами шкафов-купе. Поздравление А.Вихарева воспринимается читателем

мимоходом, вместе с другими, отражающими когнитивную область личных интересов человека.

Важно отметить общий положительный оценочный тон газеты. Реклама, что свойственно этому виду массовой коммуникации, всегда несет положительную оценочность своего товара [Лебедев-Любимов 2002], что также косвенно отражается на текстах политика, проецируется на них.

Обратимся к характеристике речевых средств, создающих образ героя политического дискурса. Основные когнитивные сферы, формирующие представленный в текстах образ политика А.Вихарева, следующие: обращенность к людям, стремление сделать все для их блага; российский патриотизм; положительные личностные качества.

Когнитивная сфера «Обращенность к людям».

Эта сфера формируется с помощью речевых средств, используемых в текстах, и привлекаемых фактологических сведений (вербальный канал), а также иконического кода. В первую очередь, все газетные материалы, касающиеся А.Вихарева, открываются его фотографией: доброжелательный открытый взгляд, прямо направленный на собеседника. Частое появление этих фотографий делает фигуру политика знакомой, хорошо запоминается многим.

Тексты газетных публикаций передают весомые факты, говорящие о деятельности А.Вихарева. Он образовал детский благотворительный фонд для помощи детям Свердловской области. Газета «Фонд Вихарева» подробно рассказывает о детском празднике (заголовок «Детям подарили праздник»), о подарках детям (заголовок «Каждому ребенку – шарик и книжку»), об акции «Моя новая семья» («Мы хотим помочь ребятам обрести новую семью» - цитата из публикации). Составной текст газеты «Фонд Вихарева» построен как сочетание положительнооценочных публикаций, где говорится об активной деятельности фонда, и текстов о тяжелом положении детей, плохом здоровье, о детской безнадзорности. Отдельная публикация – «Область вымирает», где приведены цифры – рождаемость и смертность детей в области. Газетный номер (2003. № 2) построен на контрасте: положительная

деятельность Фонда Вихарева и тяжелое положение детей в регионе.

Когнитивная сфера «Российский патриотизм».

А.Вихарев выступает как сторонник российской идеи, что, в первую очередь, проявляется в выступлении по поводу нового государственного праздника – Дня независимости России. В поздравлении, направленном «Дорогим согражданам», говорится о стремлении «почувствовать себя гражданином одной великой страны». По всему контексту проходит идея единения народа по имя процветания Родины, что выражено разнообразной лексикой. Часто используются слова, в которых выражен смысл «единение»: «почувствовать себя гражданином», «общие усилия», «сограждане».

Идея работы для процветания страны выражена и в комментарии под рубрикой «Трибуна», где автор выступает как борец с бездействующей властью, принимающей решения «во имя интересов влиятельных собственников уральских предприятий». Затронуты многие проблемы: и нехватка зерна как причина подорожания хлеба, и отсутствие горячей воды в городе, и проблема плохих дорог, плохого медицинского обслуживания населения, и снижение жизненного уровня населения Урала. Изложение болезненных фактов наталкивает читателей на мысль, что существует выход из тяжелого положения и, очевидно, автор комментария может его подсказать.

Когнитивная сфера «Положительные личностные качества».

Смысл физического здоровья героя политического сверттекста передается прямо, настойчиво, однозначно. Это, прежде всего, телевизионный ролик «Андрей Вихарев. Смелый. Молодой. Здоровый. Наш уральский парень». Такой откровенно вербующий текст манипулирует сознанием потенциального избирателя, в подтексте выражая мысль о полной пригодности политика к любой государственной деятельности. Тот же настойчиво восхваляющий характер имеет расширенная заметка «Уральский характер», где названы все лучшие качества личности А.Вихарева: «Прямота, целеустремленность и презрение к трудностям – вот что всегда отличало наших земляков. ... И он своего добьется, такой уж у него характер.

Настоящий. Наш. Уральский». Текст представляет собой прямое, неприкрытое восхваление политика, настойчивое внедрение в умы избирателей мысли о необходимости проголосовать за такого нужного работника.

Приведем схематическое изображение способов создания рассматриваемого выразительного приема

Прием когнитивного столкновения



2. Прием когнитивного столкновения активно используется для создания манипулятивных агитационных текстов и других политиков. Аналогичные примеры применения этой технологии – газеты «Город и мы» (2003. №8), «Точка отсчета. Газеты XXI века. Специальный выпуск. Стариков» (2003. 19 июня). Оба издания построены как многотемные газеты, ориентированные на широкий круг читателей. Главная, реальная, цель таких изданий – продвижение образа конкретного политика («Точка отсчета – А.Стариков, «Город и мы» - А. Богачев). Остановимся на особенностях составного текста этих изданий.

В отличие от газеты «Фонд Вихарева», концепция которой строится вокруг одного смыслового центра, названные издания многотемны. Различие это обусловлено политическими причинами – характером личности политика, для продвижения образа которого создается газета. А.Вихарев – глава одноименного благотворительного фонда с ясно определенной областью деятельности. А.Стариков и А.Богачев не имеют таких

особенностей, это политики «широкого спектра действия», что и обуславливает другую концепцию газет. Однако эти различия имеют внешний характер, главная, скрытая, цель газет – манипулирование сознанием читателей с целью вмешательства в их когнитивную сферу для побуждения к определенным действиям во время избирательной кампании.

Итак, газеты «Точка отсчета» и «Город и мы» освещают различные вопросы современной жизни, а, по сути, они создают образ политика – происходит намеренное столкновение различных когнитивных областей. Коммуникативная роль «читатель газеты» намеренно подменяется, вытесняется коммуникативной ролью «я избиратель», моделируемой подтекстом газеты в ситуации предвыборной агитации.

Общая главная направленность обеих газет – передать смысл обращенности к читателю, заинтересованности в его благополучии. «Герой» газеты – Александр Богачев – депутат Палаты представителей Законодательного Собрания Свердловской области – выступает в роли борца за благо жителей: он борется с чиновниками в защиту интересов жильцов реконструируемой с 1993 года «хрущевки» на ул. Белореченской; он вручает премии медалистам Верх-Исетского района; он обращается к молодежи города, призывая «отстаивать свои законные интересы и интересы России» на грядущих выборах; он борется против принудительного перевода бюджетников на выплату зарплаты через банкоматы; он поздравляет детдомовцев с Международным днем защиты детей. Выражение внимания читателям – это публикация номера пейджера депутата и высказываний благодарных жителей города, а также кроссворда, чтобы их развлечь.

Составной текст газеты, включающий в себя указанные публикации, передает двуслойный смысл. Внешний, вербально выраженный, смысл – стремление облегчить жизнь людей. Борец за это – А.Богачев. Второй смысловой слой – борьба за электорат, манипулятивное вмешательство в когнитивную сферу личности. Борец тот же – депутат А.Богачев. Выражение второго смыслового слоя и есть главная цель подобных изданий, для достижения которой и используется прием когнитивного

столкновения. Аналогичный характер имеет и газета «Точка отсчета. Газета XXI века. Специальный выпуск. Стариков».

3. Прием когнитивного столкновения используется, как мы показали, для создания манипулятивных текстов. Но его применение гораздо шире - не манипуляция, а воздействие вообще. Речь идет о том, что сегодня прослеживается тенденция использования когнитивного столкновения в качестве экспрессивного приема при создании произведений разных СМИ для привлечения внимания адресата, повышения воздействующей силы текста. В качестве примера остановимся на двух передачах НТВ: «Растительная жизнь» и «Кулинарный поединок». Эти программы – яркая иллюстрация того, как смело и удачно сталкивают разные области жизни в одном произведении.

Программа «Растительная жизнь» (ведущий Павел Лобков). Главную тематическую область передачи трудно определить однозначно. Ведущий общается со своим героем (героями) по поводу работы на дачном (садовом) участке. Камера показывает загородный ландшафт, дом героя, посадки на участке. Ведущий со своими помощниками (садоводами, ландшафтными дизайнерами) помогает хозяину участка украсить его, иногда полностью преобразить, придать современный, изысканный вид. Для этого высаживают цветы, часто экзотические, другие растения, которые преобразуют территорию. Подробно рассказывается о растениях, обсуждаются приемы создания сада – горки, клумбы, ограды, фонтаны. Обязательно приводятся латинские названия цветов, травы, обсуждаются приемы их разведения. В этой части освещается сфера «природа, сад, биология». Собеседники показывают увлеченность этими разговорами, они активно делятся своими знаниями в области биологии, садоводства, садово-парковой архитектуры.

Другая когнитивная область, моделируемая в программе, - это отдых, вовлечение героев и зрителей в ситуацию отвлечения от жизненных проблем. Релаксация, развлечение зрителя – это одна из необходимых, важных функций телевидения, не только информирующего зрителя, но и помогающего ему получить необходимую разрядку. Однако автор - ведущий телепроизведения не ограничивается легкими беседами о

садово-огородных проблемах и рассуждениями об интерьере загородного дома. Эта когнитивная область сталкивается с другой – идет разговор о политике, насущных вопросах современной жизни, о людях политики, об общественных деятелях вообще, о ярких и тяжелых событиях их биографий. Эти темы сами собой возникают, поскольку гости П.Лобкова – известные люди, их жизнь тесно связана с жизнью России. Назовем лишь некоторые фамилии: Л.Нарусова, В.Новодворская, В.Буковский, А.Войнович. Непринужденный разговор на темы природы неизбежно перерастает в обсуждение проблем сегодняшней жизни. Использование приема когнитивного столкновения позволяет воссоздать обстановку неформального общения, вовлечь в него зрителей и ненавязчиво передать важное политическое содержание.

Прием когнитивного столкновения может быть применен в телепрограммах неполитической направленности. Остановимся на передаче НТВ «Кулинарный поединок». Авторы, в поисках выразительности, сталкивают разные цели: релаксация зрителей, развлечение их; приготовление еды, получение новых кулинарных знаний; получение сведений о жизни VIP-персон, об их личностях. Герои передачи соревнуются в приготовлении интересных, необычных блюд (игра, релаксация в сочетании с кулинарными проблемами). В процессе просмотра передачи зрители знакомятся с индивидуальными особенностями известных людей, их привычками. Сочетающиеся когнитивные сферы оказываются тесно взаимосвязанными, текст телепередачи экспрессивно усложнен и коммуникативно многозначен.

Подводя итог сказанному, отметим, что прием когнитивного столкновения активно используется в современных СМИ с целью оптимизации восприятия произведения (телевизионный, политический дискурс). В зависимости от установки автора, экспрессивно воздействующий текст может выполнять и функцию манипулирования сознанием адресата.

Литература

Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры. – Саратов, 2000.

Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты. – Свердловск, 1994.

Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – М., 2000.

Цуладзе А. Большая манипулятивная игра. - СПб., 2002.

©Лазарева Э.А., 2004

Якуб А.Малик

Польша

**Внезапная смеховая атака (о категории “comic relief”
в литературе второй половины XIX века)**

В эстетическом сознании модернизма в настоящее время существует убеждение, что культура «серио», оперирующая пафосом, создающая атмосферу значительности и/или задумчивости, свободно пользующаяся категориями трагизма и ужаса, сосредоточенная на рудиментарных метафизических вопросах, должна быть уравновешена сочинениями сатирическими, комическими, юмористическими, причем не только в качестве двух взаимонезависимых культурных течений, но и в пространстве одного текста, одного художественного выступления. Из литературно-теоретических и литературно-критических высказываний того времени следует убеждение о недостаточном количестве элементов смеховой культуры в культурной действительности второй половины XIX века.

Нехватка смеха оставила нас в тисках всеохватного пессимистического исторического фатализма, принципиальности и саркастичности чувств, чрезмерно серьезного восприятия сферы общественной деятельности и стремления без устали оплакивать былые невзгоды и беречь раны. Неприятие комической стороны ведет к тому, что деятельность «профессиональных сатириков» (в польской литературе это Ян Лам, Миколай Бернацки Родоч, Адольф Новачиньский, Ян Леманьский, Тадеуш Бой Желеньский) – с таких позиций выглядит разве что сопутствующим недугом. Но это неприятие и то, что смех не вписан в художественную программу обеих эпох, однако, не означает его полного отсутствия.

Рядом с серьезной культурой на равных с нею правах живет и культура смеха. А точнее в той же самой культуре существуют два течения – серьезное и карнавальное, будничное и праздничное. Михаил Бахтин справедливо отмечает, что любой трагический (и вообще серьезный) подход к материалу должен быть уравновешен параллельными комическими сочинениями. Он указывает на аналогию с античной тетралогией, в которой три трагедии уравновешивались «четвертой драмой», сатирической⁵. Таким образом карнавальное течение должно было бы быть «четвертой драмой» всей культуры, о чем и повествует концепция. Это одно из наших основных положений, которыми мы всем комическим сочинениям сообщаем функцию уравновешивающую⁶.

Одной из возможностей проявления течения культуры смеха оказалось в XIX веке тогда же и родившееся кабаре (вспомним, что парижское Chat Noir было создано в 1881 году). Оно стало способом проявления развлекательности по-новому не только в народной культуре, в которой эта развлекательность не была еще затерта, но также и в пределах так называемого высокого искусства. Мы отмечаем также, что мыслители этого времени начинают иначе оценивать роль смеха, праздничного смеха – как его называет Бахтин – проникающего в целостность культуры, универсального, ибо направленного на всех и вся⁷. Но теоретическая рефлексия стремится не только констатировать общее (сущность смеха, его эстетические и общественные

⁵ Михаил Бахтин. Из предыстории романного слова. [W:] *Problemy literatury i estetyki*. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982, s. 489-536.

⁶ Необходимо также помнить и о других функциях смеха. Во многих произведениях с помощью смеха компрометируются сообщества модернистских художников, обнажаются их слабые стороны и показывается внутренняя пустота (например, в новелле А. Новачинского *Gladiolus tavernalis* или в романе Х. Збержховского *Художники*). – Более подробно на эту тему см. Andrzej Z. Makowiecki: *Młodopolski portret artysty*. Warszawa 1971.

⁷ Михаил Бахтин: Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Тłum. А.А.Горениowie. Kraków 1975, s. 69.

функции и т.д.), но и дифференцировать как можно точнее его значение и функции в культуре. В то время был написан очерк Анри Бергсона «Смех»⁸. Тогда же Фридрих Ницше разрабатывает подобную бахтинской модель, поделив культуру на аполлоническую и дионисийскую. По его мнению, смех может быть в равной мере отрицанием мира и согласием с этим миром одновременно. Специфическую его роль он видел так:

Быть может, именно здесь мы откроем область нашего изобретения, область, в которой можем еще претендовать на оригинальность, например, как пародисты мира и арлекины Бога, несмотря на то, что ничего из нынешнего не имеет перед собой будущего, но именно смех наш может будущее обрести.⁹

В польской культуре только лишь деятельность первого артистического кабаре, каким был «Зеленый Шарик» (действовал в 1905-1918 гг.) так широко распахнула двери юмору. Она снова сделала возможным проявление карнавального развлекательного течения в культуре. По мнению Рышарда Ныча, кабаре – это «проявление саморегуляции неравномерно развивающейся парадигмы»¹⁰. Художникам того времени кабаре позволило понять то, о чем писал Адам Гжимала-Седлецки: «Юмор как художественное явление – это такая же серьезная творческая категория, как драматичность или страх».¹¹

⁸ Henri Bergson: *Śmiech. Esej o komizmie*. Tłum. S. Ciołkowicz. Kraków 1977.

⁹ Fryderyk Nietzsche: *Poza dobrem i złem*. Przeł. S. Wyrzykowski. Wyd. 2. Warszawa 1907, s. 180.

¹⁰ Ryszard Nycz: *Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku XX aż do pierwszej wojny światowej*. [W tegoż:] *Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie*. Warszawa 1997, s. 254.

¹¹ Quis [Adam Grzymała-Siedlecki]. „Museion” 1912 z. 7. s. 113. – A Ян Леманский добавлял: «Каждый великий творец, великий поэт был и есть, должен быть великим сатириком» (Jan Lemański: *Wstęp*. [W:] *Satyra polska. Antologia*. Oprac. J. Lemański. T. 1. Warszawa 1914, s. XVII).

Первоначальное предположение дает нам возможность попытаться разработать теорию, с помощью которой мы могли бы искать совершенства юмора у художников, в произведениях и структурах культуры, в которых де факто мы не подозреваем наличия острот, либо в тех, в которых спорадические проявления культуры смеха затрудняют классификацию этих произведений, мнимо разбивая их архитектуру.

Создание подобного исследовательского инструментария позволит нам ответить на вопрос, на самом ли деле смех – категория всеобъемлющая. Наблюдения следовало бы провести над творцами так называемой высокой литературы и искусства – произведений, являющих собой канон литературы данного народа. Исключить же необходимо тех, чьи основы творчества составляют комические произведения (т.е. профессиональных сатириков).

*Термин „*comic relief*” не имеет соответствия в литературоведческой терминологии нашего континента. Описательно мы можем перевести его как «комическую разрядку», «комическое освобождение» - принимая во внимание функцию этого термина, однако стремясь постичь его онтологический статус, мы будем понимать его как «комическую вставку», «комическую паузу», и как таковой будем его здесь трактовать.¹² У этого термина есть хорошая дефиниция в английском языке. *Comic relief* это:

An amusing scene, incident, or speech introduced into serious or tragic elements, as in a play, in order to provide temporary relief from tension, or to intensify the dramatic action.

¹² Оба этих аспекта мы встречаем в дефиниции „*comic relief*”, данной *Merriam-Webster Dictionary*. Там мы читаем: „*Comic relief* – a relief from the emotional tension of a drama that is provided by the interposition of a comic episode or element” (<http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary>). В этой дефиниции описана как функция смягчения, так и способ, с помощью которого этот элемент вводится в текст (*interposition*).

Relief from tension caused by the introduction of occurrence of a comic element, as by an amusing human foible.¹³

Эта категория, до сих пор не существующая в литературоведении, должна быть основательно изучена и описана. Предыдущие наблюдения подтверждают, однако, гипотетическую предпосылку, что эта категория уточняет, конкретизирует логосферу культуры смеха и обосновывает наличие элементов такой культуры в текстах, которые мы привыкли трактовать серьезно.

Так что же такое „*comic relief*”? Это юмористические элементы (или, обобщенно говоря, комические), которые появляются в отдельных текстах незапланированно (ибо не были включены в продуманную фабульную структуру произведения) и не следуя условностям (эпохи или жанра, для которых нормативная поэтика закладывает элементы комизма как *conditio sine qua non*). „*Comic relief*” возникают преимущественно независимо от стиля произведения, а часто даже вопреки стилю, потому что они никоим образом преднамеренно не вписываются в структуру текста, не существуют в ней *in potentia*, но появляются на правах побочного, незапланированного (структурно) и нерегулярного вкрапления. Эти комические паузы, вставки являются проявлением индивидуального чувства юмора и манящего художника желания прокомментировать описываемую (либо создаваемую) действительность.

Comic relief посему являются комическими эпизодами, комическими инкрустациями, вводимыми в границы текста на принципах контраста, дополнения творимого (героев, представленного мира) или комментария к основной и, добавим, серьезной фабульной линии, они должны замедлить действие, и, что важнее, снизить уровень психологического напряжения, а также прокомментировать действительность. *Comic relief* суть элементы, уравнивающие пафос, серьезность и иные, не-комичные явления.

¹³ Webster's *Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*. New York 1994, p. 410.

Описание самих *comic relief* должно было бы предстать в виде внушительных размеров каталога, к которому необходимо было бы также добавить пояснения, вводящие «общие сведения», связующие отправителя с адресатом и попытку определения функции данной комической вставки и соотнесения ее с общим устройством всего текста. Как я и говорил ранее, элементы „*comic relief*” мы обнаружим едва ли не во всех произведениях второй половины XIX и начала XX века, безотносительно того, будут ли это тексты реалистического, натуралистического или импрессионистического, символического и даже экспрессионистического направлений. Пожалуй, самой устойчивой против вкрапления *comic relief* является натуралистическая проза. В произведениях, созданных под влиянием прозы Золя или Флобера, мы отмечаем самую низкую частотность такого типа включений.

Категория *comic relief* – не описанная и не замеченная современными исследователями культуры – однако была истолкована уже в начале XX века и присутствовала в теоретическом сознании эпохи. Комментирующую функцию смеха в отношении явлений высокой культуры, а также существование его как второго, скрытого, подспудного порой течения в произведениях серьезных в польской словесности едва ли не первым отметил Адольф Новачиньский. В заметках о старопольской сатире, Речипосполитой Бабинской и Миколае Рее он констатировал постоянное совместное развитие *serio* и *buffo*, их взаимодополнение и взаимопояснение. Это утверждение прочитывается и в его статьях о Гейне, Шербарте и Мередите¹⁴. *Comic relief* могут выступать на любом уровне

¹⁴ Adolf Nowaczyński: *Satyra staropolska*. [W tegoż:] *Szkice literackie*. Poznań 1918, s. 12-13. [Prwdr. “Sfinks” 1914 t. 2.] - Eseje z tomu *Studia i szkice*. Lwów 1901.: *Wilhelm Hogarth. Profil literacki*. [Prwdr. “Czas” 1900 nr 305-306.] – *Paweł Szeerbart. Sylwetka wesołego poety*. [Prwdr. “Życie” 1898 nr 31-33.] – *Teodor Tomasz Heine. Sylwetka wesołego malarza*. [Prwdr. “Krytyka” 1900 t. 2. z. 10.] Sporo także o rozumieniu funkcji satyry przez Nowaczyńskiego mówią artykuły z tomu *Wczasy literackie*. Warszawa 1906.: *Maitre Rabelais*. [Prwdr. “Ateneum”

литературного текста. Мы можем с полной ответственностью утверждать, что они касаются как основных, базовых, так и самых сложных элементов текста. Целые фабульные конструкции сопровождаются параллельными комическими фрагментами, относящимися к тем же самым или наиболее близким фабульным или формальным структурам.

Категория *comic relief*, судя по всему, нарушает *decorum* литературного текста как в пределах создаваемого мира, так и в тематике, мировоззрении, идеологии произведения, вводя неожиданный элемент смеха, внезапности комизма. *Comic relief* оперирует ловушкой, какой является смех. Эта категория часто оказывается гетерогенной в отношении текста как целого и в отношении принципов, управляющих текстовой связностью. Гомогенность фабулы, акции, наррации, системы героев, создаваемого мира нередко оказывается нарушена гетерогенными *comic relief*. Но на высшем уровне архитектоники (можно ли говорить здесь о метафизике текста?) *comic relief* представляют собой однако элементы того *decorum*, составные части, позволяющие литературным текстам выявить их соответствие излагаемому содержанию, идеям, подходам. Они дополняют многомерность текста дистанцией по отношению к самому себе. Ибо смех является не только противопоставлением (понимаемым как антагонизм) серьезности, но так же и комментарием к этой серьезности, ее договариванием. Использование комических элементов часто дает намного большие возможности для характеристики картины мира произведения. А помимо этого, часто оказывается невозможным разделение комизма и трагизма, так тесно они переплетены друг с другом.

Comic relief при поверхностном рассмотрении является всего лишь паузой, дающей минутный отдых, но реально выполняет глубоко скрытые в структуре текста точно определенные функции и задания. Он должен привнести в текст не только элемент неожиданности (или даже эпатажа) или замедления

1903 z. 2.] – Piotr Aretino, *bicz księząt*. – *Cabaretiasis*. – Jerzy Meredith. [Prwdr. "Głos" 1904 nr 50-51.]

(ретардации), но и должен стать идейным дополнением, «метафизическим договариванием (приложением?)» в тексте. В культуре и литературе второй половины XIX века можно обнаружить и другого типа вставки, разбивающие однородность текста (лирические, сказочные, эротические и др.). Однако они не выполняют таких функций, как *comic relief*, будучи всего лишь вставками (*interpositions*) лишенными, тем не менее, успокаивающих функций, они не дают передышки и не способствуют снятию напряжения (а посему не являются *relief*).

Comic relief являются свидетельством многомерного и многостороннего синкретизма культуры второй половины XIX века. Эти включения, паузы разбивают однородность культуры, вводя в нее элемент, генетически чуждый. Эту категорию мы наблюдаем не только в литературе. Рискнем предположить, что она наличествует во всех текстах культуры второй половины XIX века. Прерывание протяженности и формальной связности такого текста, между прочим, наблюдается и в философии (пожалуй, отсюда и происходит популярность афористической философии Ницше), и в живописи, и в архитектуре. В архитектуре серьезность и достоинство мещанской культуры комментируются в стиле сецессион. В «текст», например, основательного и серьезного мещанского здания или городского дворца входят элементы юмористические, несерьезные, принадлежащие к сатирической стихии. Благодаря этому находятся новые качества и новый взгляд на культуру. Пожалуй, в таких случаях функционирует механизм, описанный Рышардом Нычем: «Введение фикции в действительность, искусственных, ненатуральных, условных элементов в будничность обывательской экзистенции выявляет иной масштаб событий, создает новую систему значений, разоблачает жизнь посредством искусства – и наоборот, компрометирует искусство жизнью»¹⁵.

Некоторые из *comic relief*, очевидно, подготавливают место для гротеска в искусстве, которое делает комический комментарий одним из своих морфологических элементов.

¹⁵ Ryszard Nycz: Op. cit. s. 240.

Каков же смысл введения новой категории в инструментарий исследований культуры смеха девятнадцатого столетия? Полагаем, что она сделает возможным более многостороннее и глубокое понимание механизмов, действующих не только в текстах откровенно сатирических, но и позволит преодолеть тупиковое положение и невозможность холистической, целостной интерпретации текстов *serio*. Так как многочисленные комические вставки считались всего лишь нарушением упорядоченности художественного произведения, а при интерпретации их обходили стороной. Частыми были и попытки их объяснения в отрыве от целостной фабулы текста. В то время как эти комические паузы (вставки) интегрально связаны со всем произведением, и какое бы то ни было их исключение из этого контекста лишает их подлинного звучания и подлинного значения.

© Малик Я. 2004

©Е.В.Галигузова, перевод, 2004

Т.А.Снигирева, А.В.Снигирев
Екатеринбург

Лексика «грязной дюжины» в прозе писателей-аутсайдеров
(В. Ерофеев, С. Довлатов, Э. Лимонов)

*Посвящается А.В. Подчиненову
в память о его эльмашевском
детстве*

Безусловным знаком современной общественной жизни стало стремительное расширение сферы употребления сквернословия и, в первую очередь, самого низкого его слоя -

мата. Как-то вдруг перестали «работать» сразу все ограничители: возраст, пол, социальный статус. Используя удачную метафору В. Желвиса, можно констатировать, что «на поле брани» вышли все: рабочие и интеллигенты, юные барышни и деловые женщины, подростки и мужчины среднего возраста, стоящие на высокой ступени социальной лестницы.

Рост популярности сквернословия, существенно изменивший лингво-психологический портрет нации рубежа веков, можно объяснить по-разному:

- активное вторжение «мужского ареала», со свойственной ему жесткостью и прямотой высказывания, усиленного годами лагерей, войн, криминализацией общества, в жизнь повседневья;
- решительное отбрасывание всевозможных табу, породившее новый стиль жизни: хлесткий, ироничный, порой циничный, связанный с утратой идеалов *стёб*;
- изменение привычных общественно-политических, экономических форм жизнедеятельности, приведшее к ощущению постоянного психологического дискомфорта, требующего разных форм снятия, в том числе и языковых.

В итоге, по мнению Ю. Левина, интенсивное употребление инвективной лексики почти всеми носителями русского языка - это общая реакция общества на мир или, точнее, «матерный взгляд на мир», выражающий отношение и оценку предмета: «Легко представить себе мир, описываемый лексикой (...): мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором «все расхищено, предано, продано», в котором падают, но не поднимаются, берут, но не делают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят - но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием, - и все кончается тем, что приходит *полный тиздец*» [Левин 1996: 115, 119].

Еще одним безусловным маркером активизации использования лексики «грязной дюжины» (В. Желвис указывает, что «список наиболее популярных вульгарных инвективных идиом в каждой национальной культуре относительно беден - при теоретически безграничной возможности образования от этих идиом их производных. Бедность же основного ядра в данном случае находит отражение

даже в его названии на английском языке: *dirty dozen*, т.е. «грязная дюжина» [Желвис 1997: 39], в обществе, которое мы сами создали и в котором живем, стало возможным проникновение сквернословия в средства массовой информации и в художественную литературу. Непроизносимое стало произносимым. Непечатное - печатным. По остроумному замечанию А. Зорина, «легализация мата неизбежно должна привести к его превращению из особого языка в один из стилистических регистров русского литературного языка (...). Можно предположить, что свободный доступ общенной лексики на страницы печати медленно (человек консервативен), но неуклонно снизит ее встречаемость на заборах» [Зорин 1996: 136-137]. И все же до сих пор «Наблюдаются серьезные различия в употреблении инвектив в устном и письменном виде, причем последнее употребление обычно осуждается намного сильнее. Такой разрыв легко объясним. Прежде всего, по самой своей природе инвектива носит устный характер. Ее появление в печатном (письменном) виде резко меняет отношение к ней: из вырывающегося «от души» восклицания она превращается в нечто гораздо более долговременное, допускающее возможность остановиться, обдумать оскорбление, возможность своей реакции и т.д. Кроме того, здесь всегда присутствует ощущение нарушения табу не только автором, но и цензором, редактором и т.д., т.е. вызов общественной морали звучит более вызывающе, как бы от лица целой группы людей, вдобавок облеченных властью разрешать и запрещать» [Желвис 1997: 58-59]. В. Желвис добавляет, «что у большинства стран существуют не только общественные, но и юридические запреты на произнесение и написание (напечатание) определенных слов» [Желвис 1997: 194].

Однако русская художественная литература никогда не проходила мимо столь сильного приема, как обращение к резко сниженным пластам языка. Достаточно вспомнить обличающие строки протопопы Аввакума: «Блядословят на меня никониане...». Но в употреблении ненормированной лексики всегда были четкие гласные и негласные правила. Во-первых, она крайне редко использовалась, только в случае сильной художественной мотивации. Во-вторых, из текста,

рассчитанного на публику, «грязная дюжина» переводилась в дневники, записные книжки, частные письма, таким образом намеренно сужалась сфера ее восприятия. В-третьих, непечатное слово цензором/издателем видоизменялось за счет пропуска букв. В литературе советской эпохи названные правила не только сохранились, но в связи с общей пуританской установкой, еще более ужесточились. Ныне все запреты сняты, но некоторые уступки начались еще в годы «оттепели». «Грязная дюжина» в легальной литературе того времени допускалась в виде эвфемизмов («маслице-фуяслице» - «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына) или в форме «смягченного восклицания» («Ё-ка-ла-ма-не!» - «Царь-рыба» В. Астафьева, «Привычное дело» В. Белова), или путем прямого авторского высказывания о сквернословии своего героя («деревенская проза»).

Писатели, сознательно позиционирующие себя как аутсайдеры, то есть находящиеся вне легального литературного процесса и, следовательно, вне сферы печатного слова, активно использовали ненормативную лексику и как знак личной творческой свободы, и как своеобразный «тест на свободу» возможного читателя, и как этическую и эстетическую провокацию «стереализму» (соцреализму).

Частотность и способы использования общенной лексики зависели от типа творческого поведения, мировоззренческих принципов, психологического склада личности и (может быть, прежде всего) от философии языка, проповедуемой автором, от его художественной интенции. Данный тезис подтверждается исследованием ненормативной лексики в творчестве трех прозаиков, начинавших в период «оттепели» и пришедших к российскому читателю почти одновременно - в эпоху слома общественного сознания конца прошлого века: В. Ерофеева, С. Довлатова, Э. Лимонова.

Феномен «аутсайдерства» объединяет в сознании читателей названных авторов и их героев. Аутсайдерство как социопсихологическая установка и ее результат реализуется в однотипном писательском поведении: непубликация, алкоголизм, шизофрения, эпатаж. «На абсурд жизни - отвечать еще большим абсурдом» (С. Довлатов). В статье «Наша

маленькая жизнь», предвещающей первое основательное издание С. Довлатова в России, А. Арьев замечает: «Аутсайдеры Довлатова - без всяких метафор - лишние в нашем цивилизованном мире существа. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений» [Довлатов 1993: 9]. А герой романа «Это я - Эдичка» не только культивирует в себе психическую аномальность, но делает ее чертой своего больного поколения: «Я воспитывался в культе безумия. «Шиза», «шиз» - укороченное от шизофреник, так мы называли странных людей, и это считалось похвалой, высшей оценкой человека. Странность поощрялась. Сказать о человеке, что он нормальный, значило обидеть его. Мы резко отделяли себя от толпы «нормальных» [Лимонов 1993: 173].

Аутсайдерство как существование вне общепринятой нормы оборачивается разными вариантами протеста, главный из которых - эпатажность письма.

Однако после столь сходного позиционирования аутсайдерства между писателями примерно одного поколения начинаются принципиальные расхождения, проявляющие себя в отношении и к слову, и к миру. Все трое неоднократно подчеркивали свою привязанность к русской классике. «Похожим быть хочется только на Чехова», - замечал С. Довлатов, размышляя о своей манере письма. Не только жанровый подзаголовок - поэма, но вся книга-путешествие Вен. Ерофеева своей чрезвычайной интертекстуальной насыщенностью обращена к отечественной словесности. В послесловии к своему скандальному роману Э. Лимонов, внимательно отслеживая историю коммерческого успеха своей книги, одновременно называет себя Настоящим Русским Писателем, а Эдичку - «созданием русского духа», который останется в русской литературе «вместе с девочкой Лолиткой и донским казаком Григорием Мелеховым» [Лимонов 1993: 288]. Но в своих открыто автобиографических повествованиях писатели выбирают разные лики героев-творцов русской литературы. Довлатов - профессионала. Ерофеев - поэта-философа. Лимонов - злого мальчика.

Герой романа-тождеств «Это я - Эдичка» - анфан террибль, который бросает злобный вызов всему миру: «Я считаю, что я

подонки, отброс общества, нет во мне стыда и совести, потому она меня и не мучит, и работу я искать не собираюсь, я хочу получать ваши деньги до конца дней своих. И зовут меня Эдичка. И считайте, что вы еще легко отделались, господа (...). Иногда мной овладевает холодная злоба. Я гляжу из своей комнатки на вздымающиеся вверх стены соседствующих зданий, на этот великий и страшный город и понимаю, что все очень серьезно. Или он меня - этот город, или я его. Или я превращусь в того жалкого старика-украинца, который приходил к моим приятелям посудомойкам на наш пир, к униженным и жалким, он - еще более униженный и жалкий, или ... Или подразумевает победить. Как? А хуй его знает как, даже ценой разрушения этого города. Чего мне его жалеть - он-то меня не жалеет» [Лимонов 1993: 4, 21].

Не озлобленность, но именно всепоглощающая злоба становится основным дискурсом сознания и самосознания героя, поэтому у Лимонова шокирующий вызов миру дан непосредственно и грубо: частотность обценной лексики чрезвычайно велика. Возникает ощущение, что она является органичным (нормальным) способом мышления и автора, и героя. Не случайно, табуированная лексика активнее возникает в дискурсе размышлений, внутренних монологах героя, нежели в дискурсе описания внешнего мира, поступках, разговорах других персонажей романа. Эдичка признается: «Я не стеснительный» [Лимонов 1993: 3]; «Я не хотел быть справедливым и спокойным. Справедливость, еб вашу мать - это я оставляю для вас, для меня - несправедливость» [Лимонов 1993: 42]. Наконец, знаменитый финал романа: «- Я ебал вас всех, ебанные в рот суки! Идите вы все на хуй! - шепчу я» [Лимонов 1993: 278].

Даже среди писателей, активно использующих лексику «грязной дюжины» есть свои ограничения и запреты. По замечанию исследователя инвективной лексики, «В русской словарной практике грубое название женских гениталий «пизда» полностью отсутствуют даже в сокращении, включая воспроизведение речи низов общества. В последние годы оно появилось в «специальных» изданиях матерных частушек, непристойного фольклора и проч.» [Желвис 1997: 292].

Характерно, что ни у Довлатова, ни у Ерофеева этого слова нет, у Лимонова оно наиболее частотно, нередко связывается с определенной героиней, конкретизируется, выполняет номинативную функцию, что еще больше огрубляет ситуацию. Лимонов настойчиво определяет себя как представителя «грязного реализма». Интенсивное употребление обценной лексики в принципе чаще всего объясняют миметическими задачами реалистического искусства: «табуирование нескольких слов со всеми их производными делает заведомо нереалистической всю нашу литературу» [Чулаки 1991: 207-208]. Думается, в случае с Лимоновым мы имеем дело не только с установкой на реалистическую достоверность, может быть, даже и не с установкой на использование шокирующего стилистического приема, но, скорее, с чертой сознания самого автора. Сознания люмпена. Лимонов не скрывает ни своего максимально допустимого в искусстве тождества со своим героем, ни любви к нему. По мысли автора, Эдичка становится воплощением мучительной, но истинной любви (Лолита) и носителем универсальной, всечеловеческой истины (Мелехов). В самом романе неоднократно звучат отсылки к предшественникам Эдички. Если отель «Винслоу» и его обитатели, это - ночлежка Коростылева из «На дне», то «убийство любви», «продажная любовь» - отсюда - «долой ваш мир!» – это уже знаменитая злость Маяковского, столь же знаменитая, как ненависть Горького к сытому миру. Э. Лимонов, снимая парадоксальность, делая ставку на «прямоговорение», возможно, перешагнул уже за грань этического и эстетического риска. Психический склад личности, способной языково выразить себя главным образом низовой табуированной лексикой, представлен в романе не только как реальность лингвистического «я» конца XX века, но как реальность одобренная.

В Вестпоинте, в Американской Военной Академии, слушатели изучают русский язык как язык вероятного противника по книге Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». И это может показаться странным только на первый взгляд. Думается, вчитавшись в поэму, можно не только понять богатство русского языка, «осуществляющего себя главным образом в

придаточных предложениях» (И. Бродский), принять (или не принять) прочтение отечественной словесности, предложенное Вен. Ерофеевым, но в какой-то мере прикоснуться с таинственным специфически русским «мытарствам души».

Вен. Ерофеев как поэт-философ, поэт-экспериментатор, обнажает глубинные возможности, «взлеты и падения» человеческой психики, отраженные во «взлетах» и кажущихся «падениях» русского языка. Считается, что «грубиян редко одновременно упивается лирической поэзией. И наоборот, воспитанным на лирических стихах редко нравится похабная ругань» [Желвис 1997: 28]. Вен. Ерофеев органично сочетает наслаждение «лирической поэзией» и явную любовь к «похабной ругани». Но, есть смысл сразу заметить, что частота употребления обценной лексики в творчестве Вен. Ерофеева значительно меньше, чем у С. Довлатова, и неизмеримо меньше, чем у Э. Лимонова: 27 лексических единиц на весь весьма обширный текст романа «Москва-Петушки».

Размышляя о возможностях и допустимости сквернословия в художественной литературе, В.В.Химик утверждает: «*мат* - чрезвычайно прихотливое языковое средство, требующее в крайнем своем проявлении не только вкуса и меры, но и учета сложившегося к нему конвенционально негативного отношения. Это площадная лексика. *Мат* как объективная данность русского просторечия имеет две главные иллокутивные установки: инвективное воздействие (брань, оскорбление, унижение) и эстетическое выражение (остранение слова и текста, комический эффект, гротеск). В первой своей иллокутивной установке использование *мата* должно быть крайне ограниченным, если не запретным. Во второй иллокутивной установке, эстетической, *мат* может быть допустим, и борьба с ним бесперспективна» [Химик 2000: 247]. Инвективная функция *мата* в полной мере представлена в творчестве Лимонова, для Ерофеева важны его эстетические возможности, отсюда редкое чувство меры и такта в употреблении лексики «грязной дюжины». В этом смысле примечательна литературоведческая легенда, связанная со знаменитой главой «Серп и Молот - Карачарово» поэмы «Москва-Петушки». По замыслу автора, она должна была явить

собой редкое искусство, известное на Руси издревле: длительное связное повествование, состоящее полностью из «плетения матерных словес». Ерофеев написал эту главу, которая должна была свидетельствовать и об определенном даре автора, и о его свободе владения всеми лексическими возможностями языка. По одной из версий, глава, представляющая собой образец низового искусства, была утрачена (как был потерян в московских кабаках один из романов писателя). По второй - автор решительно устраняет ее из текста, оставив традиционные точки и последнюю фразу-аккорд, завершающий «исполнение» нецензурного текста: «И немедленно выпил» [Ерофеев 1995: 45].

Исходя из художественной задачи писателя - описания «мытарства души» - логичнее и достовернее вторая версия, которая свидетельствует и о присутствии «чувства меры и такта», и о том, что автор не хотел ограничиваться только ролью «скомороха», которую предлагают ему современные исследователи. Так, В. Линецкий в статье «Нужен ли мат русской прозе?» справедливо пишет о том, что допустимость/недопустимость табуированной лексики зависит от той позиции, вернее, маски, которую выбирает себе автор: «скоморох», «профессионал», «пророк». Мат оправдан только в первом случае, поскольку «имеет целью не столько эпатаж публики, сколько снижение образа автора (впрочем, произвольное, но направленное на устранение диспропорции между реальной ценой жизни писателя на Руси, всеобщим поклонением перед его словом - и тем, как это слово отзывалось), «поругание» традиционных представлений о функциях писателя в русской жизни» [Линецкий 1992: 229]. По мнению В. Химики, «Яркий пример такого концептуального использования обценного языка - повесть Вен. Ерофеева «Москва - Петушки» [Химик 2000: 248].

Карнавальная стихия, безусловно, одна из ведущих в поэме, о чем свидетельствует не только внешне травестированный сюжет, но и постоянное смещение, переворачивание языковых пластов.

Все исследователи творчества Вен. Ерофеева пишут о несомненной обращенности его к литературе предыдущей.

Особое место занимают в ней многочисленные библейские аллюзии и реминисценции. Апелляция к сакральной и классической литературе привела к тому, что определенная часть лексики в поэме несет ярко выраженную книжную ориентацию. Причем, это не только церковнославянизмы: «ангел», «сатана», «блудница», «посрамленный», но и заимствованная и научная лексика: «транс-цен-ден-тально», «коллорабационист», «канцлер», «элементарная воспитанность».

Но Вен. Ерофеев профанирует язык также, как и аристократический жанр «путешествия», что проявляется прежде всего на уровне синонимии, когда любое слово из «высокого штиля» может иметь если не точный, то по крайней контекстный синоним из «низкого штиля». Например, пассаж о «стошнило» и «сблевал». Сатана у Ерофеева может становится «тупой рожей», название статьи «Шик и блеск иммер эlegant» для Вен. Ерофеева обретает статус двойной пародии (название французского романа «Блеск и нищета куртизанок» + название ленинской работы «Империализм как высшая и последняя стадия капитализма»): «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости» [Ерофеев 1995: 99].

Карнавализация - одна из ведущих, но не единственная стихия поэмы. Вторая, не менее важная, - поэтическая, лирико-сентиментальная, связанная с точным знанием автора, что в России «вакансия поэта опасна, если не пуста» (Б. Пастернак). Трагический финал путешествия души героя - неслучаен. Опыт русской философской поэзии, с ее драматическим приятием жизни («Душно, но все-таки до смерти хочется жить» - О. Мандельштам), рождает и трагическое мироощущение, и стремление и способность принять мир таким, каков он есть: с его нелепыми «рабочими графиками» и коктейлем «Слеза комсомолки», с «рыжей блядью» и младенцем, с «женщиной трудной судьбы» и ангелами на Курском вокзале. Вен. Ерофеев - одновременно творец, ниспровергатель и певец своего мира. «Матерный взгляд» на жизнь перестает быть матерным и профанным, когда к жестко табуированному слову прибавляется ласкательно-уменьшительный суффикс: «мандавошечки». Возможно, именно такие языковые экзерсисы дали возможность

П. Вайлю и А. Генису сказать, что Вен. Ерофеев «выполняет роль кометы, существуя в каком-то вакууме, он появляется редко, но блестяще».

С. Довлатов настаивал на том, что он ни художник, ни творец, ни писатель, но литератор: «Моя профессия - быть русским литератором». Если Лимонов принципиально использует ненормированную лексику в первоначальном ее предназначении: инвектива, ругань, сквернословие, грубая брань, если Ерофеев вскрывает образные, поэтические пласты лексического табуирования, то Довлатов как профессиональный литератор демонстрирует все возможности языка, языка, который всегда «работает» в рамках эстетической установки: мировоззренческой, миметической, игровой. Последняя - языковая игра - является доминантной и для философии слова С. Довлатова, и для принципов построения его художественного мира.

Один из концептуальных композиционных приемов «Зоны», связанный с обнаружением прямого присутствия авторского сознания в тексте - выделение курсивом писем создателя повести к своему американскому издателю. Письма - это своеобразное удвоение смысла, комментирующие написанное, объясняющие и проясняющие авторскую позицию, поведение Алиханова, других героев, аннотирующие ситуацию порой путем прямой ее оценки, а также содержащие авторские рассуждения по сущностным для него вопросам. Необходимо отметить, что в авторской речи мат фактически не встречается - отсюда извинительное предупреждение к «документальной» записи: «Разрешите воспроизвести не совсем цензурную запись из моего армейского блокнота. «Прислали к нам сержанта из Москвы. Весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться занятым вояхровцем, он без конца матерился. Раз он прикрикнул на какого-то зека: - Ты что, ебнулся?!

(Именно так поставив ударение). Зек реагировал основательно:

- Гражданин сержант, вы не правы. Можно сказать - ёбнулся, ебанулся и наебнулся. А ебнулся - такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет... Сержант получил урок русского языка» [Довлатов 1993: 100].

Мир довлатовской «Зоны» - мир «крошечный», мир мужской, мир (реально) матерный. Но сам писатель в тех же «Письмах к издателю» замечает: «Как это не удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной матерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену» [Довлатов 1993: 101].

Этой парадоксальной языковой ситуации может быть по крайней мере два объяснения: с точки зрения реальной психологической установки уголовного мира и с точки зрения довлатовской концепции языка.

Первое. По замечанию Д.С. Лихачева, «воровская речь может только выдать вора, а не скрыть задуманное им предприятие: на воровском языке принято обычно говорить между своими и по большей части в отсутствие посторонних» [Словарь ... жаргона 1992: 357]. Это же обстоятельство отмечают и специалисты-психологи: «закоренелые преступники нередко говорят на хорошем литературном языке, не используют арготизмов и всячески их избегают, понимая, каков будет результат отражения в их речи принадлежности к преступному миру» [Леонтьев 1994: 55]. В связи с этим В.В.Химик приводит воровскую пословицу: «по фене ботаешь - тюрьму схлопотаешь» [Химик 2000: 22].

Второе. Язык для Довлатова - одно из немногих устойчивых явлений жизни (наряду с цифрами домашнего телефона), могущего не только проявить абсурд жизни, но способного активно сопротивляться ему. Так, в «Зоне» среди описания жестокости, агрессии, ненависти, живущих в душах и лагерников, и охранников («Ад - внутри нас» - С. Довлатов) возникают поистине просветленные страницы, которые без преувеличения можно назвать «Одой лагерному языку»: «Но есть красота и в лагерной жизни. И черной краской здесь не обойтись. По-моему, одно из восхитительных украшений ее - язык (...). Лагерный язык - затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремизовской школы. Лагерный монолог - увлекательное словесное приключение. Это - некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо

оратория - с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. Лагерный монолог - это законченный театральный спектакль. Это балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция (...). Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются. Скорее - наоборот. Вольные достижения забыты. Остается - слово» [Довлатов 1993: 99-100].

С.Довлатов чрезвычайно внимателен и весьма разнообразен в способах употребления ненормативной лексики. Достаточно часто встречается не прямое, но косвенное указание на ее присутствие в «крошечном мире»: «- Зафлюгировал винт! - надсажаясь, кричал Мищук, - скинул обороты! О-е-е ... (Непечатное, печатное, печатное...)» [Довлатов 1993: 40]; «Фидель отодвинул стул. Затем гордо поглядел на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство. - Вот, - сказал он, - крик души!» [Довлатов 1993: 107-108]; «Несколько секунд все стояли молча. Затем Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки «Супрафон». Затем он покрыл матом всех семерых щенков, суку Мамулю. Ротное начальство. Лично капитана Токаря. Местный климат. Инструкцию надзорсостава. И предстоящий традиционный лыжный кросс» [Довлатов 1993: 109]; «Тут я обругал его последними словами. Теми, что слышал на лесоповале у костра. И около КПП на разводе. И за картонным столом перед дракой. И в тюрьме после шмона» [Довлатов 1993: 170].

Ювелирна работа писателя с эвфемизмами, всегда сопровождающаяся языковой игрой. Достаточно вспомнить знаменитое проклятие армянского дедушки, которое Довлатов понял, только учась на филологическом факультете Ленинградского университета: АБАНМАТ. Еще один, не столь известный, но показательный для работы с ненормированным словом пример:

«- Ефрейтор Барковец, - говорит он, - стыдитесь! Кто послал вчера на три буквы лейтенанта Хуриева? (...) - Трое суток ареста, - говорит капитан, - выходит - по числу букв...» [Довлатов 1993: 125]. Эвфемизм подкрепляется графической и

фонетической игрой - слово обозначено не только количеством букв и, соответственно, количеством дней ареста, но оно звучит в фамилии лейтенанта, посланного на эти буквы.

Прямое употребление лексики «грязной дюжины» всегда контекстуально обыгрывается, весьма часто путем совмещения знака «высокой» культуры и площадной ругани: «- Знаете, что говорил Станиславский? - продолжал Хуриев. - Станиславский говорил - не верю! Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил: не верю!.. - То же самое и менты говорят, - заметил Цуриков. - Что? - не понял замполит. - Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю... Не верю ... Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудака...» [Довлатов 1993: 143].

В.В.Химик в монографии «Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен» определяет и исследует тесную связь «поэтики низкого» с языковой игрой, выделяя в этой связи несколько аспектов: культурологический, социальный, идеологический, рекреативный, лингвистический. Прозе Довлатова присущи все названные аспекты, поскольку они напрямую связаны как с мировоззренческой установкой автора (ирония, «улыбка разума» над несовершенством мира), так и доминантной манерой стиля писателя - игровой.

Культурологический аспект (слово штампов, культурных стереотипов): «Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зек. Он скрежетал наручниками и громко пел:

«А я иду, шагаю по Москве...» - Повело кота на блядки, - заворчал дневальный» [Довлатов 1993: 134].

Социальный аспект – «отказ говорящих от некоторых языковых и культурных стереотипов по корпоративным соображениям возраста, профессии, образа жизни или идеологии» [Химик 2000: 232]. Табуированная лексика активно используется писателем при речевой характеристике своих героев. Например, как способ обрисовки характера и драмы талантливого пьющего газетного фотографа Жбанкина («Компромисс»: «Я художник от природы! А снимаю всякое фуфло. Рожи в объектив не помещаются. Снимал тут одного. Орденов - килограммов на восемь. Блестят, отсвечивают, как

против солнца... Замудохался, ты себе не представляешь! А выписали шесть рублей за снимок! Шесть рублей! Сунулись бы к Айвазовскому, мол, рисуй нам бурлаков за шестерик... Я ведь художник...» [Довлатов 1993: 238]; «- Я художник, понял! Художник! Я жену Хрущева фотографировал! Самого Жискара, блядь, д'Эстена! У меня при доме инвалидов выставка была!» [Довлатов 1993: 256]. В «Заповеднике» герой объясняет жене, что сдавший ему комнату пьяница даже «брedit матом».

Идеологический аспект (гротесковое разоблачение советских мифологем). Постановка в зоне революционной пьесы силами уголовников и охранников, фарсовая сама по себе, усилена постоянными языковыми сломами. В финальной особо патетической сцене Владимир Ильич (в исполнении рецидивиста) обращается к залу: «- Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гульки хер! Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем: - Замри, картавый, перед беспредельщиной!...» [Довлатов 1993: 153].

Рекреативный аспект – «расслабление, эмоциональное самовыражение, забава» [Химик 2000: 233]: «Борташевич вяло произнес:

- Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры ... Цитируешь ей Гоголя с Белинским ... Какую-нибудь блядскую оперу посещаешь... Потом, естественно в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда! Сначала загс, а потом уж низменные инстинкты... Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?!» [Довлатов 1993: 130-131].

Лингвистический аспект – «традиционный и естественный интерес говорящего к собственному языку как к инструменту общения и самовыражения» [Химик 2000: 237]. Собственно говоря, это ведущий аспект, в рамках которого происходит сращение поэтики низкого и игровой манерой организации текста у Довлатова. Он живописует, изображает, анализирует и оценивает язык, на котором говорит мир и которым в высшей мере владеет сам писатель. Интересен пример того, как Довлатов передоверяет свою авторскую речь одному из героев «Компромисса»: поэту, философу, шизофренику и алкоголику,

решившемуся «спуститься» в самую «гущу народа», но нашедшему на своем месте работы (котельная), по манере того времени, таких же рафинированных интеллигентов, как он сам: «Буш разразился гневным монологом: Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Окрепнуть морально и физически. Припасть к живительным истокам... А тут?! Какие-то дзенбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения!» [Довлатов 1993: 285].

В данной работе была проделана попытка исследования того, как близкие по времени творческого волеизъявления авторы, одинаково себя позиционирующие, одновременно пришедшие в читательское сознание, не ограничивают себя традиционной отстраненностью от официоза, но каждый, исходя из типа своего таланта, художественных задач и философии слова, решительно переступают известную грань, обращаясь к лексике «грязной дюжины». Для Лимонова характерен натуральный по отношению к обценной лексики тип речевого поведения – это естественная и безальтернативная речь носителя сознания люмпена, озлобленного на весь мир. Авторские эксперименты в области табуированных сфер – яркий маркер уникальной образности Ерофеева, прозаика, поэта и философа. Ненормированная речь Довлатова – одно из проявлений безупречного стиля писателя, его пристального внимания к слову звучащему и слову характеризующему, а также – и это главное – слову играющему.

Литература

Довлатов Сергей. Собрание прозы в трех томах. – СПб., 1993.

Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти все. – М., 1995.

Желвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема. – М., 1997.

Зорин А. Легализация обценной лексики ее культурные последствия // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. – М., 1996.

Левин Ю. Об обценных выражениях русского языка // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. – М., 1996.

Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. – М., 1994.

Лимонов Э. Это – я, Эдичка. История его слуги: Романы. – М., 1993.

Линецкий В. Нужен ли мат русской прозе? // Вестник новой литературы. – СПб, 1992. № 4.

Словарь тюремно-лагерно-приблатненного жаргона (Речевой и графический портрет советской тюрьмы) – М., 1992.

Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен. – СПб., 2000.

Чулаки М. Нева. 1991. № 9.

©Снигирева Т.А., 2004

©Снигирев А.В., 2004

**Лингвopsиxологический анализ скрытого воздействия
в дискурсе**

На переходе столетий отмечается столкновение ценностей двух времен – романтического и классического. Ценности романтического времени соответствуют картине мира, утверждаемой «революцией третьей волны» [Тоффлер 2000], тогда как классическое время связано с ценностями промышленной революции, утверждающими беспредельное господство человека над окружающим миром. Ценности классического и романтического времени задают концептуальные рамки интерпретации мира, которые соответственно представлены гуманистической и экспериментальной парадигмами в науке.

Сам человек, как феномен познания, по-разному предстает сквозь призму этих парадигм. В частности в лингвистике экспериментальная парадигма подает человека как некоторую абстрактную схему с набором ролевых, гендерных, этнокультурных характеристик. Причем человек выступает как пассивный объект анализа, а исследователь претендует на объективность получаемых данных. Такая эпистемологическая установка запускает дискуссии, необходимые для доказательства «объективности» полученных результатов в лингвистических сообществах. Это свидетельствует о субъективности «объективно» получаемых данных. Таким образом, опираясь на ценности экспериментальной парадигмы, исповедующей объективность и предсказуемость изучаемых событий, в реальности мы сталкиваемся с гуманистически ориентированным процессом, где установки исследователя, проецируясь на объект описания или исследования, имеют тенденцию находить подтверждение.

Разработка технологий отслеживания таких субъективных проекций исследователей, а также других членов общества, к примеру, политиков, ратующих за объективность своих взглядов на реальность, может быть предметом деятельности лингвиста. Это позволит преодолеть в лингвистике слабость понимания человека как абстрактной схемы. Наиболее

иллюстративным примером в этой связи может выступать исследование процесса воздействия на коллективного адресата в политическом дискурсе. На сегодняшний день прекрасно описаны все лингвистические комбинации в масс-медиаальном дискурсе, правда, в чрезмерных обобщениях, что естественно вытекает из схематичных представлений о человеке, наиболее распространенных в лингвистике [Желтухина 2003 и др.].

Основная погрешность всех лингвистических построений состоит в отсутствии опоры на концепцию человека, на что справедливо указывал Дж. Лакофф [Лакофф 2004:16]. Для понимания человеческой природы в знаковом воплощении используется антропоморфный методологический принцип, производный от мифа о герое. Однако на современном этапе набирает привлекательную силу антропный подход, понимающий человека как часть большого целого, космического сознания, где человек предстает как одна из возможных разновидностей форм реализации этого космического сознания. Эти идеи разрабатывались русскими философами [подробнее см.: Зинченко, Моргунов 1994], но как методологический принцип были представлены в концепции И.А. Александровым (1999).

Конкретную проекцию на научный уровень антропный принцип получил в представлениях Р. Уилсона(1998) при описании механизмов «промывки мозгов». Суть его концепции сводится к тому, что человек выступает как существо, живущее на многих уровнях одновременно. Эта многоуровневость представлена восьмью контурами. Эффективность информационного воздействия текстов СМИ на коллективного адресата достигается путем учета этих базовых контуров. Наиболее древними являются **«оральный»** контур, отвечающий за биологическое выживание и импринтируемый матерью, а также, **«анальный»** или территориальный, отвечающий за социальное положение, за статус в стае, который импринтируется отцом. Относительно молодым контуром является **времясвязывающий** или семантический контур, который указывает на способность человека работать с символической информацией, что свидетельствует о развитости рефлексивного слоя сознания. Такой способностью обладает в

среднем 30% человечества. **Моральный сексуальный** контур указывает на гендерные нормы поведения. Пятый контур касается особых переживаний, связанных с экстатическим опытом и сенсорно-соматическим блаженством, и поэтому называется **холистическим** или **нейросоматическим**. **Коллективный нейрогенетический** контур (6) касается содержания всего эволюционного сценария, «записанного» в бессознательной сфере в форме архетипов. 7 и 8 контуры развиты или активны у людей, которые не поддаются воздействию социума, поэтому процент людей, по данным Р. Уилсона, невелик и составляет 5%. В связи с этим данными контурами можно пренебречь.

Итак, при анализе политических дискурсов (ПД) следует вычленять информацию, направленную на воздействие пяти первых контуров. Проиллюстрируем это на примере националистической прессы, разжигающей межнациональную рознь. Анализ специальной подборки текстов СМИ, размещенных во второй части книги Величко В.Л. (2003) показывает, что наиболее сильное влияние на поведение (оценку информации) имеет **первый контур**, связанный с **биовыживанием** человека. В текстах индикатором этого контура служат различные вербальные структуры со значением угрозы. В анализируемых текстах таковыми являются: «горцы калечат русских, горят животной ненавистью к русским патриотам», «звери азиаты заморозят русских, отравляют фальшивой водкой, их изготовитель – массовый убийца, гибнет русская нация, гасановы убили русских, цыгане травят русских стариков, армяне режут русских милиционеров, геноцид против русских, русских будут не просто уничтожать, а безнаказанно резать, кавказцы пытались терроризировать русского фермера» и т.д. Данные вербальные структуры со значением угрозы рассеяны по всему массиву текстов книги.

Второй контур – территориальный (наличие социального пространства) контур возбуждается такими языковыми выражениями как: «турки и корейцы захватили территорию, захват собственности, Хабаровск во власти инородцев и иудеев, тофики, алики, гиви, бусурманы захватили власть, плюются, травят, гогочут, продают наркотики, оскверняют кладбища,

вьетнамцы загаживают русские дома, кавказцы грабят московские квартиры, расчищают себе место, рабы надцменов - русские бабушки» и т.д.

Третий контур – семантический – связан с сознанием или осознанием происходящего и репрезентирован оценочностью: **мы** («русская нация – носительница Добра и Справедливости, дали цивилизацию, вкалываем, спасли их от турок, и т.д.») – **они** («насилуют, наживаются на беде, грабят пассажиров, суки, подонки, крысы, преступная свора, недочеловеки, свора золотозубых выроdkов, чурки, жиdy, нахальные, фиксатые, джигиты грязные, сифилитики, глупые, животные, фашисты»). Подчеркивается интеллектуальная неполноценность: «Говорят, что на гигиену у кавказцев есть две точки зрения: одни думают, что это животное, а другие – что это болезнь». Далее утверждается сентенция « Власть – продажна, нет защиты от прокуратуры». Умозаключение в текстах – «нужно решать проблему не через голосование, а ...» и далее иллюстрация примеров потенциального поведения адресатов «дайте отпор распоясавшимся инородцам, хроника отстрела уроженца Армении, ингуша», «выбирайте русистов по крови и духу», «в Иркутске месяц красного петуха ... пылающие национальные, культурные общества и предприятия, так или иначе с ними связанные», «выгнать за границу Рубена Асатрянa, ай-ай-ай убили негра, надо гнать всех инородцев, оккупантов». «Россия – паровой котел, в котором давление приближается к критической отметке, а предохранительный клапан уже не работает. Очевидно, скоро произойдет взрыв» [Величко 2003: 288].

Четвертый контур - сексуальный - активизируется через вербальные сигналы: «кавказцы насилуют наших женщин и детей, Гасановы изнасиловали двух девочек, проститутка негритьянка – бешеная собака, а бешеных собак пристреливают, еврей изнасиловал семилетнюю девочку, на гортанном языке обсуждают белую женщину, русская женщина как объект инородного сексуального экстремизма».

Такое комплексное воздействие на бессознательные четыре контура приводит к формированию агрессивных установок и препятствует развитию этнической толерантности. Данные тексты способствуют разжиганию национальной розни,

формированию тревожного эмоционального состояния, следствием которого может быть проявление враждебности не только по отношению к представителям других наций, но и по отношению к своим согражданам. Делается это составителем второй части намеренно жестко, используя при этом информацию, воздействующую на подсознание, т.е. минуя сознательный контроль человека. Смакуются сцены расправы, как стороны кавказцев, так и стороны правоохранительных органов, что направлено на формирование определенного эмоционального заряда. Таким образом, контурный метод анализа позволяет выявить стратегию автора, манипулирующего поведением человека с помощью активизации или возбуждения глубинных контуров психики человека.

Особое влияние на выделенные контуры имеют современные мифы, создаваемые в СМИ. Так, миф об уникальности народа или нации активизирует эмоционально-территориальный контур. Миф о мудром герое с *антикризисной программой* направлен на семантический контур. Однако в силу того, что этот контур слабо развит у людей, то анализ такой информации производится эвристическим способом (в социальной психологии принято различать эвристический и фокальный способы обращения внимания на информацию). Таким образом, мы, доверяя умному и привлекательному говорящему, информацию принимаем некритично. Миф об отце народов (президент), заботящемся обо всех, затрагивает четвертый контур. Анализ современных мифов, ибо мифологичность обыденного сознания составляет основу интерпретации в повседневной жизни современных политических событий, позволяет выявить тенденциозность разворачивания части расколотых архетипов, активизация которых приводит к определенному пониманию, прогнозируемому манипулятором. Контурная и мифологическая информация составляют арсенал способов воздействия на подсознание реципиентов. Третьим способом воздействия на бессознательную сферу психики является использование латентной информации подсознания, заложенной результатом процесса появления человека на свет, то, что С. Гроф называет перинатальными матрицами.

Способ анализа данной сферы информации разработал Л. Демоз (2000), назвав это методом анализа фантазий. Метод фантазийного анализа основан на интерпретации публичных выступлений, которые имеют защитный характер, и их функция - обмануть рассудок, заставить его принять рационалистические доводы, под которыми на самом деле скрывается разделяемое членами группы фантазийное послание. Хотя это часто защитное содержание само по себе представляет интерес, и игнорировать его нельзя, скрытую за ним групповую фантазию можно с легкостью разглядеть, выбрав и последовательно выписав большинство слов с сильной эмоциональной окраской - тогда только всплывут темы и взаимосвязи, которые «остаются погребенными под массой защитного материала».

Группы состоят из индивидов с общими защитными стилями, которые организуются в иерархии, чтобы сдерживать насилие групповой фантазии. Лидер - это личность, способная стать объектом противоречивых проективных идентификаций групповой фантазии. Лидер - это не только родитель, но он также играет защитные роли, необходимые на любой стадии групповой фантазии. То он «становится строгим отцом, когда группа отвергает групповое насилие, то заботливой матерью - когда группа стремится защититься от ощущения покинутости, то непослушным сыном - когда его авторитет пошатнулся, и параноидальным братом (сестрой), когда на него проецируется групповое насилие».

Группы вызывают в своих членах «состояние фетального транса», пробуждая особые физические воспоминания о внутриутробной и перинатальной жизни». Большинство людей может восстановить контакт с подавленными фетальными эмоциями, только живя в группе. Степень погруженности группы в состояние полного фетального транса определяется способностью текущей групповой фантазии создать такую иллюзию невредимого чрева, которая защитит от травм детства.

Интересно, что только в состоянии фетального транса индивиды способны сформировать групповую фантазию, которая подчиняется следующим специфическим правилам фетальной жизни: 1. По мере роста все более ощущается недостаток места и требуется все новое пространство, которое

приобретается через расширение территории. 2. Другие группы рассматриваются как питающая мать или как высасывающая кровь, отравляющая жизнь плацента. 3. Суть отношения к питающей плаценте - это благоговение перед ее «могучим потоком». По отношению к отравляющей плаценте - ответное стремление отравлять. 4. Первоначальная цель любой группы - сохранение чрева - среды, хотя бы и ценой жизни индивидов, составляющих группы. 5. «Оболочка» группы - чрева полностью определяет отношения с событиями индивида, находящегося внутри. 6. Индивиды связаны с лидером пуповинами, посредством которых то лидер питает индивидов, то наоборот. 7. Группы связаны пуповинами с другими группами, плацентами и вынуждены отчаянно бороться за «жизненность», проистекающую из взаимоотношений. 8. Любой беспорядок в чреве - среде - это всегда вина отравляющей плаценты и в ответ на нее начинает «оказываться» давление специально, чтобы навредить». 9. Когда групповая фантазия невредимого чрева - окружения терпит неудачу, группа начинает неотвратно скатываться к групповой фантазии войны - рождения. 10. Группы состоят из индивидов с общими защитными стилями, которые организуются в иерархии, чтобы сдерживать насилие групповой фантазии. 11. Группа начинает войну, чтобы преодолеть ужас беспомощного положения ребенка, попавшего в ловушку родового канала. Пробивается «путь наружу» из материнского тела. 12. Когда группа окунается в войну - рождение, соседи тоже чувствуют себя втянутыми в схожее состояние фетального транса. 13. После успешного завершения войны группа чувствует себя «возродившейся» и переживает период оптимизма и энергетического сотрудничества, который расценивается как «лучшие годы нашей жизни».

Теорию Л. Демоза можно успешно использовать в построении манипулятивных процессов, в том числе построении политических дискурсов. Далее, при анализе текста на основе его теории применяется «фантазийный анализ», посредством которого можно выделить слова, относимые к определенной лексической группе. Например: родовая, агональная, анальная.

Фантазийное содержание текста редко составляет больше одного процента от общего текста, и вычленив его можно с

помощью следующих восьми правил: 1. Фиксировать все метафоры и сравнения независимо от контекста. 2. Фиксировать все телесные образы, слова, выражающие сильные чувства, яркие эмоциональные состояния. Слова «убить», «смерть», «любовь», «ненависть» - соотнести частому их повторению в тексте с одновременным отрицанием их важности и защитой от эмоциональной значимости этих слов. 3. Обращать внимание на повторяющиеся, необычные или неуместные использования слов. 4. Фиксировать все слова и выражения явного символического характера, особенно политические термины - флаги, гербы; семейную символику. 5. Исключить все отрицания. Все отрицания составляют часть защитной структуры. 6. Исключить все субъекты и объекты. Основной защитный прием включает проекцию субъекта - объекта, при выяснении истинного субъекта - объекта не следует ориентироваться на автора. 7. Фиксировать все открытые реакции группы: обмолвки, слова в сторону, на заседаниях - смех, моменты спада напряжения. 8. Обращать внимание на длительное отсутствие образов. Это означает отсутствие группового развития, групповая фантазия по каким-то причинам строго подавляется. Конкретный анализ текстов показывает, что респонденты оценивают тексты с выраженной перинатальной лексикой как более привлекательные. Фантазийный анализ предполагает вычленение из текста фантазийного содержания.

Так, к примеру: в следующем политическом рекламном тексте «То, что происходит в России сейчас, по катастрофичности последствий превосходит мировую войну. Но надо, наконец, понять - в России идет война. Война против народа, его социальных прав, желания жить по-людски (по мнению либеральных реформаторов, наш народ плохой, не вписался в рыночную систему и не привержен демократии, потому что лучшего и не достоин). Война идет и против Православия (мешает деятельности католиков и миссионеров с Запада), война идет против Ислама (противоречит либеральным ценностям - запрещает пьянство и потребление наркотиков, к тому же правоверные сочувствуют палестинцам), война против людей левых убеждений («экстремисты», «коммуняки», «красные»!), война против патриотов России («красно-

коричневые, фашисты»). Оглянись вокруг - каждый просящий милостыню ребенок, каждый бомж - это искалеченный войной реформ брат твой, у которого кровоточит раненная, униженная и оскорбленная душа. Каждый замороженный стужей, оставленный без тепла и электричества русский город - это попавшая во вражеский котел, борющаяся за выживание часть России. Каждый гонимый нуждой за рубеж «челнок» - это угнанный на вражескую неволю наш соотечественник.

Проголосовать - твой единственный шанс в сложившейся отчаянной обстановке дать отпор силам зла, защитить все, что надрывным трудом, мужеством в битвах, а порой и ценой своей жизни создали твои отцы и деды, прадеды и пращурь. Они завещали нам Россию, одну шестую часть земного шара. Страну, сумевшую в самые жестокие века истории формировать человеческие взаимоотношения в соответствии с божественными идеалами. Голосуй за людей, которые будут стоять за Россию, за государственные (то есть совпадающие с твоими) интересы. Партия «Родина».

Был получен следующий список:

...катастрофичность, ...война, ...наш народ плохой, ...против, ...пьянство, наркотики, ...коммунаки, ...красно-коричневые фашисты, ...искалеченный, ...кровоточит, ...ранения, ...оскорбленная, ...униженная, ...отчаянная обстановка, ...силы зла, ...надрывный труд, ...цена жизни, ...оставленный без тепла, ... вражеский котел.

Данный текст переполнен яркими образами, выражающими сильные эмоции, чувства. На основании этого можно выделить слова, принадлежащие к определенным лексическим группам: **агональная** (силы зла, против, вражеский котел), **анальная** (красно-коричневые фашисты, раненная, оскорбленная, неволя), родовая (оставленный без тепла, отчаянная обстановка, замороженный).

В социальной коммуникации одна из главных ее функций принадлежит политическому воздействию на коллективного адресата. Поэтому с помощью политического дискурса осуществляется в большей степени процесс идентификации адресата, нежели его эвристическая деятельность. Это подтверждает доминирование знаний рецепта (скрипто-

фреймовая организация) над знанием ретуши (несоответствия ожиданиям фреймо-скриптовой структуре) – [подробнее об анализе когнитивных структур рецепта и ретуши см.: Сухих, Зеленская 1998]. По данным экспериментальной проверки, положительную оценку получают тексты, в которых коэффициент эпизодичности очень низок. Такие тексты соответствуют ожиданиям людей и являются легко предсказуемыми. Тексты с более высоким коэффициентом, наоборот, вызывают неприятные ощущения. Причины этого кроются в преобладании психотипов: реалисты, традиционалисты, эстеты, что составляет 80% выборки, тогда как концептуалисты показывают обратные результаты

Сила социального воздействия политического дискурса (ПД) как предмет исследования предполагает в качестве приоритетного отношения выделять прагматическую составляющую, ибо цель ПД лежит в плоскости убеждения, побуждения. На адресата влияет тот текст, содержание которого представляется ему истинным, а степень истинности зависит от: а) степени совпадения когнитивных установок или ценностных ориентаций автора и адресата; б) степени совпадения лингвистического конструирования, свойственного психотипу автора и адресата.

Семиотическая модель представляет информационно-политические технологии, с помощью которых поддерживают и изменяют через нарративы модели мира. Это достигается в виртуальном пространстве благодаря героизации и демонизации участников ситуаций. Само воздействие предполагает наличие трех этапов: возбуждения интереса, эмоциональной стимуляции, демонстрации снятия напряжений.

Семиотическая модель имеет дело с сигналами, которые указывают на сокрытый «эмоциональный смысл» личности. Такие возможности позволяют изучать психологический портрет лидера, в основе которого лежит качество сознания. Вслед за М. Люшером (1993) различают гармоничное, «идол-Я» и «страх-Я» качества сознания. Наряду с этим может выявляться мотивационная сторона (мотивы-достижения, власти, близости), а также саногенность/патогенность мышления,

репрезентируемые шкалами оптимизма-пессимизма, удовлетворенности - неудовлетворенности.

Современная психология пытается понять процесс влияния информации на психику человека, используя при этом различные модели интерпретации. Психологическая интерпретация социального воздействия схватывает природу манипулятивного воздействия, которое объединяет такие понятия, как рефлексивное управление (макиавеллизм) и манипулирование. Различают нормативные (внешнее, объективное) и информационные формы (внутреннее, субъективное) влияния. Большой вклад психологическая модель внесла в понимание восприятия ПД эвристическим и фокальным способом. При этом существенно понимание селективности восприятия, которое опирается на принципы резонанса, защиты, сенсibilизации. Большой привлекательностью пользуется модель прайминга при восприятии [Нельсон 2003], согласно которой мы можем воспринимать простые символы, лица, слова ниже уровня сознательного восприятия. При этом участник подвергается влиянию экспозиции предшествующего стимула, но не высказывает осознания такого влияния (имплицитная стереотипизация). Люди с высокой предубежденностью обладают сильными стереотипными ассоциациями с ярлыком категорий. «Групповые ярлыки облегчают доступ к стереотипно устойчивым характеристикам и подавляют доступ к стереотипно неустойчивым характеристикам» [Нельсон 2003: 114]. Прайминговая парадигма используется в работах по имплицитной стереотипизации. Социальные явления воспринимаются более стереотипно людьми, у которых выражена потребность в структуре или когнитивной завершенности, что схоже с понятиями авторитаризма и догматизма. Группы людей, ориентированные на социальное доминирование, склонны к предрассудкам и стереотипизации.

Таким образом, для описания процесса скрытого воздействия существует много моделей в психологии и лингвистике. В качестве методологической платформы может использоваться модель Р. Уилсона о восьми контурах как уровнях эволюции сознания индивида (**контурная методика**

анализа). Плодотворны в изучении процесса социального влияния идеи психоистории, где политический лидер выступает защитником от групповой фантазии, так как он лучше всех ее осознает (**фантазийный анализ**). Когнитивный анализ информации может опираться на процедуру выявления соотношения пропозиций, относящихся к рецепту и ретуши, что находит выражение в коэффициенте эпизодичности. При низком коэффициенте эпизодичности следует ожидать, что реципиент воспринимает информацию эвристическим способом, т.е. скорее следует ожидать включение имплицитной стереотипизации интерпретируемого события (**анализ коэффициента эпизодичности**). Все указанные методики составляют операциональную сторону лингвopsихологического подхода, изучающего качества языкового сознания (спонтанность, динамичность, диалогичность, текучесть), раскрывающиеся через вербальные структуры.

Литература

Александров И.А. Космический феномен человека: человек в антропном мире. - М., 1999.

Величко В.Л. КАВКАЗ. Русское дело и международные вопросы. Черная книга или Кавказ против русских. Хроника начала 21 века. - М., 2003.

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. - М., 1994.

Де Моз Л. Психоистория. - Ростов-на-Дону, 2000.

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. - М., 2004.

Люшер М. Сигналы личности. - Воронеж, 1993.

Нельсон Т. Психология предубеждения. - СПб., 2003.

Сухих С.А., Зеленская В.И. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. – Краснодар, 1998.

Уилсон Р. Психология эволюции. – Киев, 1998.

©Сухих С.А., 2004

©Калашава А.Ш., 2004

Работа В. Ченьковского, изданная в 1972 году, не утратила своей актуальности. Более того, пожалуй, именно в современной лингвистической парадигме, обращенной к изучению всей совокупности операциональных механизмов, определяющих функционирование языка (когнитивных, мотивационных, ассоциативных и т.п.), предложенная польским ученым «теория народной этимологии» может оказаться востребованной.

Безусловно, сильной стороной концепции В. Ченьковского является утверждение (акцентирование) идеи, согласно которой народная этимология есть явление «синхронное», значимое для жизни языка, определяющее его саморегуляцию и отражающее одну из ипостасей языкового сознания говорящих. Народная этимология рассматривается как один из источников развития языка, связанный с реализацией тенденции к мотивированности языкового знака. Разумеется, многие термины, используемые В. Ченьковским, могут быть скорректированы с позиций современной мотивологии. В частности, термин «дословное», «буквальное» значение слова («синхронная этимология») следует, очевидно, понимать как актуальное мотивационное значение (О.И.Блинова, Н.Д.Голев) слова, внутренняя форма которого «проясняется» по ассоциации с созвучной лексической единицей. Некоторые типы народной этимологии, выделяемые В.Ченьковским, можно квалифицировать как паронимическую аттракцию (смешение паронимов и паронимазов). Не затрагивает В. Ченьковский и проблему соотношения аналогии и народной этимологии, отличия механизмов народной этимологии и контаминации и т.п.

Однако основная методологическая установка этого исследования представляется очень продуктивной и дает, в частности, перспективу для описания механизмов народной этимологии в психолингвистическом аспекте. Предложенный для обозначения всех процессов «народной этимологии» термин «этимологическая реинтерпретация» ориентирует на изучение этого процесса с учетом языкового сознания конкретных («рядовых») носителей языка. Указывая на синхронно-ассоциативный характер этимологической реинтерпретации, определяемый местом («слабой» или «сильной» позицией) «реинтерпретируемого» слова в системе языка, В. Ченьковский, по сути, характеризует лингвокреативную природу данного феномена (реинтерпретация имеет характер ассоциативного

«поиска» объяснимой связи формы и значения знака или хотя бы только фонетически знакомой оболочки, к которой приспосабливается «слабое» слово под влиянием «сильного»). Исследуя системный аспект «ассоциативной обработки» слова в процессе этимологической реинтерпретации, В. Ченьковский отмечает значимость ее результатов для дальнейшей жизни слова в языке. Отсюда всего лишь один шаг до понимания функциональной значимости тех фактов народной этимологии, которые не столько определяют дальнейшую судьбу слова, сколько отражают проявление разных ипостасей языковой личности при оперировании словом как мотивированным знаком (когнитивный опыт, эмоционально-оценочную сферу, операциональную компетенцию личности и т.п.). Ср., например, выделенные автором данного перевода парадоксальный, экспрессивно-эмоционально-оценочный и рациональный типы народной этимологии [см.: Т.А.Гридина. Проблемы изучения народной этимологии: системно-функциональный аспект. Свердловск, 1989].

Думается, что предложенный ниже сокращенный перевод книги В. Ченьковского позволит читателю получить представление об оригинальной концепции этого ученого и, может быть, вдохновит новых исследователей на изучение сложного и чрезвычайно интересного феномена «народной этимологии» в русле очерченных автором проблем.

Проф. Т.А.Гридина

В. Ченьковский

Теория народной этимологии¹⁶

Теория общего языкознания не затрагивала (обходила молчанием) вопросы, касающиеся действия в языке так называемой народной этимологии и ее результатов.

Глава I. Исследования народной этимологии

1.1. Традиционный взгляд на народную этимологию

Термин «народная этимология» ввел в 1858 году Ферсманн (E.Förstemann), опубликовав работу «Über deutsche Wolksetymologie». В этой работе он во всеуслышание заявил о

¹⁶ Cienkowski Witold. Teoria etimologii ludowej. Warszawa, 1972.

народной этимологии как о процессе естественном, протекающем в рамках нормальных (обычных) изменений языка. В позднейших исследованиях народной этимологии это утверждение почему-то оказалось забытым, и народная этимология получила трактовку как некий курьез, как патологическая и деструктивная черта языка.

Среди работ, посвященных народной этимологии, преобладали исследования описательного характера, приводилось множество примеров народной этимологии, а если и делались попытки теоретического осмысления этого явления, то касались они прежде всего выяснения (анализа) причин народной этимологии.

Наиважнейший вклад в теорию народной этимологии внесли такие лингвисты, как И.А.Бодуэн де Куртенэ (1873, 1889), Я.Карлович (1878), Н.Крушевский (1879), Г.Пауль (1880), Д.Шишманов (1893), В.Вундт (1900), J.Kjederqvist (1902), Ф. де Соссюр (1915), Ж.Гильерон (1918), А.Доза (1922,1946), Ж.Вандриес (1951), В.Пизани (1847, 1960), Е.Майер (1962).

Недостатком существующих теорий народной этимологии является, прежде всего, использование неадекватных приемов, методов ее исследования. Все предшествующие исследования были преимущественно диахроническими, между тем для выяснения системного характера народной этимологии, конечно, необходимо изучение этого явления и его результатов в синхронном плане.

Именно «синхронный этимологический анализ» положил в основу своей концепции народной этимологии Н. Крушевский. Эта этимология должна основываться не на исторических связях слова (не на его генетических истоках), а исходить из аспекта функционального, системного, из этимологии «реальной», опирающейся на актуальные для носителей языка ассоциации. С.Ульманн предложил даже особый термин «ассоциативная этимология».

1.2. «Положительный вклад» в исследование народной этимологии

Основные теоретические положения, выработанные в процессе изучения феномена народной этимологии, сводятся к следующему:

а) в словарном составе языка существуют изолированные звенья (слова, утратившие свои родственные генетические связи с другими словами). В терминологии А.Доза это «слабые слова», или «слова, этимологически изолированные»;

б) этимологически изолированные слова могут вовлекаться в процесс аттракции (термин А.Доза) с другими словами (так называемыми «сильными»), которые обладают регулярными и устойчивыми связями в системе языка (это слова производные, мотивированные);

в) процесс вовлечения [в новые связи. – Т.Г.] этимологически изолированных слов (по ложным ассоциациям), «воссоздание» этимологической структуры слова на основе новых (ошибочных) связей (аттракция этимологически изолированных слов) есть народная этимология (в терминах А.Доза = паронимическая аттракция);

г) главным основанием для реинтерпретации служит звуковое подобие слов «слабых» словам «сильным», что рождает и смысловые (логические) ассоциации;

д) в результате реинтерпретации происходит изменение внешней формы слов «слабых», уподобляющихся звуковому облику слов «сильных»;

е) этимологическая реинтерпретация [термин В. Ченьковского. – Т.Г.] может иметь полный или частичный характер.

1.3. Актуальные проблемы исследования народной этимологии

К таким проблемам относятся:

а) изучение общего механизма процессов народной этимологии и механизмов, лежащих в основе разных типов народной этимологии;

б) установление условий возникновения этих процессов, а также «импульсов» [стимулов – Т.Г.] этих процессов;

в) исследование причин, проявлений, результатов народной этимологии, а также тенденций, противоположных (противодействующих) этому процессу;

г) изучение взаимодействия (соотношения) в процессе народной этимологии изменений семантических и формальных;

д) построение новой, адекватной (с точки зрения методов изучения и принципов анализа) классификации процессов народной этимологии;

е) классификация и анализ лексических «продуктов» народной этимологии;

ж) суммирование результатов исследований, касающихся народной этимологии, и установление термина, который соответствовал бы всему объему явлений, соотносимых с понятием «народная этимология».

Разрешение поставленных вопросов является задачей предпринятого исследования.

1.4. Проблема термина

Одной из причин неудовлетворительной разработанности теории народной этимологии является отсутствие термина, точно отражающего суть описываемого явления. Среди многочисленных определений данного понятия можно выделить следующие:

- *ассоциация* – соединение, сочетание, связь (не то же, что «синтагматика» - по Соссюру); *фонетическое искажение* – последовательность звуков, не соответствующая их функции; фонетическое искажение может быть короче или длиннее, чем исходное слово [звуковая деформация слова, сопряженная с увеличением или сокращением его исходного фонетического облика. - Т.Г.];

- *синхронная этимология* – связывание посредством отношений мотивации слов этимологически неродственных [установление вторичных, синхронных отношений мотивированности между генетически не связанными словами. – Т.Г.];

- *ассоциативная этимология* = *синхронная этимология*;

- *фоническая этимология* – этимология, основанная на созвучии слов;

- *формально-смысловая (этимология)* – форма слова рассматривается как [содержательная. – Т.Г.] структура;

- *структурно-смысловая (этимология)* – слово выступает как измененное в звуковом отношении [этимологическая

реинтерпретация сопровождается трансформацией внешней формы, структуры слова. – Т.Г.];

- *полная морфологизация*, или *полная морфемизация*, *полная морфемная этимология* - часть слова имеет его функцию, [при этом реинтерпретируемое. – Т.Г.] слово выступает как нечленимое и соотносится по ложным ассоциациям с какой-то корневой морфемой;

- *неполная морфологизация*, или *неполная морфемизация*, *неполная морфемная этимология* – в слове [после ложноэтимологического членения. –Т.Г.] остается непонятный сегмент, часть слова, не имеющая смысла (не могущая выполнять функцию слова);

- *этимологическая реинтерпретация* [термин, предлагаемый В. Ченьковским и коррелирующий по содержанию. – Т.Г.]с традиционными терминами *народная этимология*; *паронимическая аттракция*; *фонетико-семантическая ассимиляция*. [Основой сближения генетически неродственных слов. – Т.Г.] выступает *ассоциативная сеть* – структура, система соотносимых, сообщающихся элементов, являющаяся источником ассоциаций, [обуславливающих этимологическую реинтерпретацию. – Т.Г.].

2. Типы этимологической реинтерпретации

Все явления, называемые обычно народной этимологией, можно разделить на 4 основных типа:

1. Этимологическая реинтерпретация + изменение формы слова + изменение его значения.

2. Этимологическая реинтерпретация + изменение внешней формы слова.

3. Этимологическая реинтерпретация + изменение значения слова.

4. Особые случаи этимологической реинтерпретации.

Тип 1. Этимологическая реинтерпретация, связанная с изменением формы и значения слова

Этот тип этимологической реинтерпретации имеет контаминационный характер¹⁷.

¹⁷ Рассматривая данный тип этимологической реинтерпретации, В.Ченьковский не комментирует различий между собственно ложным

[Полемизируя с J. Otrębski, который писал о том, что появление в слове новой морфемы в результате народной этимологизации ведет к изменению его значения, В. Ченьковский отмечает]: «J. Otrębski смешивает понятия так называемого дословного значения и значения лексического». Под «дословным» значением понимается значение слов, мотивационно интерпретируемых, т.е. этимологическое значение.¹⁸

Характер этимологической реинтерпретации **I** типа иллюстрирует изменение слова *akompaniować* в *akompianować*. [Схема этого процесса выглядит следующим образом]: исходное слово *akompaniować* имеет значение «играть на

этимологизированием и контаминацией как способом словообразования. Ср. понимание контаминации как *двунаправленного* процесса, при котором созвучные и, как правило, соотносительные по содержанию лексемы порождают новое слово-«гибрид», части которого равноправны в моделировании его звуковой оболочки и смысла. В случае же «этимологической реинтерпретации» всегда можно определить базовый компонент данного процесса, которым является исходное слово, подвергаемое частичной трансформации по ассоциации с созвучными лексическими единицами, в результате чего изменяется его исходная форма и значение. В этом случае сквозь новую (трансформированную) звуковую оболочку слова всегда «просвечивает» ее прототип («объясняемая» посредством сближения с созвучным «понятным» ассоциатом исходная лексема). – Комментарий наш. – Т.Г. См. подробнее: Т.А.Гридина. Проблемы изучения народной этимологии. – Свердловск, 1989.

¹⁸ Под «дословным» значением В.Ченьковский имеет в виду, судя по определению, мотивационное значение, приписываемое слову в результате этимологической реинтерпретации, справедливо отмечая его нетождественность значению лексическому. Однако если последовательно проводить разграничение исконной этимологии (исходной для слова, генетической мотивированности) и мотивированности синхронной, то следовало бы развести термины «дословное значение» и «этимологическое значение», поскольку в диахронии и в синхронии эти «дословные» значения не совпадают. В этой связи термин «синхронная этимология» (если использовать его не в качестве метафоры) воспринимается как оксюморон. – Комментарий наш. – Т.Г.

музыкальном инструменте (сопровождая чье-либо выступление). Форма глагола изменяется в опоре на «сильные» [ассоциативно связанные с ним. – Т.Г.] элементы - *piano*, *pianista*, *fortepian* [как видим, это слова созвучные и связанные с исходным глаголом по значению. – Т.Г.]. «Продуктом» данного сближения является глагол *akompianować*, форма и значение которого изменяются по сравнению с исходным словом. Полученный в результате глагол *akompianować* сужает [семантический объем исходного слова – Т.Г.], выступая в значении «сопровождать выступление игрой на пианино»¹⁹.

Тип II. Этимологическая реинтерпретация, связанная с изменением формы слова

¹⁹ Критикуя J. Otrębski за смешение «дословного» (мотивационного) и лексического значения, сам В.Ченьковский не избегает этой ошибки при описании данного примера этимологической реинтерпретации. Дело в том, что глагол *akompianować*, возникший в результате этимологической реинтерпретации, не получает в польском языке официального статуса, и его можно рассматривать только как окказиональную мотивационную «инновацию», которая, безусловно, отражает устойчивую ассоциативную связь глагола *akompaniować* с созвучным существительным *piano* (наиболее популярный инструмент для аккомпанирования), поддержанную синтагматикой. При этом «сужение» значения данного глагола есть факт его индивидуальной ассоциативной обработки сознанием конкретной языковой личности (конкретным носителем языка, возможно, представителем определенной социальной страты). Тенденция к сужению значения при этимологической реинтерпретации не может смешиваться с реальным результатом функционирования слова в языке. Кроме того, «прояснение» мотивационного значения слова в подобных приведенным В.Ченьковским случаях не столько указывает на изменение исходной семантической функции, сколько служит средством установления связи между звуковой оболочкой слова и одним из компонентов его содержания, известного говорящему. См. об этом: Р.Р.Гельгардт. Народная этимология и культура речи// Избранные статьи. Калинин, 1967; О лексической ассимиляции в связи с ложной («народной») этимологией// РЯШ. 1976. № 3.; Д.Н.Шмелев. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. – Комментарий наш. – Т.Г.

Данный тип так же, как и первый, - это наиболее распространенные процессы этимологической реинтерпретации, результаты которых можно наблюдать.

В типе II на основе характера изменений во внешней форме слова можно выделить два подтипа: видоизменение формы исходного слова (**тип IIa**) либо замещение формы исходного слова (**тип IIb**) при ориентации на опорное слово. В подтипе IIa при изменении внешней формы исходного слова не меняется его значение. Таким изменениям подвергаются диалектизмы, архаизмы и общеупотребительные лексемы, значения которых соответствуют этим группам слов. Например: *dyskuta* < *despota* «деспот» (под влиянием сильного, опорного элемента), *diskusja* «дискуссия», *dyskutować* «дискутировать»; *buraks* < *boraks* хим. «бура» (под влиянием *burak* «свекла»); *adwentarz* «борщик податей» < *inwentarz* «инвентарь» (под влиянием *adwent* «рождественский пост»).

Тип IIb - это этимологическая реинтерпретация, связанная с заменой формы слова «слабого» на форму слова «сильного». В данном случае изменения исходной формы не происходит, она замещается формой созвучного слова. Значения исходного слова и слова замещающего совпадают [т.е. сознанию говорящего представляются одинаковыми и смешиваются по созвучию, что характерно для смешения паронимазов. В.Ченьковский, однако, объясняет этот механизм иначе. – Т.Г.].

Например, *emaliowany* «эмалированный» < *alumiowy* «алюминиевый»; *farmazon* < *parmezan* «вид сыра»; *lucyfer* < *welosered* «велосипед»; *parawan* < *karawan* «похоронные дроги». Результаты преобразования двух форм слов и двух значений в процессах типа IIb отличаются от результатов этимологической реинтерпретации типов I и IIa, описанных выше. В типах I и IIa этимологической реинтерпретации одинаково подвергаются изменению слово исходное («слабое») и элемент «сильный» [слово, с которым ассоциируется реинтерпретируемая единица. – Т.Г.], что ведет к созданию на основе этой ассоциации нового слова с новым значением. В процессе же этимологической реинтерпретации типа IIb более целесообразной и даже обязательной является трактовка каждого из слов как двуэлементной единицы, поскольку эти элементы указывают на

значения измененных слов. Формы близкозвучных слов объединяются [отождествляются. – Т.Г.] по значению, но это совмещение основано не на смысловой, а на фонетической близости. Вместо двух элементов [двух сближаемых, ассоциируемых слов. -Т.Г.] как составляющих основу процесса этимологической реинтерпретации мы в данном случае имеем четыре, т.е. две формы и два значения. Например: 1) *quaste* (f), *quast* (m) – форма 1; 2) «*pędzel* (malarski)» – «малярная кисть (кисточка)» – значение 1; 3) *chwast* – форма 2; 4) «*niepożądana, dziko rosnąca roślina*» - «сорняк» - значение 2. В результате этимологической реинтерпретации типа **Пб** немецкое слово *quaste* = *quast* подменяется формой *chwast*, которая получает значение «кисточка» взамен значения «сорняк» [при этом слово сохраняет и исконное значение в языке. – Т.Г.]. Таким образом, инновация, которая возникла в лексической системе польского языка в результате описанного процесса, повлияла на появление нового значения у слова *chwast*. В представленном типе этимологической реинтерпретации в начале процесса мы имеем две формы и два значения, в конце процесса с регулярностью употребляется только одна форма, существующая в двух значениях. Примером подобного преобразования является и исконное для польского языка слово *biga* «двуколка». Совмещение *biga* с *bida* (*bieda*) «нищета, нужда» привело к тому, что последнее стало употребляться в значении «двуколка». Однако употребление *bida* в значении «транспортное средство, средство передвижения» следует признать новым, особым словом [с омонимичным исходному значением. – Т.Г.] [В примере со словом *chwast*, получившим значение «кисточка» наряду с «сорняк», В.Ченьковский усматривает полисемию, очевидно, вследствие того, что вторичное значение поддержано метафорической ассоциацией – форма растения (соцветие в виде метелки напоминает кисточку, ср. также значения «лисий хвост» и «колосок» у исходного немецкого *quaste* = *quast*). – Т.Г.]. Четкое отграничение омонимии от появления у слова нового значения не всегда возможно (часто сделать это бывает затруднительно).

В свое время А. Доза указывал, что паронимической аттракции подвергаются только слабые (изолированные в

лексической системе языка) слова. Случается, однако, а особенно это касается слов заимствованных и уже давно освоенных языком, что независимо от появившегося в языке семантического неологизма продолжает функционировать и слово исходное, которое подверглось реинтерпретации. Например, сосуществуют (употребляются) в языке независимо друг от друга слово *kreda* («мел») с новым значением «кредит» и слово *kredyt* с тем же исконным значением. Смешение слов-паронимов [также] рассматривается как одна из форм этимологической реинтерпретации типа IIб. Например: *debiut* вместо *debit*; *elementy* вместо *alimenty*; *sentencja* вместо *sytuacja*.

Процессы, определяющие этимологическую реинтерпретацию типа IIб и ее результаты, неоднородны:

а) в различных случаях неодинаковым бывает соотношение значения слова исходного со значением слова, которое послужило основанием для реинтерпретации (аттракции). Ср., например, *quast* – *chwast* и *farmazon* – *parmezan*;

б) фонетическое подобие обнаруживают слова с разными значениями (например, *modna kora* < *mandragora* и др.), в отдельных случаях происходит отождествление форм, сравнительно мало подобных по звучанию, но их сближению благоприятствуют, возможно, мотивы эвфемистические;

в) основным фактором процесса этимологической реинтерпретации является звуковое подобие соответствующих слов, однако, вероятно, семантические сближения облегчают протекание данного процесса. Например, *bida* (< *biga*) «транспорт для людей бедных», «телега–двуколка».

Тип III. Этимологическая реинтерпретация, связанная с изменением значения слова, без изменения его формы

Примеры: *goliat* «голяк, голодранец» («*golec*, *biedak*») < *Goliat* «Голиаф» («*bohater biblijny*») по ассоциации с *goły* «голый», *golec* «бедняк»; *pilat* 1) «зануда» («*nudziarz*, *natręt*»); 2) «пильщик» («*tracz*»); 3) студ. «суровый экзаменатор» («*surowy egzaminator*») < *Pilat* (имя собственное) по ассоциации с *pila* «пила», перен. разг. «зануда», *piłować* «пилить», разг. «домогаться чего-л., назойливо просить кого-л. о чем-л.»; *tyran* «человек, работающий на износ на тяжелой работе» < *tyran*

«деспот» по ассоциации с *tyrać* разг. «тяжело работать, надрываться, работать на износ».

Рассмотренные ранее типы этимологической реинтерпретации (I, Па и Пб) обусловлены процессом, который можно назвать *централизация* или *депериферизация структурно-фонетическая*, прежде всего *синхронно-ассоциативная* или *этимологически синхронная*. Фонетическое сходство, а точнее структурно-фонетические особенности слов, являются одной из причин, облегчающих упомянутый процесс.

Свойства исходных [переосмысляемых. – Т.Г.] слов в типе III не меняются в результате этимологической реинтерпретации. Большинство этих слов, кроме того, известны широкому кругу людей, говорящих на данном языке. В большинстве случаев отправным пунктом данного типа сближений является фонетическое сходство определенного слова с каким-то другим, но в некоторых случаях это может быть и семантическое сближение.

Реинтерпретация **III типа** сообщает слову эмоциональную окраску [подчеркнуто нами. – Т.Г.], причем эмоциональная окраска большинства слов как результат этого процесса – следствие не только того, что причины эмоционального характера вообще важнейший фактор языковых изменений, но особенность, дающая представление о характере этимологической реинтерпретации именно данного типа.

Потребность в наименовании – еще один стимул процесса этимологической реинтерпретации данного типа. Если можно говорить о периферийном или центральном положении слова в фонетическом отношении, то же самое можно сказать о семантике слова. Очевидно, что семантическая периферия есть удел большинства имен собственных. Однако в процессе этимологической реинтерпретации третьего типа решающей роли не играют ни фонетическая периферийность, ни семантические ассоциативные сближения слов. Следует отметить как более важный источник реинтерпретации этого типа потребность в наименовании соответствующего десигната. При этом потребность в наименовании, как показывают примеры, носит, однако, скорее эмоциональный характер. Результатами этимологической реинтерпретации этого типа

являются, таким образом, «эмоциональные неологизмы»: большинство слов в результате данного процесса становится эмоциональными синонимами существующих в языке нейтральных слов. Использование форм уже существующих слов для обозначения соответствующих десигнатов облегчается тем, что эти слова занимают положение семантически периферийных.

Изменения значений слов в процессе этимологической реинтерпретации **III типа** могут быть следующими:

а) значение исходного слова при соотнесении его со словом интерпретирующим не играет существенной роли в формировании его нового значения (ср. *Pilat* как имя собственное и *pilat* «пильщик»);

б) в случаях, когда исходное слово является именем собственным [если имя не является прецедентным, как в случае с *Пилат*. – Т.Г.], семантическое изменение заключается в приобретении именем собственным вообще какого-либо значения;

в) в случаях, когда исходное слово является апеллятивом, изменение его значения чаще всего идет по линии этимологической реинтерпретации [толкуется через значение найденного созвучного слова. – Т.Г.]; первичное значение не выступает основой для последующего изменения;

г) в ряде [переосмысляемых, подвергаемых этимологической реинтерпретации. – Т.Г.] слов исходное значение вступает в соотношение с новым («вновь образуемым») значением.

Некоторые проявления этимологической реинтерпретации этого типа можно понимать двояко. Можно признать, что этимологическая реинтерпретация в данном случае является двунаправленной и двусторонней, причем направление этих процессов противоположное. Ср., например, приобретение нового значения словом *Cyrus* «парикмахер» под влиянием (в результате сближения с) *cyrilik* «цирюльник». Одновременно происходит и изменение формы слова *cyrilik* в *cyrulik* под влиянием *Cyrus*.

Периферийность выступает как общая основа этимологической реинтерпретации, при этом в случае изменений III типа «слабым» (периферийным) элементом может

быть только значение или только форма (фонетически не освоенного) реинтерпретируемого слова. За основу процесса принимается тенденция называния десигната, выделенного в качестве нового объекта номинации. Тенденция к реинтерпретации [переосмыслению готового слова. – Т.Г.] выступает как более поздняя фаза данного процесса.

Тип IV. Особые (нетипичные) случаи этимологической реинтерпретации

Данный тип изменений является наиболее уязвимым (неопределенным, труднообъяснимым) с точки зрения возможности отнесения (этих фактов) к этимологической реинтерпретации. В обычных условиях исследования языковых текстов рассмотрение данного типа невозможно, а непосредственную информацию об этом типе интерпретации слов может доставить подчас только орфография [неправильное написание слова. – Т.Г.]. Большинство слов, подвергающихся такой реинтерпретации, входит в состав лексической системы языка. Помимо орфографии, есть еще два непосредственных способа выявления фактов этимологической реинтерпретации рассматриваемого типа: это самонаблюдение и опрос информантов.

Опосредованную (косвенную) информацию о возникновении (протекании) процессов этого рода можно получить также, опираясь на реинтерпретации форм аналогичных или ошибочные объяснения слов. В целом тип IV можно назвать непосредственно опознаваемым, остальные разновидности – IVa, IVb, IVc – косвенно опознаваемыми. Собственно, только результаты IV типа этимологической реинтерпретации могут претендовать на отнесение их к народной этимологии. Этот тип этимологической реинтерпретации можно было бы назвать «синхронной этимологией» или, используя термин Ж.Вандриеса, «статичной этимологией» – как выяснение происхождения, строения (структуры) и /или соотношения слова с другими словами на основе синхронного анализа лексики данного языка. Удачным можно признать и термин «обиходная (обыденная) этимология» для указания на распространенный в среде людей, не имеющих специальной научной подготовки, способ «этимологизирования».

Примеры этимологической реинтерпретации описываемого типа: *koniak* «конская водка» («*wodka końska*»); *korek* «пробка» <нем. *Kork* связывается с *kopa* и его дериватами; *krawat* «галстук» напоминает *kraniec* «край, рубеж, граница», *przykrawać*, ср. также *skrawać*; *marcepan* «марципан» трактуется как «мартовский хлеб» («*chleb marcowy*»); *paniczny strach* «панический страх» - «страх перед паничами» («*strach przed paniczami*»).

Тип IVa. Отражение этимологической реинтерпретации в орфографии

Этимологическая реинтерпретация может отражаться в написании слов. Ошибочные написания (объясняемые народной этимологией) могут содержаться в письмах малообразованных людей, в оригинальных списках памятников, отражающих речь холопов, а также в текстах, специально стилизованных под народную речь.

Таково, например, ошибочное написание географического названия: *Krzysztopory* (<*Krzysztofony*) > *Krzyżtopory* (по ассоциации с *kryż* и *topor*). Ср. в русском языке написание *копитал* вместо *капитал* (по сближению с *копить*) или *парнаграфическая картина* вместо *порнографическая картина* – по сближению с *пара* (применительно к порнографическому изображению на картине любовной пары - мужчины и женщины).

Тип IVb. Формально-аналогические образования как следствие действия этимологической реинтерпретации

Речь идет о формообразованиях, не оправданных с исторической точки зрения. Например, создание на основе ошибочного анализа слова *irrigated* (истолкованного как *ear-rigated*, англ. *ear* «ухо») порождает по аналогии слово *nosigated* (англ. *nose* «нос»; ср. англ. *formation*, осмысленное как *four* (англ. *four* «четыре»)) *mation* и аналогическое образование *twomation* (англ. *two* «два»). Примеров подобного рода в польском языке автору не встретилось.

Тип IVc. Неверный перевод как следствие этимологической реинтерпретации

К таким случаям принадлежит, например, славянское *šercoch* как перевод нем. *Herzog* «князь, герцог» на основе

неверного понимания (истолкования) фонетического состава слова *Herzjako* «сердце» [с тем же фонетическим комплексом *Herz*, что и в *Herzog*. – Т.Г.].

Тип IVd. Неверные формы флексий как результат этимологической реинтерпретации

Формы флексий иногда могут свидетельствовать о действии этимологической реинтерпретации. Например, воспринимая на слух словоформу *agravek*, говорящий домысливает ее, сообразуясь с привычными словообразовательными моделями: *agravek* → *agrafka* (agr – aw – ka) «английская булавка».

Подобные процессы реинтерпретации происходят и в словах исконных для языка, что часто порождает появление новых слов, построенных по обычным словообразовательным моделям, оформленных с помощью привычных морфем, причем эти новые формы легко «отпочковывают» различные дериваты. Например, форма существительного *lebka*, возникшая в результате реинтерпретации формы *lebek* «головка», стала основой для образования слов *lepak*, *lepek*, *lepeczec*, *lepeta* и др.

Проблема классификации процессов этимологической реинтерпретации

Сопоставительная характеристика выделенных выше типов этимологической реинтерпретации представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Типы этимологической реинтерпретации

Тип	Реинтерпретация	Изменение формы слова	Изменение значения	Примеры	Примечания
	+	+	+	akompianować	Наиболее полный тип морфемной реинтерпретации
I a	+	+	-	dyskuta	
I b	+	+	-	lucyper	Изменение внешней формы слова основывается на замещении его

					исконной формы формой другого слова
II	+	-	+	goliat	В большой степени обусловлен потребностью наименования
V	+	-	-	krawat	
Va	+	(-) Изме нение напис ания	-	Krzyżtopory	Важнейшим условием протекания этого процесса являются нормы орфографии
Vb	+	-	-		Этимологическая реинтерпретация становится стимулом возникновения новых ошибочных лексических образований
Vc	+	-	-		Этимологическая реинтерпретация становится стимулом возникновения ошибочных переводов
Vd	+	(-)	-	agrawka (из agrawek)	Этимологическая реинтерпретация наблюдается только в некоторых формах слова

**Классификация элементов, определяющих процессы
этимологической реинтерпретации**

Таких составляющих три, их краткая характеристика представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Составляющие этимологической реинтерпретации

Группы элементов	Единичные элементы
I. Общая тенденция	1. Общая тенденция к установлению языковых ассоциаций 2. Тенденция к этимологизации слов, изолированных на основе синхронных ассоциаций 3. Тенденция к называнию новых предметов мысли
II. Элементы а) подвергающиеся изменениям; б) оказывающие влияние; в) становящиеся результатом изменений	1. Слова исходные (непроизводные) – слабые, изолированные, периферийные 2. Элементы сильные 3. Слова, являющиеся продуктами этимологической реинтерпретации
III. Процессы и изменения	1. Ассоциация 2. Реинтерпретация 3. Изменение формы (звукового облика) слова 4. Изменение значения слова 5. Называние соответствующего десигната

Другие возможные критерии классификации процессов этимологической реинтерпретации.

Здесь можно выделить два направления: 1) классификации, в основу которых положено описание («выделение») самих процессов этимологической реинтерпретации; 2) классификации продуктов (результатов) народной этимологии, хотя иногда весьма трудно на практике отграничить сам процесс этимологической реинтерпретации от его результатов.

Классификация самих процессов может включать также условия их протекания, например: а) степень понимания значения исходного слова; б) качество слухового восприятия исходного слова – неточное восприятие благоприятствует

ситуативным искажениям, фонетическим деформациям; в) степень владения языком – есть ли [у носителя языка] представление о происхождении данного слова вообще [и другие языковые знания, определяющие уровень языковой компетенции личности. – Примечание наше. - Т.Г.]; г) степень осознаваемости процесса этимологической реинтерпретации и др.

Стимулы, порождающие процессы этимологической реинтерпретации, обобщены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные стимулы этимологической реинтерпретации

Стимулы	Примеры	Примечания
I.Фонетический стимул	(kwas) <i>garbolowy</i> < <i>karbolowy</i> ; <i>nietyczanka</i> < нем. <i>Neu-Titschen</i>	Данный стимул лежит в основе большинства процессов этимологической реинтерпретации
II.Семантический стимул		
II.1.Потребность наименования	<i>tyran</i> «человек, надрывающийся непосильной работе» [ср. <i>tyran</i> «тиран» и <i>tyrać</i> , разг. «надрываться, пахать». – Т.Г.]	Данный стимул выступает основой для переосмысления слова, занимающего периферийную семантическую позицию в лексической системе языка
II.2. Потребность в эмоционально окрашенном неологизме	<i>mazera</i> - «mazgaj» («плакса, нытик») [ср. разг. <i>mazać</i> «хныкать, плакать». – Т.Г.]; <i>pilat</i> – « <i>nudziarz</i> , <i>natręć</i> » («зануда», назойливый, надоедливый человек»)	

	[ср. <i>piłować</i> - разг. перен. «пилить» кого-л. за что-л. – Т.Г.]	
--	---	--

[Рассматривая проблему выделения типов этимологической реинтерпретации, В.Ченьковский дает **обзор ранее существовавших попыток классификации фактов так называемой народной этимологии**, который приводится ниже в сокращенном изложении. — Т.Г.]:

1. **Классификация Л.Малиновского (1870)**, связанная с делением всех случаев «народной этимологии» на две категории: а) случаи, в которых действуют только причины фонетического сходства слов; б) случаи, в которых ощущение сходства семантической функции слов выступает основой их фонетического уподобления.

2. Классификации других польских языковедов.

До некоторого времени общепринятой в польском языкознании считалась классификация **Я.Карловича**, хотя по поводу этой классификации высказывались в порядке дискуссии Н.Крушевский, К.Аппель, И.А.Бодуэн де Куртенэ. Вслед за поляками, на эту классификацию опирались **М. Савинов** [см. в: Народная этимология на почве русского языка //РФВ. Т.ХІХ, 1882, № 2], **К. Рылов** [см.: Очерки изучения русского народного языка в области великорусского говора// Уч. зап. Императорского Казанского ун-та, год. LIX, кн. IV, 1892], а также **Г.Александров** [см.: Литовские этюды. I. Народная этимология // РФВ. Т. XIX, 1882, №2]. Еще до появления работы Карловича с собственной классификацией явлений народной этимологии выступил **Бодуэн де Куртенэ (1873)**. Он выделяет два типа [«народного словопроизводства» = народной этимологии. – Т.Г.]: I.Внешнее [словопроизводство], приводящее к изменению внешней формы слова вопреки законам языка: 1) «приноровление» к слову с учетом его значения; 2) «приноровление» лишь бы к чему-нибудь приспособить. II. Внутреннее [словопроизводство], заключающееся в «толковании» того же самого слова: 1) толкование с учетом значения слова, выступающего в качестве

мотивирующего; 2) толкование без учета семантики слова мотивирующего, по чисто фонетическому сходству.

Позднее Бодуэн соотносит свою классификацию с классификациями Карловича и Крушевского.

Карлович выделяет (вопреки неверным иногда трактовкам его классификации) только два типа так называемой народной этимологии: 1) **аррадикация**, или чисто внешняя «подгонка» данного слова под какое-либо сходное в фонетическом отношении, без учета его значения; 2) **адъидеация**, или «уподобление» данного слова какому-либо корню, сходному с ним не только по звучанию, но и по значению. Термин «ассонация» Карлович упоминает только в связи с выяснением истоков arraдикации.

Крушевский (1879) в своей классификации впервые употребляет термин «**ассонация**» для указания на особый тип народной этимологии. Во всех случаях, которые относятся к этому типу, можно выделить две разновидности: а) образованное вследствие ассимиляции слово может не иметь ничего общего с предметом, названием которого оно является; б) образованные вследствие ассимиляции слова могут в самих себе заключать «намеки» на связь с какими-то созвучными единицами по значению. Данные разновидности лексической ассимиляции Крушевский определяет как **ассонацию**. [При этом, как отмечает Ченьковский], Крушевский недостаточно четко разграничивает во второй группе ассонации значение «дословное» (буквальное, этимологическое) и значение лексическое, хотя в общетеоретической части работы говорит о «значении генетическом» и «значении индивидуальном». Наряду с ассонацией Крушевский выделяет тип **аррадикации** и **адъидеации**.

Аррадикация - подведение слова непонятного, изолированного под знакомое на основе не только фонетического сходства с этим словом, но и представления о сходстве значений [сближаемых. – Т.Г.] слов.

Адъидеация имеет две разновидности: а) слово, не подвергаясь внешнему преобразованию, получает совершенно новое значение; б) ассимиляция ограничивается только толкованием значения слова.

Бодуэн в принципе принимает классификацию Крушевского, хотя и полемизирует с ним по ряду теоретических вопросов. В своей позднейшей классификации Бодуэн определяет (описывает) типы народной этимологии («народного словопроизводства») следующим образом:

1) преобразование фонетическое, сопровождающееся сближением данного слова со словом, сходным по значению (аррадикация, по Карловичу);

2) преобразования, вызванные сближением слов, которые с точки зрения значения не имеют ничего общего (ассонация, по Карловичу);

3) случаи «народного словопроизводства», когда внешне ничего в слове не меняется, но по соотносению с каким-либо близким в звуковом отношении словом по-иному представляется связь предмета с его обозначаемым (адыдеация, по Карловичу).

Оценка имеющихся классификаций

[Оценивая имеющиеся классификации, Ченьковский отмечает] следующие их недостатки:

1) смешение значения лексического и «дословного» (буквального, этимологического [мотивационного. – Т.Г.]);

2) неучет степени осознанности говорящими соответствующих процессов;

3) неучет стимулов, порождающих процесс народной этимологизации;

4) переоценка критерия семантического, т.е. фактора связи значения исходного слова и значения «опорного» [интерпретирующего. – Т.Г.] элемента в генезисе процесса.

3. Результаты (продукты) этимологической реинтерпретации

Анализ результатов этимологической реинтерпретации должен быть синхронным, так как он предполагает рассмотрение продуктов народной этимологии как элементов системы языка.

3.1. Проблемы понимания и мотивированность слов

Анализ словарного состава любого языка показывает, что в нем существуют слова производные (с разной степенью членимости) и слова непроизводные.

3.1.1. Мотивация (мотивированность) слов

В тесной связи с вопросом о прозрачности структуры слова стоит вопрос о мотивированности как общем представлении о том, какова связь между означающим и означаемым. Следует, однако, различать мотивацию синхронную и диахронную, так как не во всем они идентичны. Диахронная мотивация есть прежде всего мотивация генетическая, историческая, выявляемая с помощью этимологического анализа; другая (синхронная) мотивированность [=синхронная этимология. – Т.Г.] возникает между лексическими единицами, [выражающими особый способ организации отношений в системе данного языка, основывается на синхронных ассоциациях между словами. – Т.Г.]. Применительно к этимологической реинтерпретации следует говорить именно о синхронной этимологии [т.е. синхронной мотивированности слова, уже не соответствующей первичной, этимологической мотивации. – Примечание наше. – Т.Г.].

3.1.2. Мотивированность и прозрачность структуры слова

В лингвистической литературе нет единого понимания термина «мотивированность». О.С.Ахманова дает следующее определение [этому феномену. – Т.Г.]: «Мотивированный – такой, в котором данное содержание поддается более или менее непосредственному соотнесению с соответствующим выражением; имеющий структуру, поддающуюся разложению на морфемы» [Словарь лингвистический терминов. М., 1966]. [В трактовке В.Ченьковского, мотивация (= мотивированность) – это понятность (объяснимость) непосредственной связи структуры и этимологии слова (синхронной или диахронной). Под прозрачностью слова имеется в виду его морфологическая (морфемная) членимость, т.е. «делимость» на морфемы – лексические и грамматические – Т.Г.]. Морфологическая делимость или прозрачность морфемной структуры слова не определяет его мотивированности [точнее, не всегда свидетельствует о мотивированности наименования. – Т.Г.], однако мотивация теснейшим образом связана с прозрачностью морфемной структуры слова. Ср. пол. *kolor-at-ka* («белый воротничок как часть одежды священника») < фр. *collorette* (слово членимое, но немотивированное).

3.1.3. Варианты продуктов этимологической реинтерпретации, связанной с осмыслением структуры слова [в зависимости от степени ее прозрачности]

Понятие морфемной структуры - вещь субъективная в известной степени. Ощущение этой структуры (понятность ее) зависит от словесных ассоциаций, которые, несмотря на разнообразие и способность порождать субъективные, индивидуальные смыслы, находятся в рамках соответствующих устоявшихся (общенародных) традиций, выступающих как свойства нормы. Отсюда варианты слов, подвергшихся этимологической реинтерпретации по причине различной прозрачности их структуры [причиной этимологической реинтерпретации является стремление носителя языка приспособить структуру слова к собственному пониманию, сделать ее более прозрачной. – Т.Г.]. Ср., например, варианты этимологической реинтерпретации, связанные с колебаниями в ощущении структуры слова *badminton*: а) *baminton* - форма, возможно, возникшая в результате ослышки; б) *babinton* – вариант, возникший по ассоциации с *baba* «баба»; в) *badmington* – форма, возникшая в результате аттракции части слова с английскими названиями на – *ngton*; подобные изменения можно отнести к фактам гиперкоррекции; г) *babington* – результат объединения аттрактантов, отмеченных в случаях б) и в): изменение исходной формы под влиянием *baba* и структуры слов на – *ngton*.

3.2. Различие продуктов этимологической реинтерпретации

Продукты этимологической реинтерпретации различаются между собой и в количественном, и в качественном отношениях. В количественном отношении их различие определяется тем, какую часть составляет данная группа слов среди продуктов реинтерпретации. Различие качественное зависит от степени их понятности, мотивированности [объяснительной силы реинтерпретации. - Т.Г.], регулярности словотворчества.

Этимологической реинтерпретации могут подвергаться слова, частично прозрачные по структуре. Подобные процессы можно назвать **доинтерпретированием**.

Для системного анализа продуктов этимологической реинтерпретации чрезвычайно важно учитывать характер мотивированности этих слов, определяющий их место в лексической системе языка. Прозрачность, структурная мотивированность продуктов этимологической реинтерпретации в огромной степени зависит от вида идентификации, происходящей между продуктами реинтерпретации и остальными элементами лексической системы.

3.3. Идентификация в процессах этимологической реинтерпретации

Идентификация в самом общем смысле есть одна из причин, облегчающих коммуникативную функцию в целом. В процессах этимологической реинтерпретации идентификация становится основой объединения (централизации) соответствующих слов, относительно изолированных или периферийных. Идентификация понимается в данной работе как полное или частичное отождествление соответствующих слов (вследствие процесса этимологической реинтерпретации) с понятными словами данного языка, т.е. с элементами, которые занимают центральное место в лексической системе. Эта идентификация становится собственно ядром этимологической реинтерпретации.

Этимологическая реинтерпретация может быть полной или частичной, что определяет специфику ее продуктов.

3.4. Продукты полной реинтерпретации

Здесь выделяются три группы:

- а) идентификация полнословная (całowyrazowa);
- б) полная (całkowita) морфемная реинтерпретация;
- в) идентификация словно-морфемная (wyrazowo-morfemiczna).

Под **идентификацией полнословной** понимается отождествление целого слова («слабого») с иным («более сильным» [занимающим более прочную позицию в лексической системе языка. – Т.Г.]) - одноморфемным (корневым, неизменяемым. – Т.Г.). Такая идентификация может иметь чисто формальный характер, т.е. в значении слова «слабого» начинает функционировать слово «сильное», при этом между

значением исходного и замещающего слова нет смысловой связи. Ср., например, использование слова *deferencja* в значении «*defraudacja*» («растрата»). В некоторых случаях подобная идентификация обусловлена (поддержана) сходством значений уподобляемых слов. Например: *lucyfer* выступает в значении «tower» (= *welocyped*) – буквально «транспортное средство, мчащееся, как дьявол» («*pojazd mknący jak szatan*»); *politura* «полировка» употребляется в значении «*kultura*» («культура»), ср. прилагательное *polirowany*, имеющее признак «гладкий» и *kultura* («*ogłada*» – «умение вести себя в обществе, благовоспитанность»).

Реинтерпретация морфемная основана на том, что слово – продукт интерпретации – становится разложимым [немотивированное и нечленимое исходное слово становится членимым и мотивированным. – Т.Г.]. Например: *borago* (ср. лат. *borrago* «*borrago officinalis*») < др.-пол. *borak* в результате этимологической реинтерпретации членился на морфемы *bur-* (ср. *bury*, *burek* «бурый») + *-ak*.

Идентификация словно-морфемная основана на формальном уподоблении слова исходного слову сильному, структурно прозрачному. Этот тип продуктов этимологической реинтерпретации содержит в себе черты первых двух (вышперечисленных) типов. Элементом, подвергающимся аттракции, выступает все слово в целом. В некоторых случаях можно говорить о приобретении исходной лексемой нового значения при соотнесении ее со словом аттрактирующим. Например: *bez arabski* «*tytoń besarabski*» («табак бесарабский»).

Продукты этимологической реинтерпретации различаются также экспрессивностью инноваций в системе языка.

В результате полной словесной идентификации появляются слова-омонимы, в результате морфемной реинтерпретации – новые слова (неологизмы), в результате совмещения словесной и морфематической реинтерпретации – новые значения слов. По степени центральности первую позицию занимают неологизмы, вторую омонимы, третью – семантические изменения как результат полной этимологической реинтерпретации.

Этимологическая реинтерпретация, однако, не имеет регулярного характера по той причине, что ассоциативные основания этого процесса часто (и преимущественно) не имеют опоры на лексические значения слов, которые становятся интерпретирующими элементами при идентификации.

3.5. Продукты частичной этимологической реинтерпретации

В данном случае слова становятся в результате этимологической реинтерпретации понятными (по своей морфемно-словообразовательной структуре) только частично. Ср.: *gunerwantka* < *guvernantka* (по ассоциации с корнем –*perw-* «нерв»); *okonom* < *ekonom* (по связи с *oko* «глаз»); *ognimus* < *omnibus* (по связи с *ogień* «огонь», [возможно, потому, что омнибусы обычно бывают красного цвета. – Т.Г.]) и др. В результате подобных преобразований слова подвергаются [произвольной.- Т.Г.] сегментации, [«проясняющей» структуру слова. – Т.Г.]. Например: *abdukat* «адвокат» («*adwokat*»); *abdukat*; *antileria* «артиллерия» («*artileria*»); *anti-ler-ia*; *degolte* «декольте» («*dekolt*»); *de-gol-te*.

Сегментация в большой степени зависит от субъективного ощущения делимости слов. Этимологическая реинтерпретация основывается только на одном понятном сегменте, морфемно выраженном.

Помимо этого «понятного» сегмента в слове остаются сегменты непонятные, или «неполные» морфемы. Х.Хоккет называл такие морфемы уникальными. Можно выделить три группы морфем неполных по соотношению их с морфемами полными (по характеру уподобления «полноценным», регулярным морфемам. – Т.Г.): 1) омофоны полных морфем, действительно существующих в языке; 2) омофоны полных морфем, выступающие в несвойственной для них позиции; 3) фонетические комплексы, которые вроде бы находятся и в своей позиции в слове, но не имеют аналогов в языке (не соотносятся ни с какой реальной морфемой).

Этимологическая реинтерпретация и система языка.

Саморегуляция языка

Система языка регулирует его существование, обеспечивает ему гибкость в процессах коммуникации. Какие-то тенденции,

расшатывающие систему, компенсируются тенденциями, выравнивающими систему. Народная этимология [= этимологическая реинтерпретация] – одно из проявлений саморегуляции языка. Основой этимологической реинтерпретации является идентификация – полная или частичная – целых слов или их элементов с другими словами. Этимологическая реинтерпретация есть один из способов централизации слов периферийных. Процессы этимологической реинтерпретации имеют ассоциативную природу. Это явление имеет три слагающих: 1) форма (фонетическая оболочка слова); 2) лексическое значение; 3) значение «буквальное» [обусловленное синхронной мотивацией слова, «проясняющей» его внутреннюю форму. – Т.Г.], или синхронно-ассоциативное.

©Т.А.Гридина, перевод и комментарии, 2004

К истории развития **ПЕРЕВОДЫ**

ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Вниманию читателей предлагается перевод фрагмента книги немецкого исследователя Герхарда Гилбига, посвященной истории возникновения психолингвистики и разработке теории речевой деятельности в трудах отечественных психологов (Л.С.Выготского, А.Р. Лурии, А.Н.Леонтьева).

**Герхард
Гильбиг**

**Возникновение и тематическая
область психолингвистики²⁰**

Термин «психолингвистика» появился в 40-е годы, и с начала 50-х в США он занял место междисциплинарной науки.

Конечно, с этим новым термином связан не абсолютно новый предмет, так как этот общий предмет - связь между языком и психологией, или языковое поведение в связи с неязыковым поведением – восходит к древним временам, а также имеет богатую традицию в 19 веке в Европе. Тогда этот предмет был известен под термином «языковая психология». Неудивительно, что издавна существует особый интерес к этому предмету, который вызван тем, что некоторые разделы психологии ориентированы на лингвистические исследования, а некоторые психологические исследования повернуты в лингвистику. Разумеется, частично к подобным исследованиям обращались и в рамках других дисциплин, были поставлены вопросы и разработана методология, что способствовало установлению и развитию психолингвистики как самостоятельной дисциплины (прежде всего, независимой от других дисциплин, под названием «языковая психология» или «психолингвистика»).

Кроме того, между лингвистикой и психологией существует «разделение труда»: существует лингвистическая точка зрения на язык как виртуальную систему, а говорящие, напротив, воспринимают язык как простую реализацию этой системы. При этом возникают высказывания, практически исключенные из языкознания. Традиционно они являлись предметом психологии, которая со своей стороны интересовалась только системой языка, определенным способом проявляющейся в

²⁰ Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970 / Gerhard Helbig. – 1. Aufl. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1986.

речи. Психологическое рассмотрение языка являлось недостаточным «психологизмом». С таким разделением труда должна определиться проблема, оставленная без внимания: имеется специфический «психофизический механизм» речевой деятельности, который не является ни реализацией абстрактной языковой системы, ни индивидуальной природой.

Понимание специфики этой речевой деятельности (или речевого поведения) и необходимость рассмотрения языкового поведения в комплексе знаний привели, в конечном счете, к возникновению новой дисциплины – «психолингвистики», так как традиционное противопоставление языка и речи, лингвистики и психологии не было достаточным для комплексного интегрального доступа к языковому поведению.

Прямо с этой идеей междисциплинарных доступов к языковому поведению американские лингвисты и психологи столкнулись в 1951 году на летнем семинаре в Корнельском университете (где психолингвистика возникла как отдельная дисциплина). Вновь вернулись к разговору о психолингвистике в Блудминтоне, где первоначально пробил «час рождения» новой дисциплины: новая дисциплина прошла крещение и определила общие цели, стремилась к исследованию в междисциплинарной науке языка и языкового поведения. Когда в 1954 году был сделан доклад «Психолингвистика» Ч.Осгудом и Т.Сибееком (а также и другими участниками конференции), термин «психолингвистика» стал общеизвестным. Он относительно быстро был перенят в других странах.

Если в центре будет находиться процесс кодирования и декодирования (и оперативное понимание этих сфер), то возникает вопрос о лингвистическом значении психологического единства.

Позднее были определены три главных направления, которые стали источником американской психолингвистики:

- а) описательная лингвистика,
 - б) бихевиористская психология (Ч.Осгуд),
 - в) математическая информационная теория (А.Леонтьев).
- В ходе развития возникли:
- а) генеративная грамматика (Д.Миллер),

б)антибихевиористско-менталистское направление (Н. Хомский).

Когда «психолингвистику» называли «несчастливым союзом лингвистики и психологии», то должны были отграничивать ее от случайных соединений лингвистически противоположных моделей структурализма и генеративной грамматики с психологически противоположными бихевиоризмом и ментализмом. Психолингвистика была основана на широких связях между лингвистикой и психологией в совокупности.

С основанием психолингвистики объединились междисциплинарные научные ответвления, направляющие взгляд на многочисленные тематические области, находящиеся в точке пересечения отношений между лингвистикой и психологией. Эти междисциплинарные «симбиозы» позднее привели к следующим затруднениям при решении научных задач:

- каков инструмент исследования процессов кодирования и декодирования языковых высказываний, взаимосвязи между языком и мышлением;
- каковы психологические предпосылки языка, процесса речепорождения и речевосприятия;
- как происходит овладение языком и правилами коммуникации;
- какова связь между языковыми и когнитивными результатами, между овладением языком и другими психическими функциями и т.п.

Проблемы указанных областей со всей разнородностью тематических вопросов и методологий вошли в психолингвистику.

Советская психолингвистика

В Советском Союзе постановка вопроса о пересечении областей лингвистики и психологии уже в 30-е гг. играла главную роль, но не под названием «психолингвистика», а в рамках психологии. Вследствие того, что в психолингвистике, как при осгудском направлении, образовалась определенная общепсихологическая поведенческая теория, которая была применена к коммуникативному поведению, появились

советские исследования в этой области (с учетом советской психологической традиции понимания психики, сознания и деятельности). Эта точка зрения принципиально основана на философском материализме, конкретизирующемся в психологической теории деятельности (см. А.Н.Леонтьев). Именно потому, что советская психолингвистика с самого начала отличалась от американской психолингвистики, она пыталась избегать термина «психолингвистика», но все же его придерживалась (потому что он короткий и уже использовался во многих странах), хотя она желала быть понятой в широком смысле как теория языковой коммуникативной деятельности.

Понятие о деятельности выросло из необходимости преодоления характерного для многих психологических направлений дуализма субъектно-объектных отношений. Проводник между субъектом и объектом – соответственно принципу диалектического материализма – был найден в человеческой практике и деятельности.

Работы Л.С.Выготского, И.Р.Гальперина, А.Н. Леонтьева и др. способствовали тому, что принцип деятельности был признан основным принципом советской психологии. Оттуда он был перенесен в психолингвистику (впервые в работах А.Н.Леонтьева, являющегося главным представителем советской психолингвистики), которая в последние 20 лет очень быстро развилась и с начала 70-х годов (теория речевой деятельности) вышла на международную арену и благодаря переводам и рецензиям приобрела большое влияние во многих странах.

По инициативе советских психолингвистов в ГДР вернулись работы Гартунга и других, которые стали началом функционально-коммуникативного направления в психолингвистике.

На основании ориентации на принцип деятельности советская психолингвистика, в отличие от других (прежде всего, американских психолингвистических направлений), обратилась к сужению предмета исследования. Психолингвистика выделяется как часть психологии с основным понятием «деятельность», как наука, предметом которой является «речевая деятельность» и закономерности ее комплексного

моделирования. Наряду с этим указывается, что термин «речевая деятельность» (или «языковая деятельность», или «коммуникативная деятельность») содержит определенные внутренние противоречия, т.к. языковая деятельность крайне редко является самостоятельным закрытым актом деятельности, а обычно выступает как составная часть в деятельности высшего порядка. Акт деятельности, рассматриваемый как закрытый, при определенном регулировании содержания будет успешным.

Многие отправные точки в советской психолингвистике восходят к работам Л.С.Выготского, отграничивающего идеалистическое понимание психических процессов (как исключительных внутренних и первоначальных примет психики, которые могут быть исследованы только самонаблюдением) от механистической поведенческой теории (между поведением животных и психической деятельностью людей нет никакой существенной разницы). Л.С.Выготский был одним из первых, кто адекватно оценил значение сознания и психической деятельности для материалистической психологии, даже если в его теории были некоторые дефекты, связанные с недостаточным вниманием к практической деятельности людей при исследовании сознания. Л.С.Выготский вывел на психологической основе психологическую деятельность (как у И.П.Павлова), но узнал, что не все формы сознательной деятельности могут привести к появлению условных рефлексов, что сознание не может быть отделено от практической деятельности человека (ср. А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия).

Выготский исходит из идеи непосредственной обусловленности характера человека мышлением и чувствами, подчеркивая тот факт, что человеческое мышление, являясь посредником между употреблением орудий труда и специальными знаками, качественно отличается от психики животных. Мыслительная деятельность характерна для специфических знаний людей, в данном случае под деятельностью понимается активный процесс (с составлением планов и активным регулированием), а не пассивное приспособление организма к окружающему миру, в отличие от поведения животных.

Также Л.С.Выготский отступил от существовавшего понимания проблемы «внутреннего языка» или «внутренней речи». Внутренний язык (который, как «говорение для самого себя», отделен от социального языка, выполняющего функцию взаимодействия и связи людей) для него не идентичен ни с мышлением, ни с внешним языком. Он является по своей психологической природе особым родом языковой деятельности, которая обладает специфическими признаками, находится в сложных отношениях с другими видами языковой деятельности (язык «для говорения для самого себя»).

Этот внутренний язык имеет следующие приметы:

а) он является эллиптическим языком, как «язык для самого себя» (иногда почти бессловесный), имеет сцепление семантических смысловых единств.

б) имеет предикативный характер, состоит только частично из психологического предиката и пропуска психологического субъекта.

в) имеет высокую степень ситуативной и контекстуальной обусловленности.

Сначала только при переходе от внутреннего к внешнему языку происходят изменения в структуре синтаксиса внешней речи.

Для сравнения: А.Р.Лурия со своими учениками в формулировании внутренней динамической схемы высказывания идет от этапа «основной мысли» (или «внутреннего языка») к этапу кодифицирования мысли, выливающейся в языковое выражение. Принятие такой «внутренней программы», или «внутренней схемы» языковой деятельности, отличает советскую психолингвистику от американской. Существование такого звена ведет к отказу от принципа непосредственного отображения лингвистического единства в психологическом единстве, так как принципам внутреннего языка (или внутренней схемы) может не хватать прямого эквивалента выражения в лингвистической модели.

Школа Л.С.Выготского выработала основу понятия всеобщей деятельности. Под деятельностью при этом понимали общность процессов. Прежде всего, это объективная мотивация

деятельности. В этом выражается целенаправленный характер любой деятельности.

Любая деятельность представляет собой законченную цель (которая при успешной деятельности является результатом) и мотив для постановки и достижения цели, так как деятельность невозможна без мотива (немотивированная деятельность не есть деятельность). Постановка цели и мотивированность создают структуру деятельности, т.е. определяют ее внутреннюю организацию, состоящую из отдельных действий - актов (как компонентов деятельности с отдельными второстепенными целями и конкретными операциями). Комплексный процесс деятельности включает в себя: мотив (потребность), цель, отдельные действия и соответствующие операции. Эти сущностные характеристики любой деятельности были перенесены советскими психолингвистами на речевую деятельность. Речевая деятельность была понята как особый случай действий внутри акта деятельности, она характеризуется с помощью собственной цели и собственной задачи, а также с помощью структуры деятельности. Наряду с этим указывается, что термин «речевая деятельность» в этом отношении содержит определенное внутреннее противоречие, так как языковая деятельность крайне редко является самостоятельным закрытым актом деятельности, а напротив, выступает в качестве составной части в деятельности высшего порядка.

Как и для всякой другой деятельности, для речевой деятельности характерны: цель, мотив, отдельные действия, операции. Любая деятельность проходит множество этапов (этап ориентировки и планирования, этап выполнения или реализации, этап контроля). Таким образом, и в речевой деятельности была признана последовательность некоторых этапов:

1. Мотив (обоснование речевых поступков из первичной ориентации и проблемной ситуации).
2. Коммуникативное намерение (речевое намерение, основная мысль) – как вторичная ориентация, которую пробудила мотивация и первичная ориентация.
3. Внутренняя программа речевой деятельности (внутреннее программирование, «внутренний язык»),

перемещение коммуникативного намерения в код существующего разума.

4. Реализация внутренней программы и идеи (плана), то есть придание идее семантической и грамматической формы.

5. Сравнение реализации идеи с самой идеей.

Такие этапы стали изучаться советскими авторами в рамках моделей речепорождения. При этом существуют некоторые различия в числе и названии отдельных этапов. Но все подходы, тем не менее, придерживаются единой методологической позиции. Порождение языкового высказывания не простая «выдача» сохраненного в памяти текста, а творческая деятельность, которая вызвана мотивацией говорящего, целенаправленно выполняющего целый ряд операций с языковой деятельностью, планирующего, реализующего и контролирующего ее. При этом говорящий развивает «внутреннюю программу» для языкового развития речи.

©Воробьева Н.А., перевод, 2004

Содержание

Раздел I. Проблемы изучения языкового сознания	
<i>Вепрева И.Т.</i> Кто мы такие? Как нам себя называть? (К проблеме идентификации современного российского общества)...	3
<i>Гридина Т.А.</i> Мотивационная рефлексия в детской речи: лингвокогнитивный аспект ...	19
<i>Дунев А.И.</i> Лингвистика речевого воздействия как сфера интересов гуманитарных наук	33
<i>Дьячкова Н.А.</i> Когнитивная сложность асимметричных структур	41
<i>Коновалова Н.И.</i> Мотивационные контексты как показания языкового сознания диалектоносителей	50
<i>Кусова М.Л.</i> Когнитивные определяющие речевого развития ребенка в возрасте от 3 до 5 лет	56
<i>Минюрова С.А., Александрович М.Г.</i> Этнокультурные особенности социальных представлений	62
<i>Норман Б.Ю.</i> Слово и предложение, номинация и коммуникация	71
<i>Попова Т.В.</i> Мутационные и модификационные субстантивные дериваты в русском языковом сознании (по данным ассоциативного эксперимента)	88
<i>Романов А.В.</i> Метафора веры	103
<i>Стексова Т.И.</i> «Смерть» в словаре и языковом сознании	118
<i>Чудинов А.П.</i> Национальная ментальность и метафорическое моделирование политических событий.....	128
<i>Шарафутдинов Д.Р.</i> Образ «кавказцев» в современной русской национальной ментальности и его отражение в новой этнографической «терминологии».....	140
Раздел II. Когнитивные и психолингвистические основания анализа текста и дискурса	

Алмазова Н.И., Чернявская В.Е. Моделируемая ситуация делового общения на уроке иностранного языка как интердискурсивное событие	145
Белоглазова Е.В. Психолингвистические основания специфики детской литературы	156
Лазарева Э.А. Когнитивное столкновение – прием построения текстов современных СМИ	170
Малик Якуб А. Внезапная смеховая атака (о категории “comic relief” в литературе второй половины XIX века)	182
Снигирева Т.А., Снигирев А.В. Лексика «грязной дюжины» в прозе писателей-аутсайдеров (В. Ерофеев, С. Довлатов, Э. Лимонов)	189
Сухих С.А., Калашава А.Ш. Лингвopsихологический анализ скрытого воздействия в дискурсе	205
Переводы	
Ченьковски В. Теория народной этимологии (перевод с польского и комментарии Т.А.Гридиной)	217
Гильбиг Г. Возникновение и тематическая область психолингвистики (перевод с немецкого Н.А.Воробьевой).....	243